

литературный журнал

Человек

На

Земле

Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet
Der Mensch auf dieser Erde.

Friedrich Hölderlin

Много заслуг у человека земного,
Но жив он только в поэзии.

Фридрих Гёльдерлин

3

МОСКВА
2013

Главный редактор – **Татьяна Сурганова**

Редакционный совет:

Владимир Бурлаков

Сергей Гонцов

Геннадий Калашников

Максим Крайнов

Елена Русакова

Художник – **Александр Кулемин**

Фотопортрет Алана Кубатиева — Людмила Сеницына

Портрет Ивана Милых — Александр Сидоренко

Фотопортрет Татьяны Сургановой — Анатолий Заболоцкий

Фотографии авторов из личных архивов

На 1 стр. обложки: Александр Мошков. Ангел трубящий.

Офорт, сухая игла. 2013г.

Редакция выражает благодарность

Алексее Климову за помощь в создании сайта журнала

Александр Цуканову и Татьяне Янчур

за спонсорскую поддержку номера

© Идея номера и состав Т. В. Сурганова, 2013

© Авторы журнала «Человек на Земле», 2013

© Дизайн журнала «Человек на Земле», 2013

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Татьяна Сурганова – ЭТЮД О ВЕРЕ И СВОБОДЕ 5

В ПОИСКАХ ЖАНРА

Николай Караев – UN ANGE PASSE 6

ПОЭЗИЯ

Ян Бруштейн – БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК 34

Юрий Кабанков – БЕЗДНА ВРЕМЕНИ 37

Ирина Евса – КУРОРТНАЯ ЗОНА 80

ПРОЗА

Алан Кубатиев – ТРИЗНА. Фантастический рассказ 11

Ефим Гаммер – МЫ БЫЛИ ТАКИМИ, КАКИМИ БЫЛИ. Повесть, часть 1 20

Ника Батхен – СКАЗКА О НЕИЗБЕЖНОМ 44

Раиса Беляева (Гурина) – МИНИАТЮРЫ 56

Борис Евсеев – ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ВОЗДУХ» 71

Святослав Логинов – ЧИСТЬ 84

РАДОСТЬ ЗЕМЛИ

Юрий Милославский – ПРОСВЕТИМСЯ ТОРЖЕСТВОМ: ОТ ПАСХИ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ 59

Герман Титов – ЧЕТЫРЕ ХРАМА 67

Маргарита Сосницкая – ПРИНЦЕССА ВСЕЛЕННАЯ 70

ГОЛОС РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Михаил Петров – ОБЛАКА ПЛЫВУТ ПО РАСПИСАНИЮ 93

ПАМЯТЬ

Александр Горст – ГОДЫ ПЛЕНА У СВОИХ 99

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЗОРЫ

Станислав Минаков – ПАСКАЛЬ, ТЮТЧЕВ И «РОПЩУЩИЙ ТРОСТНИК» ЮРИЯ КАБАНКОВА 122

ПЕРЕВОДЫ

Джозеф Редьярд Киплинг – САДОВНИК. Предисловие и перевод **Татьяны Сургановой** 128

ПЕРЕСМЕШНИКИ

Иван Милых – РЫСЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРЫСНИЛАСЬ МНЕ?.. 134

War in human history, life and personal memory, and search of ethic background in a war event is the focus of the third issue of *Man on Earth*. Principal ethic values, faith and freedom, are also the subject of **Tatiana Surganova's** editorial.

Alan Kubatiev's *Funeral Feast (Trizna)* appears to be a collision of love, memory, and conscience on the threshold of the Last War; the story is set in a prophetic genre of science fiction.

Yefim Gammer's *We Were the Ones We Were* depicts the dramatic beginning of World War 2 in Belorussia, as restored and recollected by the former soldiers many years later.

The Tale of the Inevitable by **Nika Batchen** is parabolic history that, like a parabolic mirror, grotesquely reflects the details of the recent past while portraying the life of a poet under dictatorship. The same theme (while the genre is obviously different) is tragically echoed in *Years of Home Captivity*, the memoirs by **Alexander Gorst**, that in unsophisticated words and with mortal details describe the fate of soviet Germans, who were, in spite of their sincere patriotism, moved to soviet concentration camps, when the war with Fascist Germany broke out.

Some chapters from **Boris Evseev's** forthcoming novel *Flaming Air* is a phantasmagoric yet psychologically truthful picture of modern Russia, depicted in sharp and ironic stylistic manner.

Chist' by **Svyatoslav Loginov** seems a routine story of love and betrayal, yet given through the candid eyes of a bath brownie.

Miniatures by **Raissa Belyaeva (Gurina)** sketch some pastoral home scenes set in the Ukraine, the former Little Russia. Her *Easter Night* contributes to the Easter theme of the issue, together with the historical study by **Yuri Miloslavsky** *Enlightened by the Triumph: From Easter to Ascension Day*.

The Gardener by **Joseph Rudyard Kipling**, another Easter story set in after-war Britain is translated by **Tatiana Surganova**.

Nikolay Karaev, Yuri Kabankov, Ian Brustein, German Titov, Irina Evsa, Margarita Sosnitskaya present variations of the poetic manner throughout the issue. A literary essay by **Stanislav Minakov** is an expert study of **Yuri Kabankov's** poetry.

Clouds Flow On Schedule, the sketch by **Michail Petrov**, describes the day's work of **Nikolay Aleksandrovich Lastochkin**, a historian and meteorologist living in Tverskaya region and systemizing weather wisdom.

Humorous *Treaty on the Image of the Lynx in Russian and World Poetry* by **Ivan Milyh** will make the reader laugh from the very first lines up to the end.

The colourful inserts represent the pictorial and graphic works by **Yefim Gammer, German Titov and Alexander Moshkov**, the latter being one of the most dedicated and brightest representatives of the rural theme in modern Russian fine art.



Татьяна Всеволодовна Сурганова — литературовед, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Училась и преподаёт в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Татьяна Сурганова

Этюд о вере и свободе

О тихая моя свобода...

Осип Мандельштам

Объявленные и тайные, справедливые и кухонные, «Звёздные» и те, что неутомимо ведутся наедине с собой и с самыми близкими — происходят ради них, из-за них, во имя той и другой. Как воздух, как хлеб и вода, как очаг и ночлег, вера и свобода нужны человеку; кто виноват, что эти эфемерные твёрдые вещи то и дело превращаются в предмет распри или средство торговли, в звонкую монету, в расхожую валюту мировых дурманов?

Отдай-отними, объежорь-выкради, издай указ, размножь запрет, поставь вышку, повесь замок, усиль границы, больше танков, мы победим и будем свободны.

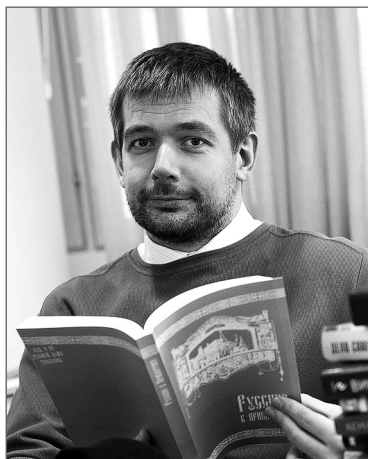
В какой-нибудь мало-мальски занятой «взрослой» детской книжке да чтобы не было войны?

...После заседания Учёного общества, на котором теория существования обитаемой земли в арктических широтах в очередной раз подвергается жестокой критике, академик Шенк назначает у себя дома встречу молодому человеку — как и сам академик, стороннику поисков таинственной Земли Санникова. В перерыве между докладами академик и его новый знакомец, оказавшийся недавним политическим ссыльным, живо обмениваются мнениями относительно противоречивых фактов и гипотез вокруг существования загадочного арктического острова. К приходу гостя Шенк успевает проглядеть справочную литературу и решает на свой страх и риск профинансировать экспедицию из собственного академического жалования, как он это делал не раз, когда возможные

результаты казались ему интересными, а цели — достойными. В условленный день и час молодой человек является, и немедленно вспыхнувшая научная дискуссия постепенно переходит в обсуждение практических сторон возможной экспедиции. Вникнув в детали и прикинув расходы, Шенк выписывает солидный чек на банк, чтобы молодой человек, не теряя времени, приступил к экипировке экспедиции. И лишь в конце беседы академик осведомляется об имени молодого человека...

В моей жизни была одна чудесная, в чём-то подобная этой, встреча. Я корпела над статьёй о поэзии Эдварда Эстлина Каммингса для газеты «Английский язык»; и мне позарез нужен был текст панихиды в английском каноническом переводе. До времён тотальных сетей оставалось лет двадцать. В фондах Библиотеки иностранной литературы ничего похожего не нашлось. Я бросилась ловить окрест, и кто-то подсказал подойти в храм Великомученицы Екатерины на Всполье, на Большую Ордынку, — там-де служит отец Христофор, православный американский священник. Я пошла. Отца Христофора застала, перехватив его явно на полпути. Сбивчиво, начав сразу с Каммингса, изложила свою нужду. Он принёс требник на английском, я торопясь залистала, стала водить пальцем по строчкам, отчаявшись поняла, что отнимаю у человека время беспардонно, но не в состоянии сосредоточиться и найти нужную цитату. И тут отец Христофор сказал: «Забирайте до завтра, только принесите, мне понадобится на службе». И ушёл. Ни имени моего, ни телефона не спросив.

Дома я, конечно, всё тут же нашла. И статью закончила. Требник назавтра вернула в храм, отдав его за свечной ящик, к сожалению, не лично отцу Христофору в руки — он оказался опять чем-то занят, меня поджимало время. Попросила поблагодарить его заочно.



Николай Караев окончил экономический факультет Таллиннского технического университета. Работает журналистом в русском еженедельнике «День за днём» (Эстония). Подборки стихов публиковались в различных изданиях в Таллинне, Москве, Лондоне, Владивостоке, Даугавпилсе. Переводит с английского, японского, эстонского и французского языков. Живёт в Таллинне.

Николай Караев

Un ange passe

Антисигма

though my language is dead
still the shapes fill my head
Arcade Fire

Иногда ощущаешь себя антисигмой,
введённой божественным Клавдием и отменённой после его смерти.
Так и ты: существовал, существовал, а потом какая-то парадигма
взяла и вдруг сменилась. Сверьте
солнечные часы на случай пожара
Третьего Рима (в пламени, нам известно, времени больше не будет).
Как любил повторять Нагарджуна, любое отечество есть сансара,
иногда добавляя: Будда её рассудит.
Думаю, мой карасс викторианцы,
танцы межзвёздных протуберанцев, полузабытые лица, такие же стансы,
такие же очи, ночи, встречи за пологом сновидений, дни между станций,
реконессансы и ренессансы.
Все куда-то ушли, а я всё сигналию,
жгу черновики несбывшихся «в горе и в радости» на маяке от мая до мая.
Как отыскать Грааль в мире, который принципиально лишён Грааля,
я, признаться, не очень-то понимаю.
Для кого-то это задача на две трубки,
или на семь труб, или на двадцать антаракальп, или на скучный вечер.
В глазах Ланселота космос вместим в пространство и время одного кубка.
В моих это эн книжек и ровно одна встреча.

Самурай

Как посмотрит Бог на твои дела
да на белую на рубаху —
и решит спалить весь твой мир дотла,
запинать к хренам черепаху,
уготовить могилу твоим трём китам,
чтобы стал ты полным изгоем,
и отнять у тебя не что-нибудь там,
а самое дорогое:

не тело,
не душу,
не небо,
не сушу,
а самую суть.

Поплачь и забудь.
(А лучше просто не будь.)

Потому что Бог справедлив и строг
и не любит бросать монету;
вот застыл ты на перекрестье дорог,
а дорог-то уже и нету,
и другого способа в космосе нет,
чтоб тебе втолковать, уроду,
как ползти через тьму и дерьмо на свет —
и на что ты сменял свободу:

на крест
и на ОМ,
на Рим
и на ром,
на единственный дом.

Такой вот облом.
(Не вырубишь топором.)

И ты выпадешь сразу из всех частот,
и Господь тебя не подхватит,
и ни дьявол, ни карма, ни бармаглот
не лишат тебя благодати;
не томясь, не скорбя, не жалея себя,
как бы ни был твой рок паскуден,
ты свободен, придурок, и для тебя
нет и, может статься, не будет

ни боли,
ни страха,
ни крови,
ни праха,
ни ада, ни рая.

Ты стал самураем.
(С чем тебя мы и поздравляем.)

Lost: Fifty Suns

Господин великий глава межгалактического флота,
как и заповедано нам высочайшим уставом,
по прохождении опасного квантового поворота
пишу о потерях, понесённых личным составом.
С прискорбием готовясь к формальному харакири,
вынужден сообщить, что потери наши неисчислимы.
Даже самый сложный и самый секретный в мире
ИскИн не справился с иррациональным и мнимым.
Утрачены: ощущение нашей миссии; смысл жизни;
способность вести боевые действия на два фронта;
карта межзвёздной местности; понятие об отчизне;
инструкция по дешифровке событийного горизонта;
бутылка шампанского; Бог; несколько империалов;
память о реинкарнациях. Прочее всё по плану,
если не считать стихийного матросского карнавала
(виновные гибернированы). Засим, отложив катану,
прошу вас о милосердии, а также любви и вере;
пусть это война — согласитесь, от космоса не убудет.
Мне легче думать, что путь наш всё-таки многомерен,
невзирая на осточертевший мандариновый пудинг
на завтрак и ужин. Потери, повторяю, неисчислимы.
Время сбегает исподволь с грацией автомата,
жизнь чёрных дыр галактики тоже проходит мимо.
Дождь всё стучится жалобно в тёмный иллюминатор.
Как и предписано, рапорт в простом бумажном конверте
с изображением девушки, мне пока не знакомой,
немедля бросаю за борт. Ни к чему вспоминать о смерти
на неисповедимой, как эти звёзды, дороге к дому.

Вольный сонет пилота Дана Дансени III

а от субсветовых развивается нервный тик
снятся смутные сны про орфеев и эвридик
если мозг корабля сломался и карта врёт,
остаётся одно — монотонно лететь вперёд

рассекать пустоту, пересматривать фото всласть,
равнодушно зубрить матчасть и глядеться в пасть
бесконечности чёрной, как самый постылый ад,
и не сметь, и не сметь, и не сметь повернуть назад

где-то в точке омега есть те, кому нужен ты,
и нельзя раствориться в объятиях пустоты
космос мелет дотла звездолётов погибших прах
и разносит их крик на эфирных своих ветрах

а от звёзд, проносящихся мимо, болят глаза
жаль, об этом почти и некому рассказать

P.S. I (Don't) Love You

Башка гудит, как «Титаник». Кофе — и тот не помог.
Погода — как в анекдоте. Знаешь: сегодня — смог? :)
Вчера гуляли по пристани, смотрели вслед кораблю.
P.S. Я тебя не люблю.

Вчера приглашали в гости — коллега жарил шашлык.
Читаю Гюго. «Мизерабли». Как там твой тайский язык?
Работы опять выше крыши, гори оно всё в аду :(
P.S. Я тебя подожду.

Тайский пока заброшен — он как-то меня достал.
Прочла вторые «Легенды». По-моему, слит финал.
Прикинь: тут всё небо в тучах, над портом горят огни.
P.S. Не люблю, извини.

Приснились сегодня ангелы: летят и трубят, трубят!
Читаю, представь, Кена Кизи. Думаю про тебя.
Ты знаешь анек про рабби, у которого выросла грудь? :)
P.S. Может быть, как-нибудь...

Знаю. Хороший анек. А я тут кропаю отчёт.
Сон, надеюсь, не в руку. Не думай — само пройдет :)
На стенке Дома культуры написано крупно «FFFFUCK».
P.S. Никогда и никак.

Ходили в кино с подругой, комедия, хэппи-энд.
Гуляли потом по парку. Купил третью часть «Легенд».
Ты знаешь, я слишком часто свидетелем был чудес :)
P.S. Ты разбила мне с.!

Доделала все отчёты. Валяюсь. Лечу мигрень.
Пора бы заняться тайским, но что-то по ходу лень.
Устала, как божья псина. Сажу без конца в Сети.
P.S. Извини. Прости.

Цзы бу юй

Лао-цзы сказал: «Слишком много лис развелось в лесах,
Слишком много кувшинок в прудах, песчинок в часах,
Иероглифов в пятикнижии, эритроцитов в густой крови,
Но редкий дурак скажет другому: не умирай — живи!»

Конфуций изрёк: «В пустых головах слишком много музык.
Полёта достоин только тот, кто не пугается перегрузок.
Не бойся надеяться на безнадежье. Бойся быть запанибрата
С теми, кто страшится помыслить даже о трёх углах квадрата».

Будда учил: «Как добиться того, чтоб всякая бездна была мелка?
Поставьте будильник на шесть, проснитесь за пять минут до звонка,
Умойтесь, почистите зубы, встаньте у бездны на самом краю,
Вдохните как можно глубже и громко крикните: «айлавью!»

В таверне

В таверне, ушей не стыдясь иных, спросил меня тот, с кем я пил: «Мне будут являться во снах дурных все те, кого я убил?»

Что толку в тяжёлых хмельных словах, когда в тебе сдохло что-то? В те дни я держался на трёх китах: книги, друзья, работа. Ни в грёзах дешёвых, ни в ворожбе я не искал покоя.

«Послушай, — сказал я, — не ври себе, а главное — будь собою».

Средь пьяных теней и вопящих тел вино мне казалось пресным.

«И не отстанут от нас все те, кого мы толкнули в бездну?»

Когда твоя лодка села на мель, что толку молиться Богу? В те дни выживал я, как мог и умел, да только умел я немного. Кто умер во мне — успел завещать не скатываться до мщенья.

«Послушай, — сказал я, — умей прощать, а надо — проси прощенья».

Замолкнул, задумался, приуныл, с досады махнул рукою: «И тот, кто нами обманут был, не даст нам теперь покоя?»

В те дни я не выжил. Ни ад, ни рай мою не пускали душу.

«Послушай, — взревел я, — не предавай! Будь рядом, когда ты нужен тому, кого ты убил, толкнул, забыл, разлюбил, разрушил!»

Он скорчил мне рожу, потом зевнул.

Он вовсе меня не слушал.

Здесь красивая местность

Мир, застывший на тихой ноте.
Наверху летят в самолёте.
Два степенных автомобиля
разминулись на повороте.
Поезда просвистели мимо:
тот до Питера, тот — до Рима.
Никаких тебе «или — или».
Безупречный, спокойный климат.

Мир, застывший на грани фола.
Ни движения, ни глагола.
Телебашня, труба, газоны,
стадион, супермаркет, школа.
Кто-то смотрит украдкой Брасса,
кто-то плавает в море брассом.
Прибалтийская мезозона
на-Задворках-Ойропы-Штрассе.

Мир, застывший на полувздохе.
Никакой тебе суматохи.
По ночам на луну не воют
подворотные кабыздохи.
Не летают по небу склиссо,
и никто за стеной кулисы
не возьмёт Алису с собою,
да и некуда брать Алису.

Дожливой апрельской ночью

Живу между Богом и Севером,
Форсирую лужи под каверы,
Латаю реальности степлером
И мыслю себя динозавером,
Забытым зарытым скелетом,
Озябшим и вымершим дронтом,
Желавшим чудесного лета,
Прибитым безжалостным фронтом.

Направо — поля Директории,
Налево — провалы Тартарии,
А я на ничейной в истории,
Где нет и не будет Касталии,
Где еле достиг Арарата
Ковчег неумелого Ноя,
Где люди не будут крылаты,
Но будет, поверьте, иное.

Пусть те, кто гордится секретами,
Каратами и майоратами,
Застынут своими портретами;
Мы — были и будем пиратами.
Я жив. Я из крови и плоти.
Я вижу сквозь призмы и коды
В глазах человека напротив
Забытое небо свободы.

Un ange passe

Мне показалось, или
пока мы о чём-то не том говорили,
громко спорили, подсчитывали убытки,
просили признать все до единой ошибки,
требовали, умоляли и укоряли,
бросались то камнями, то якорями,
замаскированными под слова цвета хаки,
подавали знаки и отражали атаки,
шли по пятам, наступали на горло песням,
ничего не могли поделать, ну хоть ты тресни,
крутились как белки и поводили бровью,
попрекали любимых безответной любовью,
отчаивались, оттаивали, страдали,
чистили воображаемые медали,
наступали на правом, а также на левом фланге —
где-то рядом пролетел навсегда ангел?

Задержите ангела! Все на его поимку!
Только где искать пернатого невидимку?
Он подался на запад иль упорхнул на север?
Он вернётся в наши края? Улетел форевер?
Разошлите письма на все стороны света:
«Не видали вы нашего ангела? Ждём ответа!»
Позвоните в полицию, в канцелярию президента,
вызывайте из отпуска секретнейшего агента,
дайте взятки кому надо, в самом-то деле!
Это ж надо — взяли и ангела просвистели.
Проворонили. Упустили. Ушёл, крылатый.
Где ж мы с вами в это время были, ребята?
Ничего, подготовим лассо и айда по коням,
разберёмся, вычислим, визнаем и догоним.

И пока нас мчат вперёд слоны и мустанги,
пока мы мечем кто икру, кто бисер, кто бумеранги,
протираем платочками запотевшие окуляры,
в это самое время строго перпендикулярно
касательной к каждой точке нашего жизненного маршрута,
не обращая внимания ни на годы, ни на минуты,
ни на холод, ни на жару, ни на пустыни, ни на болота,
трубя в шальную трубу по не видимым миру нотам,
никому не застя глаза, никого не разя громом,
по дорожкам CD и затёртым магнитоальбомам,
по проводам, по волнам, по пристаням и перронам,
по зачарованным грёзам, по улыбкам влюблённым,
по экрану, по словарю, по страницам манги
рядом с нами летит наш навсегда ангел.



Алан Кайсанбекович Кубатиев (псевдонимы — А. Воеводин, Тимур Туганов) родился в г. Фрунзе в 1952 г. Кандидат филологических наук, прозаик, переводчик с английского, критик, антологист, литературовед, журналист, преподаватель. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Кронштадте, преподаёт в Институте специальной психологии и педагогики имени Рауля Валленберга.

Алан Кубатиев

Тризна

Фантастический рассказ

...Что блаженны руки, затворяющие окно.

Что уйти без муки даже Господу не дано...

Так не плачь же, а смейся, в сияющий мир иной

Уносясь по рельсам в коробочке расписной.

Мария Галина

От окна к окну мягко плыл весенний лес.

Говорят, прекрасная терапия, глубокое умиротворение. Несколько часов буду приспосабливаться к возросшей гравитации, и это даже хорошо: в тренажёрке такого не добьёшься. Но пока на плечах у меня словно пересохший кокос, и он трещит при каждом движении. Тошнит.

В Поясе Радуг мне казалось, что это будет интересная перемена мест.

Оказалось, что это интересный кошмар. Отвык, совершенно отвык.

Правда, мой скинмон был за меня спокоен: запястье в слоте экзоскелета светилось обычными бледно-голубыми тату, и ни одной красной метки. Посвистывание сервомышц привлекло внимание только одного пассажира — рыжеволосой девочки, тайком изучавшей моё лицо в своём телефоне. Она повернулась, и наши взгляды встретились. Смущённая, она заговорила первая:

— Э-эээ, Родон Александрович, как вам нынешняя Земля?

— Родион, Екатерина Булатовна. Ваша мама тоже никак не может запомнить — уже лет сорок. Ладно, не переживайте... Странно, да. Не уверен, что всё это мне нравится.

Машинально собравшись обвести рукой местную вселенную, я вдруг ощутил сопротивление. Проклятый «Каркасс-ОН» жестоко тормозил, усердно настраиваясь на отсутствующий у меня биод. Я договорил, а семь секунд спустя он величаво повёл моей кистью и назидательно выставил палец. Рабовладельцы тоже порой оказывались в странных отношениях с рабами. Лакеи, придайте мне позу раздумья о судьбах государства. Жара и нелепая попытка меня едва не доконали. Гравитация и возраст дружно кинулись в атаку; я сморщился больше от раздражения, чем от боли.

— Вам должно быть очень трудно, — огорчённо сказала она.

Рыжие волнистые пряди, тонкий нос, большие серо-зелёные глаза и чуть веснушчатые щёки. Откинувшись назад, на мерцающий гель дивана, она изучала потолок и без нужды оправляла футболку. Под её пальцами возникали и пропадали надписи, которых я не понимал, впрочем, и рисунков тоже. Чудесное лицо, совершенно прерафаэлитское. Никакого сходства с Булатом. Я кивнул, и проклятый воротник проклятого «Каркасса» чуть не спустил мне шкуру с затылка.

— Откуда вы добирались? — Не о погоде же спрашивать...

Екатерина взглянула на меня. Похоже, решила, что я её дразню.

— Тут, в общем, близко. Ма попросила встретить вас до стопа. Но по полной. Без симсима. — Опять жаргон, или не жаргон. Непонятно в любом случае. Ах да — они сейчас так называют ПИКи. Парантеллектуальные концентраты.

— У меня была филдо, — добавила она. — Адекват, я не знаю, чего они меня метнули. Симсим свёл бы не хуже.

— Ты уверена? Они же примитивные.

Девочка отмахнулась.

— Адекватно. Целно. Многие не спят вообще.

Я заинтересовался. Почти тридцать лет назад, в середине двадцатых годов ПИКИ выглядели наподобие любительских анимэ и казались безобидными игрушками, способными создать вокруг несложную игровую площадку. Но в Поясе Радуг я — и не один я — первым делом отказался именно от них.

— И тактильно, и одорологически? — спросил я, за что мгновенно был удостоен взгляда хулигана, повстречавшего столетнего дауна.

— А, конечно, — поспешно закивала она. — У вас же симсимы под запретом?

— У нас они просто никому не нужны. Мы заняты реальными вещами.

— Строите новые звёздники? Видела в тру. Это... «Королёв», «Браун» и этот, ну, к Барнарду... Такие здоровенные надраенные груши. Не лепит, совсем. Я родилась через одиннадцать лет.

То есть ей двадцать два. Диэйджеры у них неплохие. Пробник Барнарда вернётся через семьдесят лет, и она будет встречать его в таком же «Каркасс-ОНе» для пенсионеров и миопагов, или в чём получше, ведь прогресс не стоит на месте, а прямо-таки подпрыгивает.

— Ничего, если я спрошу, сколько вам? Вы прямо как эти звёздники, такой же блестящий и мощный... — Она засмеялась.

— Это экзоскелет блестящий. И мощный. Я-то провёл полжизни в невесомости и на тренажёрах. Мне девяносто семь. Исполнившихся.

— Но вы совсем не тянете на столько!.. — Девочка и в самом деле была удивлена.

— Благодарю, дитя. Побочный эффект невесомости, да и врачи у нас отличные. Геноинструментарий шестого поколения. В наших перелётах без этого никак.

Она почему-то погрустнела и снова уставилась в окно. Тему следовало сменить.

— Раньше зимой тут бывало холодно, — нашёлся я. — Помню даже снег.

Не удержавшись, девочка фыркнула.

— Фейк, — сказала она. — Здесь-то?

— Здесь. Европе удалось сохранить кое-какую чистоту, но успеть за переменной климата уже не получилось.

— Я жила в таком симсимае, — ответила она. — Папа хотел. Но я выключилась, потому что никакой адекватности. Снег на всём — понец, прямо понец...

Мне удалось не сказать, что разницу можно было бы понять, если бы пожить там, где это действительно. Может, теперь они у них действительно сверхточные.

Мы сидели и разговаривали всю дорогу до вокзала, как могут лишь попутчики. Собственно, так оно и было. Послезавтра меня здесь не будет, и я сюда никогда больше не вернусь, разве что в маленьком герметическом сосуде. «Зовите меня Катя», — сказала она. «Зови меня дядя Родион», — ответил я.

На остановке Ярлык с оранжевой транспортной биотату на скуле считал наши кожные индексы для подтверждения класса проезда. Можно было бы погордиться своим участием в его склейке, но с годами получалось все хуже. Почти не получалось.

Замок в незапамятные времена был построен путешественником, вернувшимся живым из Северной Африки. То ли крестоносцы, то ли турки впечатлили его своими крепостями настолько, что он отстроил это уродище и даже, кажется, тут жил.

Огромная каменная гора, расплывшаяся на бессмысленно огромную площадь. Содержал он его без Ярлыков. Кто-то из его потомков, не то замаливая грехи, не то в филантропических целях переоборудовал одно крыло в большой корпус для бездомных, такой же уродливый, но с хорошими кондиционерами и фильтрами, отличными ионообменниками для воды и, что в моём случае более важно, с кучей удобств для инвалидов. Интересно, за сколько они вернули бы мне земную форму. Наверное, быстро и, возможно, даже бесплатно — в зачёт былых заслуг.

Технически «Каркасс-ОН» способен взять любую лестницу, но мало кто рискнул бы, да ещё при неполной настройке. Нет, лифты и пандусы надёжнее.

Номер был стандартным. Правда, вместо спального геля положили одеяло с компенсатором, ведь мне и натуральное пуховое было сейчас тяжело, и постель тоже с поддувом, а так — любой отель в любом месте от Томска до Танганьики.

Брату, вернее в его дом, я звонить не стал. Им известно, что я приземлился, «Каркасс-ОН» передаёт им мою телеметрию, так как юридически они несут за меня всю ответственность. Но вот доктору Кнафель я позвонил. «Каркасс-ОН» шлёт данные и на спутник, а уж оттуда его считывает комп Натальи и предупреждает об отклонениях. Верю, что она их уже насчитала три месячных нормы и едва удерживается, чтоб не вломить мне по полной.

Наталья появляется — «Каркасс» развернул оптогазовый экран.

— Как там подготовка к харакири? — язвительно спрашивает она.

Разговор будет с трёхсекундным опозданием: до «Радуги» неблизко даже световому пучку.

— Натико, не ускоряйся. Булат — последний из моей семьи. Похороны матери и сестры я пропустил, и уж его я провожу любой ценой. Даже если тут же отправлюсь вдогонку.

— Ты свой скимон видишь? Мы можем не успеть забрать тебя в случае чего. Да у вас к тому же чёрт знает что творится! Будто специально тебя дожидались. Северная Африка — солдатней просто кишит, Египет, Турция, эта, как её, бывшая Грузия, да и весь их Кавказ...

— Наташа, Наташа!.. А где психологическая поддержка пациента?

Три секунды тянулись целый час. В горле пересохло. Я попытался напиться, но очень удачно раздавил стакан с водой пальцами «Каркасса». Пришлось глотнуть из его системы. Тьфу.

— Мы перехватываем кодо из Каира, Тегерана, Эр-Рияда, и во всех одно и то же. Войска уже на границах Эфиопии и Пакистана. Похоже, что Единый Халифат наконец разобрался, чего он хочет...

...Тру-транс, который в полусознании смотрел у зоны паспортного контроля Хитроу, спутниковое пропагандистское шоу прямо из тру-центра ЕХ, томный халифатник с изысканной полоской усов мурлыкал на оксфордском английском, почему пришлось прекратить биологические исследования в Федеральный Европе, крутили самые неприятные и вдобавок хорошо обработанные съёмки самых неудачных экземпляров, умело снятые кадры Ярлыков с самых невыгодных ракурсов, а потом этот красавец заявил, что создание нейроприсадок, забывающих бога и пророка, было работой дьявола, два канадских туриста хихикали, а аэропортовский Ярлык остановил пылесос и широко улыбался, радуясь вместе с ними...

Я пожал плечами.

— Сомневаюсь, что всё так уж плохо. Там же столетиями вечно какая-то суэта...

— На сей раз хуже некуда. Делегация Халифата только что вернулась в Тегеран из Гааги. Европарламент при всём количестве тамошних сторонников ЕХ отказался подписать Договор о гуманизации научных исследований.

— Неудивительно. Девять десятых европейской и никто не знает, сколько мировой экономики базируется на Ярлыках и других формах

кондиционированного труда. Так просто они не сдадутся.

— Разумеется. Но по нашим данным, несколько часов назад триста смертников проникли на территорию Кёльнского адаптоцентра и подорвали себя в помещениях охраны и в палатах со свежадаптированными Ярлыками. Восемь сотен трупов. Одновременно вторая группа демонтировала и вывезла всё оборудование.

— Зачем? — спрашиваю я. — Для ритуального уничтожения?

— Возможно, — сухо отвечает Наталья. — А возможно, для личного употребления. Несколько часов назад Совет Безопасности выпустил меморандум. Любой поясник, не вернувшийся в течение недели, скорее всего, останется на Земле на неопределённо долгий срок. Ни шаттлы, ни катера через активизированные сети ПВО не пробьются, с одной стороны будут перехватчики, а с другой боевые спутники. А для тебя это особенная проблема.

— То есть?.. — Я уже просчитал, но вежливость требует признать заботу.

— Ты же один из создателей системы нейро-адаптационных подсадок. Знаешь их милый обычай публично забивать врагов веры камнями? Сейчас они официально ограничили вес камней, чтоб процедура не кончилась слишком рано...

— Сомневаюсь, что до этого дойдёт. Наташенька, спасибо, что позвонила. Буду держать связь.

— Будь осторожнее, турист. И выбирайся побыстрее.

Наталья отключилась, и «Каркасс-ОН» свернул экран.

Теперь надо было выбраться из скелета в постель. Жалко, что никто из коллег, ностальгирующих по Земле, не видел этой самоубийственной схватки со штанами, рубашкой и не вовремя сбившейся простыней. Нажать кнопки одёжных замков и то оказалось целым состязанием по специальной программе. Тоска по парению и лёгкости Пояса Радуги была острее мук притяжения. Продышавшись, я оторнул эту бесполезную ностальгию, зато включил стимулятор аспирации и наклеил пластырь с мелатонином. Задрёмывая, чувствовал, что лёгкие у меня не больше, чем у лабораторной мыши.

Утром по стеклу мягко постукивал дождь. Тёплая и неожиданно удобная постель помогла слегка наслаждаться всеми болями и даже потёртостями — крепления «Каркасс-ОНа» на-

мяли кожу и мышцы. Однако хватило сил поднять флакон и обработать самое неприятное, и от этого тоже стало чуть веселее. После недолгого скандала с Моим Худшим Я Мой Лучший Я набрал по памяти короткий номер, вспоминая, как дребезжит старый-престарый телефон, который теперь, наверное, достанется ликующему антиквару. Попал я, разумеется, на Ильзу. Она сухо ответила, что похороны в час дня, и тут же отключилась. Седьмой брак принёс наконец моему брату фертильную жену, однако от ведьмы в придачу ему отказаться не удалось.

Завтракать пришлось в «Каркассе» и через его подсистемы. Настоящего завтрака мой желудок не выдержал бы, но пара капсул с лиофилизированной едой, уютно разрастающейся в желудке, и пара инъекций взбодрили меня настолько, что я решил пройтись вдоль пляжа. Надежда увидеть вживую те места, где я был счастлив, примиряла даже с «Каркассом» и тем, что настройка ещё не закончилась.

Всё это было зря. Старой пристани для яхт не осталось, часть была под водой, часть обрушилась, пляж был застроен почти целиком и по краям изгажен какой-то пузырячатой дрянью — брать пробу не хотелось. Город тонул в мутном тумане. Гавань из понтонов натянули между уцелевшими пирсами, а сами понтоны были из омерзительно-жёлтого люминесцентного нанопластика. Липкий дождь полз по лицу и оболочке «Каркасса». Добро пожаловать на родину. И на чёрта я сюда потащился... Дождь тоже кончился как-то сразу, словно закрутили кран. Понятно, климатизаторы ещё работают.

Новая гавань полностью отменяла воспоминания о старой. Вместо пёстрых рыбацких шхун и катеров стоял всего один, но огромный туристский паром-дископлан. Такого же мерзкого жёлтого цвета, и почему-то с огромными жеманными губами, нарисованными по сторонам от форштевня. Интересно, что у него на ахтерштевне. Пассажиры высадились, готовые развлекаться, а Ярлыки из портовой прислуги несли за ними багаж.

Ковыляя по новому причалу, старался не обращать внимания на осыпающиеся дома и вонь из их подвалов и подъездов. Ну понятно, реноваторы и санаторы сдохли уже лет семь назад и гниют там сами. Дети, азартно вопившие на незнакомых языках, скакали на игрушечных динозаврах и носорогах по выкрошившейся мостовой, где когда-то летели яркие сверкающие машины.

Ничего не осталось, кроме самой земли и моря, но земля была цвета старого пепла, а море — застоявшегося бульона.

На сосновых холмах не было сосен; по ветру мотались пальмы. Кажется, тоже адапты или просто пластиковые. Мощные красные и бронзовые стволы, выдерживавшие все шторма, умерли под кислотными дождями, и теперь горизонт перекрывало гигантское здание из лиловых зеркал, тянувшееся во все стороны сразу, подключённое к сети, позволявшей жителям этих квартир конструировать себе любую жизнь. Любую. И прежде всего чужую. Своя им опротивела ещё до рождения.

Голодные века пожрали нас. И извергли. И вновь пожрали. Похоже, что извергнут снова. Что же мы тогда такое?

— Родон! Дядя Родион!..

Голос был Катин.

— В стопе сказали, что вы пошли этой дорогой...

У неё был велосипед, выращенный из пурпурной игуаны. Странно было думать, что и здесь крутились мои разработки — боже, ведь это был мой докторский проект по энергообмену квази-белковых моделей третьего уровня...

— Мне хотелось бы с вами кое о чём поговорить.

Я кивнул.

— Никогда не встречал человека, который действительно был в космосе, — сказала она. — И могу никогда не увидеть, если в новостях — правда.

— Война?

— Может быть. Пограничный инцидент, роботы линии защиты открыли огонь по боевой машине ЕХ. Оказалось, им по пятнадцать-шестнадцать лет, личного оружия не было, машина учебная. Тру просто показала слайды.

Она, кажется, потрясена и напугана.

— Катюша, роботы есть роботы, они откроют огонь по всему, что пересечёт границу без опознавателей. Это везде так...

— Тру говорит, вероятно, это дети-солдаты гвардии Правоверных. Их послали, чтобы спровоцировать инцидент и чтобы у нас осуждали правительство...

— Вероятно. Это в лучших традициях Халифата. Европейское население на треть, если не больше, сочувствует их политике и любит ими. По крайней мере, так я слышал в Поясе из земных новостей. Вот пусть и теперь полюбуются.

— И ещё. В первом выпуске сказали, что у них были подсадки нового типа. Во втором этой информации не было.

Меня затошнило, сильнее, чем после посадки. «Каркасс» задрёгался, но ничего не последовало, потом высунулся шланг от контейнера с соком, и паховое сиденье, жужжа, пододвинуло меня к нему. Но я отвернулся, хотя наконецник усердно тыкался мне в губы. Экзоскелет срывает так, когда телеметрия говорит, что седок без сознания.

— Этого не может быть, — помолчав, сухо ответил я. — Подсадка не трансформируется. Она была сконструирована, чтоб действовать в позитивных паттернах трудового и социального поведения или не действовать вообще. Утка. Выдумка. Ложь!..

Вдруг она потрясённо указала на море. Я быстро повернулся, почти едва не опрокинув «Каркасс-ОН» — откуда и силы. Мышцы взвыли, в глазах побелело. Что она там увидела? Боевые дископланы ЕХ?

Но это было совсем другое.

Издалека они казались дельфинами: так же взлетали над волнами, затейливо переворачивались, по-дельфиньи вонзались в воду, снова взлетали и что-то перебрасывали друг другу. Мы наблюдали за ними в тишине, пока, один за другим, они не ушли из крутой дуги вниз и больше уже не вернулись.

— Ихтики, — тихо проговорила Катя. — Когда я была маленькой, мы верили, что если увидишь хоть одного, это к большой-большой удаче. Но мне ни разу не случалось...

— Когда я был маленьким, ихтики были совсем другие.

Я посмотрел на её велогуну. Эффективное решение стольких проблем сразу. Личный транспорт на прессованных пальмовых листьях. Отходов практически нет, а что есть, идёт в рецикл. Домашний любимец, устойчивый эмоциональный контакт, может выполнять до двадцати видов работ. Ихти — такие же продукты. Генная инженерия, биоразвёртка, царица наук. Три четверти моей жизни.

— Ихти выстроили купольный город у того берега озера, в устье реки. Красиво, но вблизи ихти больше похожи на тюленей. Кажется, они уже не разговаривают. В сущности, они те же Ярлыки...

Мир стал совсем чужим. Польза была только одна — чувствовать, насколько прежним остался ты. Когда-то это были глубоководные боевые пловцы, специально выведенные для подводного контроля границ. Помню людей, которые работали над ними. Возможно, они и сейчас сохраняют эту функцию, а кодом запуска могут быть,

скажем, сто литров модифицированного феромона, после которого они дружно похватывают своё подводное оружие и кинутся на литоральные посты и абиссальные посты...

Сейчас они мирно выгребают и сортируют водоросли, обслуживают фильтры, собирающие синне-зеленых агл, в Тихом океане добывают акантостеров — многие астеросапонины так и не удалось синтезировать, и что-то ещё, для регенераторов тканей. Ловят морские мины, которых осталось немного. Зарабатывают очень приличные деньги, куда больше, чем то пособие, которое им платит сейчас министерство обороны... Наверное, делали их на прототипах моей схемы для Ярлыков. Увидеть хоть одного к удаче, сказала Катя. Сомневаюсь.

— Моё любимое кафе теперь под водой, — сказал я. — Возраст — это музей невидимых экспонатов.

— У меня были жабры, но не очень долго. Мы там чудили. Подводный секс, мусорка, то-сё. Интересно, потом надоело.

Катя пила нечто странное, менявшее цвет в чашке. Посетители, в основном молодёжь, были странно тихими и подавленными. «Каркасс» ловил только отдельные слова, но настраиваться я не стал. «ЕХи... пальба... да они просто пошлют своих психов с ножами... у них теперь все инженеры... Марк не вернулся... Лора тоже... сегодня живой концерт в “Китайском лётчике”... сегодня живой, а завтра мёртвый, ага...»

Мирно улыбающиеся Ярлыки готовили, разносили, убирали.

— Сейчас уже почти не затапливают, — сказала Катя. — Чаше пускают мельницу, ну, рециклируют. Она ползёт и перемалывает всё в такой порошок, разделяет камень, пластик и металл, а из них уже делают блоки и покрытия. Очень быстро. Сто мельниц утилизovali Дортмунд за неделю. Теперь его строят заново.

— Да, — сказал я. — Впечатляет. Может, это и к лучшему. «Я узнал, что старая могила — для постройки лучшая земля...»

— Что? — спросила Катя, приподняв золотистые брови.

— Неважно, — ответил я.

— А как там, в Поясах? — То ли она решила сменить тему, то ли взаправду интересовалась.

— По-разному. Люди — другие. Целенаправленней, энергичнее. Другое пространство: чуть ошибись, и ты погиб. Или погибли из-за тебя. Очень воспитывает.

— Мама говорит, что там собрались эти, мечтатели.

— Наоборот, — усмехнулся я. — Ты позволишь?.. — палец сумел показать на её чашку. Она удивлённо кивнула. Рука также сумела не раздавить посудинку, да и керамика была своя, неуничтожимая. Пойло коснулось губ. На вкус ещё непонятнее, чем на вид. — Мечтатели остались на Земле. Грезящие, я бы даже сказал. Похоже, больше никто ничем не занимается. Люди отдали всю работу инструментис вокалибус, говорящим орудиям, а сами ушли в симсимы. Боюсь, уже навсегда.

— Что тут плохого? Какая разница, как чувствовать, что живёшь — напрямую или стучаясь обо всё?

— Плохого? Ничего. Хорошего тоже. Просто ни-че-го. Теперь даже открытия не делаются людьми.

— Ну и что? Мы сделали машины, делающие для нас открытия. Ведь всё шло к этому, правда? Вы же сами работали над этим! — она кивнула на Ярлыка. — Хотя он-то сделан именно затем, чтобы ничего не открыть...

Девочка была неглупа. Но это стоило отдельного спора и другой жизни — на словах такого не объяснить.

— Отлично. Ваши машины — просто вторые родители.

— Мы их сделали. Они заботятся о нас. Жить хорошо. Нужд нет.

Тут возразить было нечего. Нищими сейчас были только те, кто умел быть нищим. В эту касту было попасть непросто. Одна из элитных групп современного населения.

— Они отдают нам то, что находят, а мы это применяем. А иногда они управляют сами. Симсим дает нам всё, что можно испытать. Зонды гонят миллион скучных фотографий и анализов — хуже Луны. Вулканы всякие вонючие. Симсим такие вещи выдает!.. — Она прикрыла глаза и помотала головой. Потом хихикнула. — Настоящие инопланетяне глупее и противнее, чем те, которые у нас в конструктах...

— Да, это проблема. Только они-то ненастоящие. Как вы можете знать правду о них? Разве это не жутко, что ваши люди стали в конечном итоге машинно-зависимыми? Что эволюция человека, возможно, зашла в тупик? Человечество нуждается в трудностях, чтобы расти. Вот почему мы не разрешаем там, наверху, симсимы или супермощные ИскИны.

— Прогресс не остановился здесь. Мы просто выбрали другой путь. А ты говоришь, как фундаменталисты — «ваши люди»...

Катя попросила счёт. Ярлык-официант протянул ладонь, чтоб она скачала его. Ему было радостно, что с ним говорят.

Кладбище оказалось настоящим — каменно-глиняный холм, от подножия и до срезанной вершины уставленный склепами и надгробьями. А вот церковь была симовая, но очень приличной работы.

Людей было мало, и все не моложе шестидесяти. Остальные были Ярлыки с лопатами, кирками и верёвками — Ильза не пожалела денег на настоящий обряд, хотя деструктуризация обошлась бы ей раз в пять дешевле. Ба-бах, а после Бах, и настоящий прах, пелось в одной из вещей «Birth Control».

Священником была женщина. Диэйджерами она явно не пользовалась и смотрелась на все свои семьдесят лет, но службу у могилы провела бодро. Она распевала все положенные тексты, а я старался думать о Булате.

Он совсем не менялся. Пожелтел, похудел, но был мало похож на больного. Смерть собралась в глазах и вокруг рта. Мы перезванивались достаточно часто, почти всегда звонил я, и счета были дикие, несмотря на льготные тарифы для тех, кто живет на Поясе дольше пяти лет. Оживился он в последний год лишь однажды — я обмолвился, что с удовольствием взялся бы за садоводство. Тогда Булат принялся рассказывать, как он ездил в наш старый дом и как там всё цвело. Но я-то видел записи со спутника. Дом сожгли дикие гасты — ещё до того, как их стали впускать лишь после нейроподсадки. Сад задушила модифицированная повилика.

Мы поссорились перед моим отлётом на Пояс. Ему казалось, что я сделал что-то такое, что должен непременно искупить, а я вспылил и наговорил ему глупостей про слепых червей и гниющую науку. Дешёвая энергия, суперкомпьютеры, генетический скрининг и отрицание национального государства — всё это было достигнуто без меня, и я мог перебраться туда, где наука не была огромным супермаркетом, услужливо выдававшим товары. Булат не захотел с этим согласиться, а потом вдруг стало поздно — эту форму не лечили даже сейчас. Но перед тем он успел продать всё, что у него было, кроме второго дома, этого самого, и на эти немаленькие деньги обеспечил себе фертильную жену и детей от неё, вместо обычных эки. Ильза, похоже, бесилась всю жизнь из-за этого — чувствовать себя исполнительницей единственной функции, купленной на рас-

плод... о-оох... Кажется, хоть дети получились хорошие. Но ведь сейчас и эки, экстракорпораты, при геноскрининге вполне надёжные...

На верёвках мы опустили очень лёгкий гроб. Собственно, в экзоскелете я мог опустить его один. Пахло сырой землёй и глиной: удивительно, ведь я их различал. Выпущенная верёвка упала под ноги с не перестававшей изумлять скоростью. Священница договорила полагавшееся по обряду. Присутствовавшие — я не знал никого, кроме Ильзы и Кати, — по очереди пожали нам руки и побрели к стоянке. Всё было до ужаса буднично.

— Тебе надо вернуться в дом, — не глядя на меня, сказала Ильза.

— Может быть, не стоит?..

— Стоит, — ответила она, с отвращением снимая чёрную шляпу. — Он просил.

Неподвижные лопасти огромных ветродвигателей сами по себе впечатляющее зрелище. А когда гигантскими белыми столбами уставлена вся долина, до самого горизонта, это ещё интереснее. Маленький шаттл на электрической тяге словно пробирался через фантастический лес, из которого великаны рубили себе дома. Но их никто не рубил. Когда дельта-батареи покончили с энергетическими проблемами, ветряки остались стоять: их даже не снесли. Перерабатывать бетон не имело смысла. Разве что на основания для островов, но пока о них не вспомнили.

Между ними паслось несколько сотен овец. Розовая шерсть означала, что они модифицированы для получения инсулина: их молоко с рободоек сразу же поступало на реакторы. Ярлык на сером пони любовно следил за ними. Я отвернулся.

— Не нравится? — поинтересовалась Ильза.

— Нет, и я знаю, что ты скажешь.

Шаттл трясло, зубы лязгали, но «Каркасс» почему-то никак с этим не боролся. Мне с трудом удавалось говорить.

— Они же любят свой труд, любят нас и то, как мы к ним относимся. А ты прекрасно сделал тогда свою работу...

— Мы не можем сменить тему?

Ярлыки действительно это любят. Я хорошо сделал свою работу, а тогдашние политики ловко продавали этот закон. «Хочешь работать в этой стране — стань для нее безопасен...» Таких рабов в истории не было ни у кого. Ни бунтов, ни насилия, ни требований гражданства. Контракт отработан — нейроприсадка дезакти-

вируется, и бывший Ярлык, со щеки которого удалена цветовая кодировка, её-то и прозвали ярлыком, возвращается на родину богатым и здоровым, с надёжно имплантированной дозой позитивных воспоминаний, а следующая порция будущих исполнителей, к тому времени подросших и вождедеющих его места, добровольно и даже радостно выстраивается перед воротами адаптационных центров Самары, Архангельска, Милана, Женевы, Бристоля, Кёльна — нет, уже больше не Кёльна... Всё совершенно гуманно и практично.

Но она не могла пропустить любимую фразу.

— Нечего воротить нос. Ты и такие, как ты, сделали этих животных, — Ильза не смотрела на меня.

— Ну и что ты от меня хочешь? Чтоб я взялся за пересотворение? Поздно, дорогая. Поздно. Ты будешь меня ненавидеть и тогда, если я это сделаю.

Она не ответила, дорога свернула к дому, и древняя брусчатка принялась доказывать мне наличие у меня души путём ее вытрясания. Но тут включились фиксаторы положения головы и едва не свернули мне шею. Шаттл въехал в ворота и остановился у дома.

— Иди, — сказала она.

— А ты? — спросил я.

— Он ни разу не сказал мне, что захочет меня видеть, — глухо ответила Ильза.

Лопотал и позванивал ручей. В листве чирикали и ссорились птицы.

Наверняка он лежал на огромном валуне и смотрел, как рыба скользит в потоке. Ловить он не любил. Под ногами хрустела трава, кроны старых вязов скрывали солнце, оставляя золотую сеть на земле и стволах. Девятилетнее тело несло меня так легко, как не бывало даже на По-ясе. Девяностосемилетнее, подключённое через «Каркасс» к симсерверу, осталось там, наверху.

Катя была права. Моделирование было превосходным; иллюзию досоздавал мой собственный мозг, собирая её из всего, что знал о мире. Поэтому я даже не старался отличить подлинное от неподлинного. В этой воде, если захотеть, можно было даже утонуть.

Тринадцать лет. Худой, исцарапанные колени, длинные чёрные волосы и ясные серые глаза, хитрые, улыбчивые, ни единой капельки боли и предсмертного безразличия.

— Пришёл... — сказал он и улыбнулся. Я не ответил. Меня трясло. Кошмар может быть и умиротворен.

— Ты... — сказал я. — Помнишь, ты сказал, что не сделаешься призраком. Чего ты испугался? Что это тебе дало? Они даже не плачут над твоей могилой.

Схожу с ума. Разговариваю с проекцией сложной обратной связи.

Булат усмехнулся.

— Поживёшь в одном теле со смертью, начинаешь думать иначе. Ну, и дети могут приезжать и говорить со мной. Зачем же плакать? Катю ты не знаешь, Аулис завтра приедет сюда. Гора не будет, будет уверенность, что я всегда с ними... Разве плохо?

Подобрав камень, он швырнул его в воду. Я смотрел на всплеск и жемчужную рябь. Стрекоза парила над нами. Умер он до того, как дочь поехала встретить меня.

— Конечно, для них я буду другой. Это я выбрал для нас с тобой. Нравится?

Я пожал плечами:

— Именно таким я его и помню. Значит, и ты тоже.

Неуверенная улыбка была именно из тех дней.

— Да, тот самый берег, у Чон-Арыка. Сим выбирает из моей памяти самое яркое, остальное заполняешь ты... Помнишь, как Марик...

— Тогда никакой точности нет. Всё размыто. «Твоё» и «моё» совпасть не могут. Моё к тому же на три года младше: я ведь долго ходил сюда один.

— Какое это имеет значение? Ты видишь что-то не так?.. Хочешь, потрогай.

Катя сказала мне то же самое в поезде. Но это была отлично сконструированная, медленная и неотвратимая ложь. Потрогать, понюхать; лизнуть, чёрт подери.

— Ты хочешь, чтоб я поверил, что ты мой Булка. Ты хочешь, чтоб я уселся тут с тобой и смотрел на мальков. Но ты просто набор магнитных «да-нет», ты подпрограмма, которая выдаёт себя за него. Ты всего-навсего подпрограмма, процедура, функция в той программе, которая склеивает эту дрянь. Выключись к чёртовой матери!

— Не злись. Я понимаю, ты не можешь в это поверить. Я Булат. Я твой Булка. Всё, что было в нашей жизни, всё это во мне. А теперь это записано — ныне и присно и во веки веков. Мой мозг записан целиком. Здесь всё мое и навсегда, каждая реакция, каждая эмоция. Я почувствую то же, что мог бы, и рассержусь на то же, на что рассердился бы. Но теперь я знаю, чем заплатил за это, и больше не ошибусь. А

обрадуюсь зато всему, чему не успел. Здорово, правда?..

— Здорово. Ты просто классная модель. Всем симам сим. Тебя можно включить и выключить, и ты даже не обидишься. Пятимерное фото, очень удобно. Как чучело любимого кота у тёти Веры. Помнишь, как оно укладывалось спать и урчало? Ты даже не лжёшь себе, потому что тебя нет.

Холод в животе, тошнота, растущее ощущение нереальности и отчуждения. У кого? У меня-здесь или у меня-наверху-в-скелете? Мне казалось, что я сам превращаюсь в эту проекцию, и на секунды вдруг с ужасом почувствовал, что жду этого.

— Брось, Родик, — он улыбнулся, подперев голову рукой. — Ты хочешь не верить, но не можешь, верно?.. Меня делает всё лучшее, что может быть в человеке. Я попросил не кодировать два последних месяца... боли, удушье, отчаяние, ничего приятного. Но я знаю об этом и страдаю любому, кого убивают болезнь или человек. Меня могли скатать в клона, и я вернулся бы свой в мир пешком, пусть даже всего на пару лет, они же нестабильные... Полная идентичность клеточной системы, моих воспоминаний и опыта. Ты и тогда не будешь считать это реальностью?

— А твою душу тоже записали?

— Может быть. Но ведь ты не верил в существование душ?

— Теперь верю. Глядя на то, что получилось из тебя.

Похоже, ему запрограммировали и огорчение. Выглядело довольно похоже.

— Души... Удобный словесный трюк, чтоб пояснить непояснимое — нашу личность, наше сходство-несходство... Программа для машины из плоти. Тебе ли не знать, что стоит у тебя в крови поменяться двум химическим элементам, и твоей личности конец. Взамен приходит нечто иное, и ты никогда больше не узнаешь, что. Чёрт подери, да ты же сам строил людей! Ты кроил им простые и мирные души, которые никогда не будут ничем иным. Почему я не могу помириться с душой по своему выбору?

— То есть выбрать себе софт? Это уже...

— Роди, милый, нам уже не выбраться из этой расщелины между старым и новым. Так нас занесло. А у Кати и её сверстников нет ничего похожего — прежде всего потому, что они уверены, что личность бессмертна, и для всех, а не только для гениев, иммортальных креаторов. Никакого страха смерти. Из-за отсутствия смерти.

— На самом деле они развлекаются в мире мёртвых — смерть уже победила и то, что физически не умерло. Они больше не отличат её от жизни.

— Может быть, мы этого и хотели. Подумай над этим.

— Нет! — крикнул я. — Выпусти меня! Сейчас же!

— Не беспокойся. И поверь — я есть я, ты мне нужен, а я нужен тебе. Приходи.

Он протянул загорелую летним загаром руку, с худыми мальчишескими пальцами, отросшими ногтями, каменной пылью на локте. И коснулся меня. Твёрдо, ласково и тепло.

Страшнее этого в моей жизни была только тьма, ворвавшаяся в мой мозг.

Потом я очнулся в моём теле, охваченном «Каркассом».

— Отпустите меня, — сказал я.

На терминал меня везла Катя.

Она внесла мою сумку на платформу. Остановилась рядом и нерешительно поправила сегмент локтевого фиксатора.

— Вы же уверены, что его нет? И никогда не будет? И вам больно?

Возможно, я ошибался; но говорила она так, словно совершила открытие, с которым не могла справиться.

Она же могла приехать к нему, говорить с ним, даже выпить этой радужной дряни. Когда-нибудь они, как в «Гамлете», выйдут на улицу и пойдут в дома, где жили прежде, и к тем, кого на время оставили. Воскрешение грядёт. Мы же всегда хотели этого, сказал Булат.

Неужели я заодно с фундаменталистами? Правда, они говорят проще — «С Наукой теперь приходит Сатана». Если Богу всё равно, если Вселенная только физическое движение мёртвой материи, если мы смертны, то... Ведь Богу не может быть всё равно. Или он не Бог.

Они ненавидят Ярлыков, ибо те ежеминутно заставляют помнить, что мы просто машины из мяса. Откуда у машин душа? И главное, зачем она им?

Мне нечего было ответить. Да и права такого у меня не было — для этого семьдесят семь лет назад я должен был войти в другие ворота.

— Ты ведь не вернешься? Адеква? Никогда?

Я кивнул. На этот раз «Каркасс» бережно опустил и поднял мою голову.

— Если захочешь перебраться на Пояс, дай мне знать.

Она тоже кивнула и внезапно протянула руку. Я взял её осторожно, боясь, что «Каркасс-ОН»

может раздавить маленькую робкую кисть. Мы соединили пальцы.

— Видела в симсеме, — сказала она печально. — Правильно?

— Адеква, — сказал я. Она улыбнулась. «Каркасс-ОН» поднял меня в поезд и усадил в кресло. Она помахала мне, как только вагон тронулся.

Проклятый скелет замахал моей рукой, когда она уже скрылась из виду, и махал еще долго — специально для включённого монитора с елями, ольхами и берёзами.

Лакеи, чёрт вас всех возьми, вытрите мне когда-нибудь лицо.

Время начать войну. Праведные больше не станут мириться с извращениями Сатаны. Безбожники и все их дела будут низвергнуты. Единый Халифат клянётся в этом перед небесами. Армия праведных прошла через Испанию и Грецию, но вскоре им придется столкнуться с основными силами врагов. Тем суждено умирать, окончательно и навсегда.

Праведные видят перед собой только изнеженные ничтожества.

Им неведомо, какие страшные силы они разбудили. Они могут топить земли и воскрешать мёртвых.

Скверне суждено стать оружием веры. Каждая посадка отныне будет создавать нового воина за веру, и ничто человеческое не сможет противостоять им. Мы будем создавать миллионы истинно праведных, сражающихся за Веру и Пророка. Даже безверы, испытав обречение, никогда не смогут отказаться от Истины и станут в наши ряды.

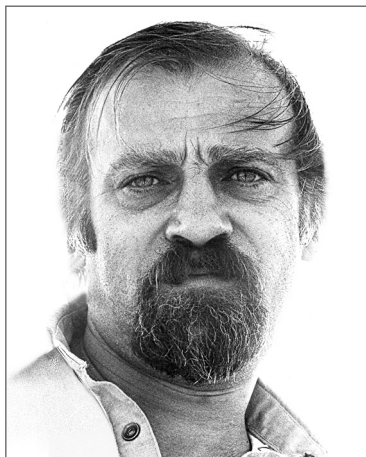
Эта борьба преобразит лицо нового тысячелетия. Праведные уверены, что победят, потому что они борются против Сатаны и во имя и славу Бога. Настала пора уничтожить всех, кто не хочет истинно уверовать.

Миру не нужны другие. Миру нужны истинные.

Благословляю вас на победу. Идите и измените всё, оставив только правду.

Поместите её в каждое сознание.

Только правду, и ничего кроме правды.



Ефим Гаммер родился в 1945 г. в Оренбурге. Жил в Риге, с 1978 г. в Иерусалиме. Закончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. Работает ответственным редактором и ведущим программ на радио «Голос Израиля» – «РЭКА».

Автор 15 книг, изданных в разных странах, печатается в журналах Израиля, России, Украины, США, Франции, Германии, Австрии, Дании, Латвии, Финляндии, Молдавии, переводится на иностранные языки. Лауреат ряда международных премий по литературе и журналистике, в частности Бунинской, серебряная медаль, Москва, 2008; «Золотое перо России», золотой знак отличия и медаль «Лучшему автору», Москва 2005 и 2010; «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007; «Петербург. Возрождение мечты», 2003; обладатель 13 медалей международных выставок во Франции, США, Австралии.

Ефим Гаммер

Мы были такими, какими были

Повесть, часть первая

Пролог: июнь 1941 года. За линией фронта

Гриша Кобрин с мелкокалиберной винтовкой за спиной похаживал у выстроенных по ранжиру брезентовых палаток. Вдалеке погрохатывало. Грозовые раскаты рассыпались на мириады drobных звуков, и они протяжно перекатывались окрест, пока не угасали меж стволов островерхих игольчатых сосен. С востока наплывал рассвет, подкрашивая алым цветом небесную синьку.

Указательным пальцем правой руки Гриша отбивал по прикладу винтовки одному ему ведомый ритм. На губах его, окаймлённых почти неприметным пушком, едва слышимо вспыхивали и гасли строки полюбившегося стихотворения Блока:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Гриша любил стихи. Но сам не сочинял. Главным его увлечением оставался стрелковый спорт. Он был прирождённым снайпером и подтвердил это нынешней весной, став чемпионом Белоруссии среди школьников. Теперь предстояло взять на прицел золотую медаль первенства СССР и выбить её без осечки. Осечки и не должно было случиться. На сборах в спортивном лагере, расположенном

за Пружанами, на затерянном в лесу бывшем военном полигоне, где он находился сейчас, равных ему не было. А ведь здесь собрались лучшие стрелки от Бреста до Минска, которым предстояло защищать спортивную честь республики 1 сентября 1941 года — в Международный юношеский день.

До побудки оставалось совсем немного. Можно и поразмяться.

По расписанию утренняя разминка приходилась на 8.00. Но Гриша привык приступать к ней на час раньше. Из-за отца. Тот в годы своей юности считался неплохим стайером. Не терял спортивную форму и по сей день, хотя ему шёл пятый десяток. На ежедневные пробежки брал с собой и выучил бегать без утомления хотя бы три километра каждое утро.

Гриша взял старт и полетел вокруг палаточного городка по лесной тропе. Там и тут, встревоженные им, вспархивали пичужки. Возмущённо затыкала лисица, осуждающе тараторила сорока.

Внезапно птичья отповедь прервалась. В наступившем затишье Гриша уловил характерный звук автомобильного мотора.

Кто это? Комендант лагеря старшина Ханьков? Странно! Всего часа два назад он выехал в Городищево за продовольствием. По времени никак обернуться не мог. Но «эмка» его! Его машина!

Гриша неторопливо двинулся к показавшейся на дороге легковушке. Но чем короче становилось расстояние, тем большее удивление она вызывала.

«Эмка» продвигалась вперёд чуть ли не бокком. Ветровые стекла выбиты, капот изрешечён. Прирождённому снайперу достаточно было одного мгновения, чтобы определить — пулевые пробоины.

«Диверсанты?»

Гриша припустил к «эмке» и только теперь заметил, отчего она так неуклюже двигается: скаты с левой стороны пробиты, резина плюха-ла по земле, подобно шлёпанцам на старческих ногах.

Он ухватился за ручку дверцы, рванул её на себя и вкинул жилистое тело в кабину, сбоку от коменданта спортивного лагеря, мёртвыми глазами смотревшего на него. Шинель старого солдата была посечена осколками стекла. Эмаль на старшинских треугольниках в петлицах побита. В барабане нагана, валявшегося на сиденье, не видно было патронов, пахло жжёным порохом.

— Война! — сказал Ханыков.

Ему, военному человеку, нелегко было осоз-навать происходящее.

Сегодня он, старшина Ханыков, специаль-но поднялся пораньше. Предстояла, как всегда в конце декады, поездка в город за продоволь-ствием. В райцентр он хотел поспеть до пету-хов, быстренько завершить все дела и выкроить времечко, чтобы сходить в кино. А то сидишь в такой глуши, что и забудешь, как внешний мир выглядит!

В данный момент внешний мир выглядел для Ханыкова обычно: знакомой чуть ли не на ощупь приграничной дорогой с приметными рытвина-ми, крытыми брезентом грузовиками, пылящи-ми вдаль, с прицепленными к задку орудиями.

Подумалось: начались манёвры.

Прибавив скорость, старшина Ханыков почти уже пристроился в хвост колонны. Но тут срабо-тал какой-то внутренний сигнал опасности. Что взбудоражило его? Что поразило? Странная гау-бица, до сих пор не числившаяся на вооружении? Непривычные глазу очертания грузовиков?

Или? Вырытая в стороне от изъезженной грунтовок траншея?

Траншея! Вырытая наспех, в полроста. И люди... Неподвижные люди... Вон тот, белобры-сый, на бруствере, у перевернутого вверх колё-сами «максима»... Рука наотмашку, будто бро-сит сейчас гранату. Он же... Он мёртв... И другие мертвы... Это не манёвры. Это война!

Старшина Ханыков затормозил, отставая от немецкой — теперь он был в этом уверен — ко-лонны и вывернул к обочине. Не выключая мо-тор, вышел из машины, прыгнул на дно тран-шеи к показавшемуся ещё живым лейтенанту. Но лейтенант был убит. Он полусидел, привалив к груди миномётную плиту, будто хотел запру-дить ею поток крови.

— Эх, дружок мой! — Ханыков расстегнул накладной карман его гимнастёрки, вытащил

тощую пачку документов и фотографий. — Эка угораздило! А мы? Что мы? Что мне делать с па-цанами? Я ведь всех свободных от нарядов от-правил на воскресный ужин к шефам на заставу. Отправить-то отправил, а вернутся ли? Не под-скажешь, лейтенант? Ничего ты мне не подска-жешь. Эх, лейтенант!

Из офицерской книжки выпорхнул листок линованной бумаги. Старшина поймал его на лету, посветил фонариком, разбирая почерк. По всей видимости, писалось впопыхах, прямо в грузовике, пока ехали на позиции.

«Мама! — прочёл он. — Не беспокойся, если от меня не будет писем. Думаю, неделю-две. За этот срок мы тут всё закончим и с победой вер-немся домой. А сейчас...»

Дальше ни слова. Не успел лейтенант допи-сать письмо матери.

— Эхма! Офицер, а салага! — с горечью про-бормотал старшина Ханыков. — Забыл, что сол-датский треугольник следует начинать с адреса. Кому отправлять-то пишу, кому? Мало их, мам, по Руси под фамилией Иванова?

С не присущим ему кряхтеньем старый солдат поднялся и, пригибаясь, чтобы голова не маячи-ла над траншеей, пошёл вдоль хода сообщения собирать документы убитых. Вернувшись в ма-шину, вытащил из кобуры наган, проверил бара-бан и взвёл курок.

Вдали обрисовалась тарахтящая звёздочка.

Мотоцикл? Да, мотоцикл с коляской. Либо отстал от ушедшей вперёд колонны, либо шёл в авангарде следующей.

Выстрелов Ханыков не услышал. Только с мимолётным удивлением ощутил сыплющееся на него стекло и привкус крови на губах. Он на-давил на акселератор, прибавил скорости, взял чуть-чуть правее, затем левее, чтобы сбить пу-лемётчика в коляске с прицела, и сквозь рамку лобового окна высадил по врагам весь барабан. Мотоцикл развернуло по оси, водитель выле-тел из седла, кувырнулся в воздухе и упал на землю. Но пулемётчик остался невредим и сы-пал вдогонку «эмке» свинцовый горох, дырявя железо.

Старшина Ханыков почему-то даже не думал о нём, на психику давило другое: сколки стекла в оконной рамке. Упругой струёй встречного ветра их могло вырвать, и тогда — прощай глаза!

Наконец мелькнула долгожданная вырубка. Ханыков круто заложил руль и повёл машину по просеке, выводящей к просёлочной грунтовке...

Последующие дни не дали успокоения. Ни-каких известий! Даже с пограничной заставы,

куда в минувшую субботу, 21 июня, отправилась часть ребят из спортивно-стрелкового лагеря. И от поварихи Ольги, ушедшей на разведку в местечко Уборевичи, тоже ни слуху ни духу. Продовольствие было на исходе. И старшина, собирающийся вывести пацанов в безопасное место, к партизанам или за линию фронта, прежде всего должен озаботиться пополнением запасов съестного. На дальней излучине реки Серочь он уже давно приметил гнездовья уток и теперь намеривался поохотиться.

Мальчишки, оставленные без пригляда, мучились от вынужденного безделья и невозможности принять правильное решение.

Все их мысли сводились к войне.

— Надо пробиваться к своим за линию фронта! — убеждал Юрчик Чучельский, прозванный Чучелом. Он был не только меткий стрелок, но и юный фотокорреспондент «Пионерской правды». Правда, отсюда до московской газеты было далеко, и он поставлял снимки Славику Ройзману — главному редактору и рисовальщику выпускаемой на стрельбище стенгазеты «Снайпер».

— А где она, твоя линия фронта? — донимал его Гриша Кобрин. — Мы и так за линией, только с другой стороны.

— Где-то там, на северо-востоке.

— Конкретней нельзя? — спросил Славик-художник, набрасывая в блокноте штриховой портрет приятеля.

— Вот пристали! Я вам что, справочное бюро?

— Посмотрите на него, «не справочное бюро»! — деланно возмутился Гриша. Он сидел на земле, подтянув под себя ноги. Мосластый, с оттопыренными ушами, в надвинутой на затылок спортивной шапочке с помпончиком, он напоминал отошталую птицу — не то филина, не то ястреба.

— А что ты предлагаешь?

— Надо подаваться в партизаны, — ответил Гриша.

— А где у них линия фронта? — передразнил Юрчик, повторив его интонацию.

— Их линия фронта нам не нужна. Надо самим организовать отряд. И драться.

— Ты соображаешь, что говоришь?

— Драться испугался, Юрчик?

— Я не об этом, чёрт тебя подери! Это при длительной войне, как с Наполеоном, нужны были партизанские отряды. А при скоротечной?

— Кто тебе сказал, что война будет скоротечная?

— Фильм такой был. «Если завтра война» называется.

— Ох, Юрчик, здесь не кино! И война — не завтра, а сегодня. И нам не докладывает, скоротечная она или не скоротечная.

— А от неё мы и не требуем доклада! — завёлся Юрчик. — В стенгазету мы как раз поместим совсем другие слова — не её, а Лебедева-Кумача! Так, Славик?

Главный редактор «Снайпера» пожал плечами:

— Что ты имеешь в виду, Юрчик?

— Песню из фильма «Если завтра война».

— Слова знаешь наизусть?

— А то!

— Может, споёшь?

— Если завтра война, если враг нападёт,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход —
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война — всколыхнётся страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнётся страна, велика и сильна,
И врага разгромим мы жестоко!

— Кто бы сомневался! — сказал Гриша. — Поэтому и говорю: надо в партизаны подаваться.

— Бросьте! — устало заметил Славик, поправляя рисунок. — Стенгазету можно и сейчас выпустить. Тушь есть, бумага есть. А всё остальное... Вот старшина вернётся, тогда и решим, куда подаваться. Не понимаете, мозгов нет? Не нам теперь выбирать дорогу. Войне выбирать за нас.

— А вон и Ольга! — перебил его Юрчик.

На лужайку выбежала лагерная повариха. Она тяжело дышала, машинально смахивала тыльной стороной ладони пот со лба.

— Мальчишки! Мальчишки! Где Ханыков? Надо спасать наших! Сожгут их заживо! Изверги!

От волнения Ольга говорила быстро и невразумительно.

— Ольга!

— Что?

— Уймись!

— Да я...

— Говори толком. Что случилось?

— Всех согнали в сельсовет. Всех сожгут.

Родненькие, милые мои! — подвывала Ольга по-бабьи. — О-ох, господи!

— Будет тебе! — Гриша перешёл на приказной тон: — Отвечай только на вопросы.

— Да я...

— Молчи! Только отвечай.

— Немцы...

— Сколько их?

— Две мотоциклетки, шесть немцев.

— Когда появились?

— Ночью появились, на рассвете. Зашли в избу к Давидовичам. А там... Там у них прятались раненые красноармейцы.

— Отстреливались?

— Кто? Давидовичи живут без оружия.

— Я о красноармейцах.

— Отстреливались. Из нагана. У них был один наган на двоих, вот они двоих немцев и убили.

— А те?

— Что «те»?

— Немцы!

— Немцы там всех убили, вместе с Давидовичами. Потом людей из местечка загнали в сельсовет. И сказали, что перед отъездом всех сожгут.

— Когда это?

— Не знаю. Ещё не сожгли.

— Откуда ты всё это выведала?

— Девчущка спаслась, из местных, мне сказала. Я её в лесу повстречала. Да вон она. Лея! Лея, голубушка, иди сюда!

Девочка лет тринадцати — смоляные косички, сарафан в цветочках — подошла к мальчишкам:

— Здравствуйте!

— Здравствуй и слушай команду, Лея!

— Что?

— Ничего! Слушай и выполняй! — продолжал приказывать Гриша, непроизвольно приняв на себя роль командира. — Бери Славика и дуй за подмогой к старшине Ханыкову. Выведешь его короткой дорогой в местечко. А мы? Мы! Не пропадать же вашим! Мы с Ольгой рванём. Может, поспеем.

— А справитесь? — испуганно спросила девочка.

— Спрашиваешь! Только и всего, что по два выстрела на брата.

— Они снайперы, чемпионы, ох, господи! — бормотала Ольга, смахивая платком слёзы с глаз.

Менее чем через час Гриша и Юрчик были на месте. Оставив Ольгу на опушке у разлапистой ели для связи с ожидаемым подкреплением, они проскользнули в безжизненную деревищу, пробрались к заброшенной мельнице, стоявшей на

возвышенности, неподалёку от сельсовета, и через выставленное окно проникли вовнутрь.

Около минуты ушло на то, чтобы освоиться с полумраком. По винтовой лестнице подростки поднялись наверх, к слуховому окну.

Отсюда, чуть ли не с десятиметровой высоты, отлично просматривалась местность: выстроенные по ранжиру домики, сквозная петляющая у дальних холмов за деревней дорога, копошащиеся у мотоцикла на площади немецкие солдаты. Отсюда были видны и люди, запертые в сельсовете. В глубине одной из просторных комнат, приспособленной для заседаний, различался кожаный диван с лежащим на нём бородатым мужчиной в марлевых повязках. В изголовье сидела старушка в парике и чёрном платке и поила раненого водой с ложечки. Наблюдая за ней, Гриша на какое-то мгновение представил свою бабушку, такую же религиозную еврейскую женщину, в таком же парике и платке, и ему стало трудно дышать. Хотелось тут же передёрнуть затвор и засадить пулю в затылок немцу-мотоциклисту, торчащему внизу на площади, на убойном для мелкокалиберной винтовки расстоянии: пятьдесят метров — дистанция, которая считалась его «коронкой». Но без Ханыкова боязно начинать. Стрелять-то ведь по живой мишени. Раз не попадёшь — не зачётное очко потеряешь, а жизнь, и не только свою.

Один из немцев, с унтерской окантовкой на погонах, отделившись от остальных, поливал крыльцо и деревянные стены здания бензином из объёмистой канистры. Опорожнил металлическую посудину, посмотрел на расплзающиеся по доскам пятна жидкости и отдал короткое распоряжение мотоциклисту.

— Что он сказал? — Юрчик вопросительно посмотрел на напарника.

— Приказал тому — вон тому, что повыше всех будет — закинуть что-то на крышу.

— Что?

— Если бы я знал! Я понимаю их через идиш, а не через немецкий, — ответил Гриша.

— Смотри! Смотри! Что делается!

Мотоциклист извлёк из коляски небольшую канистру, плоскую флягу литров на пять, и, подойдя к сельсовету, забросил её на крышу. Унтер отдал короткое распоряжение и закурил сигарету.

— Что он ему сказал? — спросил Юрчик.

— Подожди! Дай разобраться!

Мотоциклист вернулся к коляске, сел за руль и повёл ствол по дуге вверх, проверяя прицел.

— Ну? Гриша!

— Вот гады! Решили поджечь избу разом с двух концов. Эта сволочь, что за пулемётом, расстреляет канистру на крыше. А та сволочь, что с погонами унтера, подпалит дом снизу. И начнут делать цирк. Так и сказал: «делать цирк».

— Какой цирк?

— Люди станут из окон выпрыгивать — вот какой! А они... Вильгельмы Телли грёбанные!

Юрчик прикусил губу.

— Чего же мы ждём?

— А Ханыков?

— Что нам Ханыков, Гриша? Не его жизнь, наша сейчас на кону.

— Ладно! Бери на прицел унтера, а я займусь водилой.

— Потом успеть бы перезарядиться...

Унтер-офицер вынул изо рта сигарету и, готовый кинуть её в тёмную лужу на крыльце, отдал команду: «Файр!»

Но прежде, чем пулёмётчик надавил на спуск, фашист различил сдвоенный щелчок мелкашек. Даже не успев удивиться постороннему звуку, он как-то странно, наподобие толкателя ядра, присел на правую ногу и бочком, бочком — к стене, а затем пополз по ней вниз, срывая ногти. И эхо от его команды «файр» будто смеялось над ним, откатывая в сторону от здания искрящийся окурочок.

Оставшиеся в живых немцы — двое из четверых — оторопело взирали на сослуживцев, дёргавшихся в предсмертных конвульсиях. Но осознать, что произошло, им так и не довелось. Неслышная смерть добралась и до них.

Гриша отдёргнул затвор. Из патронника вывалилась гильза. Запахло жжёным порохом. Теперь его можно было вдыхать с наслаждением, как на соревнованиях, зная, что победил.

1

На извилистых тропинках памяти верными ориентирами остаются события. Не исчезнуть им в мельтешении буден, не раствориться в напластованиях душевной боли.

Куда от себя деться? — сидишь на бережку, опустив ноги в прохладную воду, да с грустью осознаёшь, в который раз осознаёшь давно усвоенное: что было, то было! Не переписать! Не переиначить!..

Было!

А было это чуть более тридцати лет назад, на изломе войны, здесь — на этой, отсюда легко различимой мельнице, тогда скособоченной, заброшенной.

Вас было трое. Ты, Полина и тот седобородый по кличке Сцепщик.

Вас было трое, а над вами, в провалах крыши, дымилось звёздное небо, подкрашенное суриком недостижимого рассвета.

Ты думал о жизни и ждал от неё большего, чем она могла дать. Всё твоё будущее ограничивалось четвертью часа, а прошлое — той же четвертью часа размышлений плюс прожитым за восемнадцать лет. Ты был с ними — и был одинок. И они были одиноки, хотя в этой мышеловке находились вместе с тобой. А у подножия холма, на опушке берёзовой рощи, торопил твою жизнь озорной посвист. В нём была твоя смерть. Твой остаток жизни.

Ты напрасно пытал свою память. И напоследок не выискать в ней картин былого-миллого. Былое вырисовывалось в картинах иных — страшных: потоками беженцев, налётами «юнкерсов», остекленевшими глазами людей. Это застыло в прошлом. А в настоящем — Полина (пуля в предплечье), Сцепщик (нога прострелена в голени) и ты, подбрасывающий на ладони остывшие автоматные гильзы.

Помнится...

Сцепщик сворачивал самокрутку. В медлительных движениях его пальцев чувствовалась неуверенность: пускать ли её, последнюю, по кругу? Ты мотнул головой, и кошачьи глаза мужика пыхнули радостью.

— А не спеть ли нам твою? Сейчас! Им назло! — сказал он, затягиваясь махрой.

Твоя... До чего изощрена жизнь! Тычет в лицо смертью и говорит: «Пой!»

Но когда и Полина, вслед за Сцепщиком, подхватила слова припева, ты тоже вынудился протискиваться голосом сквозь колючку собственной песни — наивной и обманной.

Даже пулей воспетая смерть

Не сумеет с земли нас стереть...

Ты пел, и ты понимал: тебя — именно тебя, почти и не жившего! — смерть с лёгкостью сотрёт в порошок и развеет по ветру.

Нет у тебя уже ни отца, ни матери. Нет у тебя ещё детей. Не быть и памяти по тебе ни у кого. Правда, есть у тебя Полина. Но и она нацелена в никуда. Секундой раньше, секундой позже тебя — уйдёт...

Сцепщик загасил песню вместе с самокруткой, высветил зажигалкой циферблат карманных часов — луковицу.

— Однако... Время натикало. Ну, надёжа... Пора! Иди. Авось проскочишь...

Сцепщик работал на железнодорожной станции. Связь с партизанским отрядом поддерживал через тебя и Полину. В его избе вас и накры-

ли... А потом огородами вы прорывались с боем к лесу. И вот теперь загнаны на старую мельницу, и тебе, прикрываемому двумя ранеными, надо — без особых шансов на успех — спасти добытые Сцепщиком сведения.

— Ну, надежда, иди!

И ты пошёл...

А в заспинье, на мельнице, каждый твой шаг отмерялся автоматными очередями — осуждённые на смерть выговаривали у неё жизнь для тебя.

2

— Николая наш Михайлыч! И чего ты такой скучный? Зачем от людей ушёл? Тебя и не дозваться. Кричим, кричим — ау, Михайлыч! А ты? Стыдись, любя!

Директор фотоателье «Прогресс» Илья Кузьмич Рогов — спортивная майка, животик, гуляющий чуть ниже брючного ремня в пухлых ладонях, дымящаяся беломорина в углу рта — спускался с пригорка.

— Нехорошо, дорогой! — Илья Кузьмич кособочил корпусом, загибая босыми ногами траву. — Покинул! Всех покинул! А мы ведь за тебя сейчас... За тебя, любя, гремим бокалами. Эх, родной!

Николаю Михайловичу и впрямь стало как-то неудобно. «Под него», можно сказать, выбили эту автобусную экскурсию — «по местам партизанской славы», а он, «воспоминатель», прячется от законного сабантуйчика.

Вздохнув, он поднялся с влажной травы, пошёл на пригорочек к Илье Кузьмичу.

С ним и выявился, по-приятельски полуобнявшись, по ту сторону взлобка, у разостланных на лужайке газет с бутербродами, консервами, бутылками.

— Именинника привёл, беглеца! — доложил компании Илья Кузьмич.

— Штрафную ему! — Ретушёрша Нина — джинсовая курточка, джинсовая юбка, стрижка «под мальчика» — протиснулась птичьим голосом сквозь шумную бредь застолья. И лить через край. И, расплёскивая, с пластмассовым стаканчиком к Николаю Михайловичу. — За орден! За Красную, Михайлыч, Звезду!

Николай Михайлович аккуратно подобрал в себя водку. Поблагодарил Нину кивком головы. И лишь после этого, уже багровый от выпитого, присел к выдвинутой специально для него на край газетного листа банке бычков в томатном соусе, намочил в ней хлеб и начал сочно пережёвывать приятную на вкус кислятинку.

Илья Кузьмич примостился подле него на корточках, сноровисто наполнил горячим стаканчик.

— А вы, братцы-кролики, не поддержите Николю нашего Михайлыча? — Лился довольствием, нежился в доброте сердца, повернутого разом ко всем. — Гришук! На, прима! Не последняя, но не забывай о гаишниках за баранкой! — Шутливо погрозил пальцем. — Семёнчик, любя! Твоя порция. А? — Хитро подмигнул, со значением. — Не подведёшь? Не умыкнёшь в Израиль тайный рецепт нашей водочки? — И к ретушёрше: — Нинусь, тебя тоже не забыл нарком! Выделил! Наши фронтовые сто грамм! Из личных запасцев!

— Я пью только свежую водку, — улыбнулась женщина.

— А от коньячка первой свежести морду воротим? Пять лет выдержки, и ни в одном глазу! — Илья Кузьмич открыл лежащий у ног потёртый портфель крокодиловой кожи — о двух замках и двух ремешках с застёжками, вынул солдатскую фляжку времён войны и нацедил в алюминиевый колпачок золотистой жидкости. — Наркомовская норма — дело святое! А святое — всегда свежее. Поняла, Нинусь? Цени и помни, девочка!

— Ценю и помню.

— Тогда поехали.

— За орден! — сказал Гришук.

Илья Кузьмич разлил по новой:

— Повторим?

Повторили. Понравились сами себе ещё круче.

— Качать Николю нашего Михайлыча! — Раскрылись в любви ко всему живому. И к себе самим.

Николай Михайлович смутно отстранялся, топырил пальцы. Но поздно спохватился. Вознесли.

Маши теперь руками, будто отбиваешься от пчелиного роя. Бесплезно! Не отобьёшься от человечьей самовлюблённости.

Наконец, укачавшись, поставили его на ноги, мило выдохнули:

— Каков!

Зыбкой сладостью отдавало для него, утомлённого и растормошённого, это слово...

3

Отдавало и горечью...

Ты помнишь её глаза. Ты помнишь брусничный вкус её губ. Ты помнишь, как уходил с ней далеко в лес, чтобы без посторонних — ну их! — и читал ей свои стихи. Она слушала молча. Она вбирала в себя слова, иногда не совсем понятные,

но ласкающие душу, мягко ласкающие, как твои ладони, скользящие по её щеке.

Был май. Весеннее солнце медово точилось в букетиках первых цветов. И до звёздного неба, подкрашенного в провалах крыши суриком недостижимого рассвета, оставалась целая вечность — около шестидесяти дней, полутора тысяч часов и несчётного многообразия минут.

Растеклись минуты твои на воспоминания. Не собрать их, не разложить веером.

Помнится, ты говорил:

— Поля! Надо ребятам сказать. Отправят тебя на Большую землю. И мне и тебе спокойнее. Там и родишь, в безопасности.

А она? Она прикрывала губами твои слова, вбирала их в пригоршню и — фью! — раздувала над благоуханьем цветов.

— Ох уж ты мой графушка Николя из романа «Война и мир»! У нас в лесу романы пишет любовь да живая природа, не Львы Толстые. Мы здесь и без Большой земли справимся. Научились за тысячи лет до Большой земли... «В муках да поте лица...» А будет у нас сын, назову... да, как просишь... именем твоего отца. Понимаю. У вас за живых давать имена не принято. А ты мне нужен живым... любя!

4

— Люба! — Николай Михайлович поморщился от прикосновения липучей ладони к плечу, от прикосновения, означающего открытость Ильи Кузьмича, начальника и одновременно друга. — Ну так расскажи, любя, всей честной компании, как орден нашёл тебя.

Николай Михайлович неопределённо пожал плечами и вроде бы невзначай скинул с себя чужую руку.

— Нашёл... Выходит, искал меня, вот и нашёл...

— Э-э, Николя наш Михайлыч! Жизнь не по песне устроена. Кто ищет, тот не всегда найдёт, дорогуша! — Илья Кузьмич звучно хлопнул себя по ляжкам, хохотнул, будто непреднамеренно выделил тайный, одному ему ведомый смысл собственной шутки. — Орден тебя, любя, без людей найти не мог. Ни в какую! Люди тебе поспособствовали. А среди них... — Выразительная пауза, настоящая на улыбке. — Что? Неправда моя? Правда, Николя наш Михайлыч! А ты правды не бойсь! Не кусается правда, если она не в печатном виде, когда цена ей две копейки. — И опять смешок, отмечающий двойственность мысли. — Так она выглядит, «се-ля-ви», а по-нашему жизнь. Помнишь? В позапрошлый май, когда собрались

на праздник всем скопом у Нинуси, я спросил: «А при всех ли ты регалиях, брат-человек партизанской выучки?»

Николай Михайлович выразительно покачал головой. То, что было более четверти века назад, он помнил. А то, что случилось на днях, мог и подзабыть.

— Не помнишь? — досадливо протянул Илья Кузьмич. — Напоминаю ещё раз, забывчивая ты голова! Я у тебя спросил: «А при всех ли ты регалиях?»

Николай Михайлович вопросительно посмотрел на Нину: напомнит ли? Но и в её взгляде никакой подсказки не уловил. Напились они тогда, да и вообще в ту ночь им было не до наводящих вопросов начальника. Выдохся из памяти его вопрос, столь же пустой, как, должно быть, и ответ на него. Выдохлись из памяти и дежурные — ходкие в этот праздник! — восклицания по поводу его наград — медалей и ордена. И его, в такой же мере дежурные, комплименты жёнам сослуживцев, да и вся та вечеринка выдохлась из памяти — что тут поделаешь! Впрочем, нет... не вся... тогда он в первый раз остался у Нинули. Да, именно тогда! Это помнится. И Николай Михайлович, вспомнив дурманное дыхание любимой женщины, годящейся ему чуть ли не в дочери, почувствовал себя неловко. Внутреннее напряжение, ощутил, передалась почему-то и Нине. Он смутился в ожидании её взгляда, ищущего, наверное, сейчас его взгляд, направленный на Илью Кузьмича.

— Ну? — нетерпеливо донимал директор фототелье «Прогресс». — Так и знал, не вспомнил Николя наш Михайлыч! Не вспомнил? Ладно, хрен с тобой! Мы не гордые, напомним! Я тебя спросил, друг ситный, при всех ли ты регалиях? А ты в ответ по-еврейски — вопросом на вопрос: «Кто его знает?» Вот и подумай теперь, любя! Как мне не поинтересоваться, отчего у тебя, родной, такая неуверенность в голосе? И тут выясняется... «Ещё в партизанах представили к Красной Звезде, — докладываешь ты без особой уверенности. — Но не успел получить. Ранили. Потом отправили в тыл. И орден затасовали, видать, за какими бумажками». Ну и ну, слушаю всё это и мотаю на ус. Как? — спрашиваю у себя, старая партийная ищейка, не выветрился ли из тебя политрабочий твой нюх? И — факт! — не выветрился! Я ведь, любя, Николя наш Михайлыч, так подумал: не может быть, чтобы о представленном к ордену человеке забыли насовсем. След его потерять в наградном отделе — это да, могут! Вот я и вывел их в Москве на твой след.

Послал в Минобороны запрос по форме. Мне ответ по форме. И... орден тебе — бац! — как гром среди ясного неба. А? Работа, родной! Чистая, комар носа не подточит. Так-то, брат, Николая наш Михайлыч, когда «се-ля-ви», жизнь по-нашему, строится по-дружески, в стороне от подвохов и подлостей. Без друзей, я тебе честно скажу, нельзя. Ни в жизни, ни в смерти, любя! Без друзей не то что орден, куцей медальки не высосешь... рядовую прогрессивку хрен дадут! А ты говоришь — орден...

— Ничего я не говорю! — раздражённо бросил Николай Михайлович. — Это ты, Илья Кузьмич, всё говоришь и говоришь. А я пью себе, градусы водичкой заливаю и помалкиваю.

— Вот и помалкивай, любя! Тошно слушать. Лучше скажи, мил человек, чего ты её, новенькую свою Звёздочку, не прищипандорил на пиджак? Экскурсия по тропам твоим партизанским. Микроавтобус под тебя выбил. Гришука за баранку засадил. И привёз — не заблудился. Сюда привёз, где ты кровью обливался. Тебе это не событие? Или пиджачка пожадничал на лишнюю дырочку?

Что сказать ему? Что ответить? Звёздочка? Дырочка? Не в звёздочке дело. Не в пиджаке жизнь... И в праздник она норовит тебя мордой в блевотину. «Се-ля-ви» — такова жизнь, как говорят французы. Но это французы, и слова их имеют особое — французское — значение, совсем не то, какое вкладывает в них Илья Кузьмич. А он вкладывает в них, вкладывает какой-то подтекст, пока ещё тайный. Однако нет ничего тайного, что не проясняется после стопаря-другого.

— Выпьём? — Николай Михайлович осторожно разлил по неустойчивым стаканчикам.

Нина прикрыла ладонью пластмассовую посудинку, протянутую Ильей Кузьмичом.

— Хватит ему! Перепьёт, а потом грузи его в автобус!

— И ничего не переберу, голуба! — разозлился Илья Кузьмич. — Это тебе, Нинусь, с пьяных глаз мерещится. А я совсем трезвенный, как стёклышко. — Указал на поллитровку «Столичной». — Э, да там уже на донышке!..

Открыл объёмный портфель из крокодиловой кожи, вынул бутылку, распечатал и угнездил вплотную между консервными банками, чтобы не опрокинулась.

— Наливай!

— Шёл бы лучше спать!

— А ты мне, Нинусь, не жена! Да и какой пример для сослуживцев, если я отвалюсь, а? Да будет вам известно, у меня по «литерболу»

пятёрка с плюсом. И кем в зачётку поставлена? Не поверите. Им! Самим! Я, доложу вам, братцы-кролики, перепивал не кого-нибудь. Леонида Ильича Брежнева перепивал! Вы его лишь по телевизору примечаете в нетрезвой случайности. А я на брудершафт с ним ходил, когда живыми возвратились с Малой земли в политотдел восемнадцатой армии. Мы-то, рядовые труженики войны, из политрабочих чинов... мы-то без надежды на маршальские отличия тогда кроушкой умывались...

— Упивались, — эхом подхватил Гришук, костистый дядёк в аляповатой безрукавке с намалёванными на ней попугаями.

— Э-э, да ты что-то сказал, Гришук?

— Показалось тебе, Илья Кузьмич.

— Когда кажется — тогда крестятся. Правда моя, Семёнчик? Или евреи не крестятся, и, стало быть, мне надо всё понимать прямым текстом, как сказано?

— Понимать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. — Семён Маркович откликнулся популярной «Песенкой фронтового шофёра», переврав первое слово. Вместо «помирать» он вывел «понимать» и невзначай добавил двусмысленности и напряжёнки. Спыхватившись, завёл прыгучие пальцы со лба на затылок, привычно приглаживая шевелюру, давно уже не густую. Потянулся с нарочитым зевком, ожидая упрёка.

— Уже и заскучал? Высказался и теперь язык начальству показываешь? — торопил его с ответом Илья Кузьмич.

Семён Маркович не замешкался:

— Какой язык? Мы не на фронте, чтобы «языка» начальству демонстрировать.

Гришук тут же вмешался, выводя Семёна Марковича из-под удара:

— Хлопцы! Хватит паясничать! Не пора ли нам вспомнить о добавке? А то стало холодать...

— Не пора ли нам поддать? — подключился к расхожей формуле Илья Кузьмич. — Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора. К белоголовочке, к ней, нашей кормилице и поительнице. — Повертел перед собой пустой стаканчик. — Не уважаешь, Нинусь? Командуешь — не наливаешь? А я себя, подружка дней чьих-то суровых, уважаю, и очень. За этот Михайлычев орден. Шутка ли? В пацанские годы напартизанил здесь на новый том «Войны и мира». Покруче, чем тёзка его Николая Ростов. Тот на бумаге да под пером классика мировой литературы Льва Николаевича Толстого. А наш вживую. Уважаю и приму на грудь за его здоровье. На-ли-вай!

Нина не послушалась, отодвинула бутылку подальше.

— Хорошо, коли так, — буркнул Илья Кузьмич, и взялся за солдатскую фляжку. — Нинусь, не изволь гневаться. Я себя всё равно уважу. Наркомовским коньячком. Из этой алюминиевой душечки-голубушки. Э-э... боевой спутницы моей. Мы из её горлышка когда-то на пару с Леонидом Ильичом лакали. Ему половина, и мне половина — как с хлебушком управлялись.

И давай назойливо чокаться с тусклыми на звон стопариками из пластика. И самолюбиво — чмок! чмок! — хлебать из тугоплёской больше положенного. И рот промокать рукавом.

— Перепьёшь!

— Мы ещё можем!

5

...Как приговор был для тебя металлический щелчок взводимого Полиной затвора.

Как приговор был для тебя отброшенный Сцепщиком окуроч.

Приговорённый к жизни, ты завидуешь мёртвым.

А ведь было...

Тебя любили. Ты любил. И стихи лились из тебя, словно и не ты их писал, будто они приходили со звёзд. И вспоминалось из Маяковского: «Если звёзды зажигаются, значит, это кому-то нужно». Наверное, думалось тебе тогда, звёзды зажигаются, чтобы с них искрами сыпались стихи. И не куда-нибудь в безвоздушное пространство, а прямо к тебе. Именно к тебе. Потому что... Потому что Полина просила: «Читай!» И ты читал. В смутении, в радости — читал... И чем чаще читал ей свои стихи, тем, как тебе представлялось, сильнее её любил. А куда сильнее?

«Читай ещё!» — просила она... И ты выкладывался весь. Выкладывался для неё. И в стихах делился сердцем. А не сердцем, так последней из гружённых смертью обоймой. А не обоймой, так кровью своей делился.

И доделился!

Выделил! Выгадал! Для неё в этом дележе.

И для себя тоже...

Ей — смерть, тебе — жизнь.

Жизнь и смерть.

Если разобратся, то у этой медали обе стороны — оборотные.

6

— Чем кричать «ура», не лучше ли, Илья Кузьмич, попросить Михайлыча, пусть прочтёт что-нибудь из своей поэзии.

Нина отвоевала у директора фотоателье фронтую фляжку, глотнула из колпачка, и на резьбу его наматывать — пожестьче! — до самого упора.

— А что? — подхватил Илья Кузьмич. — Действительно! Чего тебе, любя, не зачесть нам что-нибудь из партизанских виршей? Не Пушкиным ведь единым...

— Да не до стихов мне сейчас, — отмахнулся Николай Михайлович.

— Климат не подходит? — подковырнул подчинённого друга-приятеля Илья Кузьмич. — Правда твоя, здесь мы иерусалимское солнышко не держим на привязи. Да и жизнь у нас — «селя-ви» — течёт по московскому времени.

Нина занервничала.

— Эй, Кузьмич, кончай с географией! У него настроение... А ты?

Придвинулась к Николаю Михайловичу, обняла его за плечи, демонстративно обняла: нате, смотрите, кобелиные черти! Завидуйте! Вы руки распускаете, а фигу вам в нос с ваши куриные яйца. А он... он... Он — мой! И всё тут! Не отнимете!

Нина поцеловала Николая Михайловича в щёку и...

— Прочти им, Михайлыч. Прочти, как мне, — тихо попросила, мягко — аж плакать хочется. — Что тебе стоит? Прочти... Твоё... любимое...

— Не-е! — дрогнул Николай Михайлович под бородком.

— Прочти, прочти... Пусть знают, с кем знают...

— Не-е!

— Твоё... Любимое... «А росы были вышиты рассветом».

— Не-е!

— Тогда я... Им! За тебя... Чтобы знали...

И Нина повела на выдохе:

А росы были вышиты рассветом,

Быть может, тем, что выпьет

нашу кровь.

Всплывало солнце из ночного бреда,

И бредил ты: Любви не прекословь!

— Не-е-т! — Николай Михайлович зажал Нине рот и, совестясь, продрался от распаренного «нет!» к жалобному: — Не надо... Не сейчас... Не здесь... Маотно...

— Нинусь! — поддержал его Илья Кузьмич. — Не елозь по душе человека. Не надо так не надо — слушали и постановили! О стихах поговорим потом. На месткоме... — произнёс нарочито грубо. — Не повредит товарищу, коли объяснится, почему не пишет в нашу стенную газету. Вот приближается праздник, 1 июня — День защиты детей. А дети —

да будет вам известно! — цветы нашей жизни. Без них никак нельзя. И без стихов о них тоже. А он... — Иронический жест, скопированный у Филиппова из кинофильма «Шофёр поневоле», — мало того, что своих не завёл, он и о чужих шевелить мозгу не желает. Вот-ка разберём голубу на местком, пусть затем Нинуся и собирает... ха!.. винтики и гаечки для детского конструктора... сынишке своему на удовольствие.

Нина вспыхнула:

— Ты сыночка моего не трожь! А Михайлыча!.. Своих-то ты!.. Рассадил свои цветы жизни вниз головками. По чужим клумбам и задворкам. Вот они и растут, как сорняки.

— Ты мне, Нинусь! Ну-съ отсюда!

— Я! Я! Знаю, что говорю! За блядки тебя и поперли с партийных верхов — сюда, к нам, к народу поближе!

— Нусь-нусь, поговорила, и лады. Будем считать, про тебя это Есенин писал — поговорила роща золотая.

— Отговорила!

— Поговорила-отговорила, невелика разница... Главное, что выходила на берег Нинуся, когда сокол ейный под забор.

— Не пой с чужого голоса, «люба», — не остывала Нина. — С Толиком я развелась ещё до того, как у нас с Михайлычем завязалось... Мораль мне читать нечего, сама грамотная. А в отношении детей? Больное у него — дети! Не будет тебе Михайлыч писать про детей. И ты не требуй. Уже не в министерстве культуры мозоль на заднице наживаешь. Да и вообще, он не пишет стихов... Давно уже...

— Кто не пишет и не пьёт — тот здоровеньким умрёт.

— Уймись ты, народный сказитель!

— Всё-всё-всё... — Илья Кузьмич поднял руки, будто сдаётся на милость победителей. — Безоговорочная капитуляция!

Гришук, аплодируя, с ехидцей заметил:

— Предлагаю обществу это дело отметить.

— Предложение принято и подписано, — поспешно согласился Илья Кузьмич. — У меня как раз на этот, победный для вас случай припасена бутылочка «особой». Ей-бо! Из «валютника», с американским привкусом! Николая наш Михайлыч, подставь ёмкость. С тебя и начнём дегустацию.

Нина вскинулась опять:

— Не нужна ему и «особая»!

— Ну конечно. Ты ему любую водку готова заменить. Тридцать шесть градусов тела плюс чепуха в райских угодьях.

— Не суйся в личное!

— Куда мне, политрабочей лошадке? И против кого? Против бравого партизана и непризнанного писателя? Непризнанный! А? Звучит? Ласкает женское ушко? Женщины, как доказали учёные, именно через ушко соблазняются.

— То-то ты мне сулил небо в алмазах.

— Нинусь, отнюдь не небо в алмазах, а повышение зарплаты. Будь попроще.

— Быть попроще могут только мощи.

— Тогда практичнее будь, стихами не кормятся. А Николая наш Михайлыч хоть и писатель, но — кхе-кхе! — пока безгонорарный.

— Для вас... для таких, как ты, Кузьмич, он... Если непризнанный, то — никакой! Постыдился бы...

— Почему же? Я за ним писательские достоинства признаю. Но кто читал его нетленку?

— Не издают, вот никто и не читал! — вспыхнула Нина.

— Посему и резолюцию накладываем: романист-затейник.

— Не затейник он! Украсили бы ваш роман...

— А не пиши — не украдут.

— Язык без костей! И кто его тебе такой привесил?

— Ах, тебе, Нинусь, с косточкой даже язык подавай? С мозговой не желаешь — для повышения интеллекта?

— Повышай собственный! А то он у тебя совсем упал.

— Грубим, значаща, невзирая на лица? Что ж, тогда заруби на носу, голуба: не украли, а изъязыли. И не на улице где-то, где одинокая бродит гармонь. А прямо в его квартире. С попутным обыском.

— А права человека?

— Какие права? Это ещё при культе было.

— Культ разоблачили! Людей на волю выпустили! — не унималась Нина.

— Глядишь, реабилитируют и роман.

— Что за дикость? Реабilitируют? Кузьмич, приди в себя — опомнись: роман и есть роман. Строчки, строчки, строчки...

— А между строчек?

— Не дури нам мозги! Лучше вспомни из детства: «Таракан, Таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, и усами шевелит». Все мы думали: это о Сталине. А никакого намёка и не было. Чуковский написал своего «Таракана» задолго до культа.

— Вот и наш партизанский герой чего такого написал. И тоже задолго «до»... Но — что? Не ему же будут докладывать.

— А если бы разузнать? Кишка тонка? — поспешила Нина с вопросом.

— Они не докладывают. Они указания спускают сверху. На днях, например, дали мне понять, что не худо нашему боевому товарищу вновь взяться за перо. И черкануть порабкоровски, как награда нашла героя. А ведь представил его к Звёздочке не я, Нинусь, не Семёнчик с Гришуком-собутыльником. А представил его к Звёздочке... оказывается... Сам Мазурков! Встаньте, товарищи, и руки по швам!.. Да, тот самый... Тот, из нынешних кремлёвских небожителей, что на экране телевизора рисуется рядом с Брежневым.

— Ну тебя, Кузьмич! Завёл шарманку. Не будет он тебе ничего писать.

— А кто будет, Нинусь? Я?

— Уймись, говорю, уймись! Надоело! Мне уже помыться с мылом хочется. Я на речку. Кто со мной? — спросила Нина, вытягивая из походной сумки махровое полотенце.

Но никто будто и не расслышал её.

— Разбирайтесь сами! Кому из вас писать, а кому писать — ударения по смыслу поставить самостоятельно! — сказала она на прощанье.

Но никто будто и не заметил её исчезновения, смотрели на Илью Кузьмича.

— Итак? — обратился он напрямую к Николаю Михайловичу, который маленькими глотками попивал из бутылки сладкий лимонад и облизывал пересохшие губы. — Почему бы тебе, непризнанный сын Толстого, не написать в газету? Сначала заметку, потом очеркишко, а там, глядишь, и роман попросят. Мне и человека выделили, на чьё имя слать рукопись. Примет, пристроит, напечатает. Тебе и слава, и гонорар. Мазуркову почёт. А нам повод! Обмоем такое дело! А, Гришук? А, Семёнчик? Да не тереби кудри, осыпались как с белых яблонь дым!

Николай Михайлович вздохнул: выручай теперь друзей-приятелей — наговорят на взрыве эмоций... А боязно-то! «Чувства наши прекраснее слов...» Им, чувствам нашим, развернуться бы! Но слова... слова... От слов не отмоешься.

Вынул из бокового кармана пиджака блестящую от свежего лака Красную Звезду, подкинул на ладони, как остывшие автоматные гильзы тогда, тридцать лет назад, на старой мельнице. Под столь же яркими, подобно этой, звёздами. Но живыми! Дымящимися! Дымящимися не свежестью лака, а недостижимостью рассвета.

— Я, Илья Кузьмич, дневников не вёл. Не разрешено было, сам знаешь. Что я Мазуркову? Впрочем... Ладно, не будем. Воспоминание вос-

поминанию — рознь. То, что «помнит» он, это вовсе не то, что помню я. А вспоминать то, что «помнит» он, это вспоминать по подсказке.

— Я тебе, что ли, подсказывать буду? — удивился Илья Кузьмич.

— Какого чёрта — ты? Твой неназванный человек из газеты. Он мне рукопись выправит и подскажет, что дописать, что исправить.

— А там и роман вернёт. Чтобы по написанному легче вспоминалось.

— Роман? — вздрогнул Николай Михайлович. — Он сейчас у него, у этого редактора с голубыми околышами?

— Пути романа неисповедимы. Пиши, что сказано, вот и вешки к нему проложишь. А что писать и как — из головы или по подсказке, в этом я не копенгаген. Здесь твоя епархия.

— Не епархия, Илья Кузьмич, а совесть. А если по совести, то писать сегодня о войне — это зачастую писать неправду, да и в прошлом писали неправду. О той войне всегда у нас писали неправду. Тебе это известно получше меня — в министерстве культуры работал! А правда, сам говоришь, кусается, когда она в печатном виде. Потому и не пишу...

— Смотри в телевизор!

— Это и делаю. Смотрю в телевизор и вижу: ох и приохотились наши кремлёвские небожители к новым боевым отличиям за былую войну с фашистами. Лампасы им подавай, звёзды на грудь и погоны. Тридцатилетие Победы, вот награды и находят героев.

— Тебя — нашла!

— С твоей подачи?

— С моей...

— А награда Мазуркова?

— Не понял...

— Награда Мазуркова, по мысли вашего начальства, должна найтись с моей газетной подачи. Мне — гонорар, ему — Звезда Героя. А ведь наш отряд был полностью уничтожен сразу же после отлёта Мазуркова на Большую землю. Поговаривали... Да что там!.. Считайте, что я пьяный... Поговаривали, это уже после войны, и не скажу — где... не скажу — кто... Поговаривали, что немцев известили — через резидентуру Мазуркова! — о месторасположении отряда.

— Сплетня! Или, хуже того, провокация!

— Говорю тебе, Илья Кузьмич, не с пустых слов: в чьих-то высоких лбах зрела гениальная мысль о том, как укрепить доверие фашистов к нашему агенту. Доверие к нему укрепили... А в живых — никого. Лес рубят — щепки летят. Подумаешь, сотней людей меньше! Мамки новых нарожают.

— Ты же остался в живых. Или врут мои глаза?

— Меня вывезли до разгрома. Я был ранен. Мазурков и взял меня с собой на Большую землю.

— Вот тебе и тема! — хлопнул себя по ляжкам Илья Кузьмич. — Значица, ты ему обязан своей жизнью! Всё по-честному!

— Если по-честному... Лучше бы меня этот орден не находил.

7

Ты сидел у костра — ссутуленный, мрачный, будто обугленный. Твой, казалось бы, недостижимый рассвет уже вечность назад был сожжён солнцем, и теперь его хоронила ночь.

Помнишь?

Подошёл к тебе Мазурков, присланный в отряд, как втихаря поговаривали, для выполнения какой-то сверхсекретной операции. В чём конкретно заключались его полномочия, толком никто не ведал, но ясно было: он никому не подчиняется, включая командира, хотя и считался его заместителем по политической части.

Помнишь?

Мазурков сказал:

— Не горюй... Война...

Но что слово — против чувств? «Чувства наши прекраснее слов. В них седому рассудку не место».

Затем Мазурков добавил:

— За доставленные сведения спасибо. Мы тебя за них представили к ордену. К «звёздочке». Не принято — это я, парень, понимаю — говорить такое до времени. Но в нашем случае необходимо. Слишком часто бывает поздно. Им, — он посмотрел в сторону, словно в теневой штриховке деревьев дано разглядеть заброшенную мельницу, Полину и Сцепщика, — им поздно сообщать о наградах. Но ты знай, и они представлены к орденам. Посмертно.

Тебя как-то занозило это странное словосочетание — «в нашем случае», но тогда ты ему не придавал значения. Сейчас? Но и сейчас оно ничего не даёт уму, только будоражит сердце и тревожит память.

Помнишь?

Станным тебе показался в ту ночь Мазурков. С тобой, с пацаном восемнадцати лет, он искал какого-то, чуть ли не душевного контакта. Зачем? С какой стати? Чем ты был полезен ему? Может быть, всё способно проясниться, если доподлинно вспомнить весь разговор?

Вспомнить? А удастся ли ныне?

Помнится, Мазурков говорил:

— Парень, не мучайся. Если бы ты был хоть

на йоту виноват в их... — он осёкся, подыскивая нужные слова, близкие к испытываемому тобой чувству, — виноват в их участи, то не о наградах, естественно, шла бы речь. А о трибунале! Пойми это! И ещё... пойми... Им при любых обстоятельствах — прикрывать, тебе — отходить. Почему? Растолкую. Они просто бойцы, одни из многих. «Живая сила», как говорится. А ты по-своему незаменим для нас. В нашем случае... (Опять «в нашем случае»? Это уже неспроста!) В нашем случае — ты наше будущее. Правильнее сказать, в будущем — ты наша вторая жизнь, наша летопись, наша боевая история. Кому, как не тебе, рассказать нашим детям о том, как воевали их отцы? Подумай и учти. Ты — живое слово, разящее врага сегодня под дых в наших листовках. Ты — живое слово, вплавленное в партизанскую подруженьку-песню! А завтра? Завтра — ты наша живая книга, наши исторические хроники.

Вот загнул: «наша живая книга, наши исторические хроники». Одним махом определил в Пимены-летописцы. И с каким пафосом! Будто и впрямь уверен, что его надгробная речь — «вдохновит», «увлечёт», «подвигнет» на какие-то мифические «литературные подвиги». Интересно, какими рисовались ему, полковнику Мазуркову, осуществляющему контроль за выполнением секретного задания, эти «литературные подвиги»?

— Твоё слово, — говорил Мазурков, забывшись, что находится не на трибуне съезда молодых писателей, а в лесной глуши, у догорающего костра. — Твоё слово, юный мой друг, должно пережить всех нас. И оно, будь уверен, переживёт! И вместо боевых друзей твоих — Полины, Сцепщика и других — войдёт в послепобедные годы, в эти детьми нашими вымытые лета. Войдёт и поведаёт новому поколению — младому, незнакомому — святую правду нашей жизни и смерти. Я знаю, юный мой друг: писатель перевоплощается в созданных им героев. Так что не тужи! Помни и понимай: пока ты жив, не умерла и Полина, не умер Сцепщик, не умерли все мы. Помни и понимай: ты осуждён на жизнь. А заодно с тобой и мы. И в той, нашей будущей, правильнее сказать, второй или книжной жизни мы будем всем обязаны тебе. Помни и понимай. И главное, не забудь: от тебя зависит, чтобы в той, своей второй жизни и Полина, и Сцепщик, и все мы стали не просто какими-то игрушками в руках войны, а настоящими, сильными и мужественными людьми, служащими примером для подражания. Не дай себя съесть тоске! Не сникай, не опускайся на колени перед чувством утраты. Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях! Волю в кулак, и запомни:

твой долг — писать! Писать, и никаких гвоздей, вот лозунг твой и солнца. Пиши! Будущее смотрит тебе в лицо!

Будущее, самое близкое будущее, а не то по-слепопобедное, начертанное ораторским раздольем записного политинформатора, смотрело тебе в лицо из ствола «шмайссера».

Вскоре, на очередной вылазке, ты был ранен и с оказией — самолёт прислали за Мазурковым — отправлен на Большую землю.

А затем, уже в госпитале, узнал: твой отряд был внезапно атакован и практически уничтожен. Из партизан, как выяснилось, уцелело всего трое. Именно те «счастливики», кого незадолго до нападения гитлеровцев эвакуировали по воздуху в тыл. Ты, комиссар Мазурков и командир разведки — «самострельщик» Гордин: чистя незнакомое оружие, трофейный «вальтер», случайно пальнул в себя.

Потом — из госпиталя на фронт. И с боями через выбитые деревни, через крошево городов, через людскую боль и кровь.

«Война всё спешит!»

Но не списала война памяти. Не списала сердца. И чувства первой любви не списала война.

Тебя списала — это да, если не кривить душой...

8

Илья Кузьмич сочно хрумкал бутербродом с колбасой. И, сыпля крошками на газетную подстилку, пьяно попытывался у сослуживцев:

— А вы? Вы?

— Что — мы? — наконец отреагировал Семён Маркович, догадываясь, по чью душу мечет вопросительные знаки директор фотоателье.

— Понимаю, у Николи нашего Михайлыча — настроение, молчит себе, пусть и молчит. А у Гришука? А у тебя? Обстановка обязывает: бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Скажи, душа, любезный друг, где ты рубился?

— Брось, Илья Кузьмич, — невнятно прошестел Семён Маркович. Он огрызал ноготь большого пальца, изредка оценивая взглядом работу своих цепких зубов. — Каждый раз одно и то же! Ты же в курсе. Я по молодости лет не рубился. Я «отсиживался» в гетто.

Илья Кузьмич с притворной укоризной помахал указательным пальцем:

— Оттого и завёл пакостную привычку с голодухи — забивать консервами жилую площадь... на чёрный день. Ладно, ладно, не ершись. Шучу. Разве не видно?

— Над тобой бы, над твоими «социальными накоплениями», Илья Кузьмич, пошутить так разок.

— Ох ты, матушки! — Илья Кузьмич стукнул себя кулаком в грудь. — Я-то, значаца, не голодовал? Голодовал! Когда в следственном аппарате... когда этих разыскивали, кто от нас по лесам прятался... недобитков... наймитов вражеских разведок... Я... я... Был момент — отощал, как божий одуванчик. Дунь — и где душа, где тело? С миноискателем не отыщешь! Война! Это для тебя она, Семёнчик, кончилась с освобождением, под салюты. А для меня? Считаю, до самого пятидесяти шестого рубился, пока...

Тут Гришук и перебил его:

— Пока тебя самого не «освободили».

— Много ты понимаешь, голуба. «Освободили»! В душу плюнули да растёрли. Дорогая моя столица, золотая моя Москва! Пёрышки свои там птички кремлёвские чистили. Отмазывались от посадок братьев по классу. Ну и избавлялись от ненужных свидетелей. А называлось это для меня — нет, не понижением по службе, переводом на другую работу. Вот и кинули — сначала в первый отдел министерства культуры, а потом к вам в фотоателье, так сказать, «на укрепление». А вас не «укреплять», вас...

— Давить надо? — полюбопытствовал Семён Маркович с притворным удивлением.

— Ну ты и скажешь, родной! — досадливо сплюнул Илья Кузьмич и облизал пальцы, замасленные бутербродом. — Кто, как не я, Семёнчик, отстоял тебя, когда дочка твоя с муженьком ейным намылилась туда, на чужбину?

— Летят перелётные птицы, — невразумительно пропел Гришук, чтобы скрасить обстановку.

Но не добился своего. Илья Кузьмич не отличал от Семёна Марковича.

— Кто? — попытывался он. — Кто отстоял тебя, гвардеец пятилетки?

— Ты, Илья Кузьмич! Ты! Мне теперь до скончания лет сквозь дремучие анкеты не протиснуться.

— Находился ли на оккупированной территории? — подхватил, как подсказку, Гришук.

— Да.

— Есть ли родственники за границей?

— Да. Теперь есть. В Израиле. Так надакаешь, что до могилы не разучишься поддакивать.

— А тебе что, — разозлился директор фотоателье, — собственное мнение подавай?

— Да! — В запальчивости Семён Маркович уловил подковырку с опозданием. И затих в

растерянности, обдуваемый хриплым смехом, основательно креплённым алкогольными градами.

Грызи опять ногти и внимай наставительно-му:

— Вот-ка, голуба, как оно на поверку, когда летят перелётные птицы ушедшего лета искать. Дай тебе самостоятельность, дай тебе собственное мнение, всё равно норовишь по указке «поддакивать».

— Виноват — исправлюсь! — буркнул Семён Маркович.

— И не виноват, и не исправишься! — вновь развеселился Илья Кузьмич. — На нашей земле по-иному не получается. Так наша земля устроена. А не будешь поддакивать, наша земля расступится и проглотит тебя.

— Во имя грядущего рекордного урожая, — сдохмил Гришук.

— Так точно, товарищ военный фотокорреспондент! — вполне серьёзно подтвердил Илья Кузьмич: — Кто не с нами — тот против нас. А кто против нас — тому прямая дорога на удобрение. Органические, коли на научном уровне вести политбеседу.

— Вот и снимаем урожай вместе с головой, — ёрничал Гришук, нервно постукивая горлышком водочной бутылки по краю пластмассового стаканчика.

— А что прикажешь делать, сокол мой ясный?

— Да ничего я не приказываю. Не по рангу мне. Я просто песенки к месту пою. Исаковский сочиняет. А я подначиваю.

— Что ещё за концерт по заявкам трудящихся?

— А вот послушай. «Летят перелётные птицы».

— Слышали уже.

— А ты ещё раз послушай, когда не по радио. «Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна».

— Всё правильно, по тексту. В чём же подвох, Гришук?

— Под ногами. В земле. Чужая нам не нужна. А своя тотчас расступится, как отучишься поддакивать. Где же нам жить? После жизни, понятно, на небе. А при жизни? Илья Кузьмич, просвети нас, грешных.

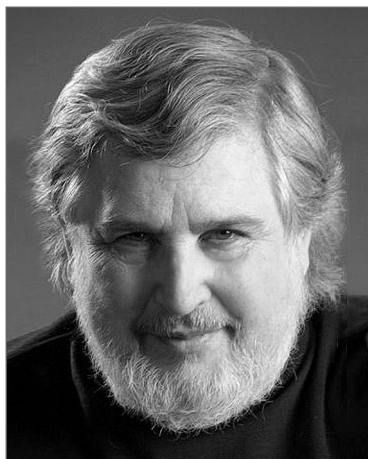
— Чем тебе посветить? Фонарём под глазом? Без фонаря не поймёшь, да? Не придуривайся, Гришук! Пойми, душа, любезный друг, привычка — вторая натура! Ещё не было такого, чтобы на Руси разучились поддакивать. «Если партия прикажет — комсомол ответит: есть!»

— Я уже вышел из дебильного возраста.

— А я в дебильном никогда и не пребывал. Свои университеты я кончал без шпаргалок. Тут они, мои университеты! — увесисто хлопнул себя по груди. — На моей дублёной шкуре! Примечаешь? Шкура-то моя не на барабан гожа. А на самую действенную — не отставную! — генеральскую папаху. Вот и носит её ставленничек один мой разлюбезный. А я? Я!

— Шкура, она и под микроскопом шкура. Но ведь не шкурой единой... — невзначай заметил Гришук и усмехнулся чему-то своему, потаённо-му. Потаённо-му, но не настолько, чтобы не задеть Илью Кузьмича, хорошо осведомлённого о его боевой биографии.

— А ты без хаханек, товарищ военный фотокорреспондент Вайнштейн!



Ян Бруштейн родился в 1947 г. в Ленинграде. В различные годы учился в МГУ на факультетах филологическом, журналистики и, вольнослушателем, на искусствоведческом отделении истфака. Экстерном окончил ГИТИС (театроведческий факультет, 1976). Кандидат искусствоведения (1980). Стихотворения и рассказы печатались в журналах «Волга», «День и ночь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зинзивер», «Знамя», «Крещатик», «Сибирские огни» и других изданиях. Автор вышедших в Москве книг стихотворений «Красные деревья» (2009), «Планета Снегирь», «Тоскана на Нерли» (обе – 2011) и «Город дорог» (2012), а также книги-альбома компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест» (2006). Лауреат премии имени Н. Гумилёва, а также ряда других премий, дипломант IX Международного Волошинского конкурса (2011). Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Живёт и работает в Иванове.

Ян Бруштейн

Бумажный кораблик

Нівроку*

на своём осеннем форде жёлтом как последний лист
с выражением на морде пролетаю сед и мглист
если справа то канава если слева то кирдык
если заново то снова если слово то впритык
я лечу не видя проку километры мну как дам
и нівроку бы дорогу к незнакомым городам
где одни бугры да ямы где колодцы солонь
где я рос себе упрямо на закорках у страны
все мы там пока что живы и такие все свои
и компот из чернослива мама варит для семьи
и от края и до края той стране износу нет
и усатого бабая на стене висит портрет
кто-то быть назначил к сроку так он шутит надо мной
эх нівроку мне нівроку всё осталось за спиной

Звезда

Я клеймён был ещё до рожденья
Шестикрылой суровой звездой,
И стояли несметные тени
Долгой ночью, вовеки седой.
Я на этой земле доживаю
Пограничный, изломанный век...

Проступает звезда кочевая
На потёртом моём рукаве.

Местоимение

местоимение моё
имение и место
в раю оставлено враньё
в деревне плоть и стыд
и насосалось комарьё
так что под кожей тесно
гоню железное гнильё
за тридцать три версты

там где излучина и злу
чинарик не достался
его когда-то докурил
я обжигая рот
и вот развеяли золу
и приняло пространство
всё то что вызнал от Курил
до питерских болот

кто над водами сед и пуст
где время стало тенью
пылал неугасимый куст
сгорев почти на треть
моя железная ладья
дрожала в нетерпенье
и если честно был ли я
уже не рассмотреть

* нівроку (от юж.-укр. и идиш) — «тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», бабушкино словцо.

Послевоенное

Это детское счастье озноба и жара:
Ноги ватные, вовсе не выйдешь.
А в гранёном стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.
Я тихонечко плачу, для полной картины,
А на стенах — разводы и тени...
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели».
И несёт, прижимая несильной рукою,
Всё по кругу, куда же ей деться.
И блокадная память зовёт, беспокоя...
Питер. Послевоенное детство.

Клезмерное лето

Я там, где иглы минаретов
Звездами небо помечали,
Стремился в клезмерное лето
Навстречу счастью и печали.
Где величавые хасиды
На языке почти забытом
Субботу пели с древней силой,
Как будто шторм гудел за бортом.
И эта музыка на идиш
Среди победного иврита —
Казалось, дверь толкнёшь и выйдешь
Во время, что давно закрыто.
И дед, в зубах зажавший дратву,
И бабушка с кошерной рыбой...
Я на горячий Север, к брату,
Где всё припомнить мы могли бы.
Под небом выжженным и тусклым
Одна судьба на многих лицах.
А я писал стихи на русском,
На самом близком во языцех.

Мельница

Она всё молола, старалась, вертелась,
Дробила и судьбы, и кофе, и время,
И плавилась ночи, и маялось тело,
А мы замечали, что были не с теми,
Она всё крутилась, надсадно кричала,
Искрила, когда пробегали трамваи.
А мы притворялись, что можно сначала,
Пока эта мельница словно живая.
Но нынче не так мастерят, как бывало, —
Плохое железо, и быстрая старость...
Сломалась. А времени было так мало,
И, сколько ни жди, ничего не осталось.

Простое

У травы не бывает души,
Только божие слёзы сушить,
Только ангел с крылом отсечённым
Засыпает на ней обречённо,
Облегчённо, и сонная вязь
Оплетает его не таясь.
В диком небе — посланников стая...
И крыло не болит, отрастая.
Перья будут легки, хороши...
Ангел просто живёт, без души.
Травы больше не вспомнят его.
Вот он, там, где летит большинство...
И звучит на неслышимой ноте,
Голубь, жаворонок, самолётик.

* * *

А птицы забыли взять пеленг на юг,
Хрипели, хотели любви и признания,
Над ними всходили снега мироздания,
Казалось, что в глотках ледышки поют.
Под ними — деревья, деревни, и тут,
В тоске, в глубине, где не верится в бредни,
Где тонущий след по тропинке последней,
Неспящие дети за песней бегут.
И взглядом пытаются выследить птиц,
Так счастливо стынувших в небе предзимнем:
«Куда мы летим, для кого же мы гибнем...»
И только мазки запрокинутых лиц.
Завьюжит. И мир, возмутительно чист,
Не будет запятнан ни шагом, ни криком,
И слабо мелькнёт над простором великим
Шальное перо или гаснущий лист.

* * *

последний месяц лета
уже почти угас
и позднего рассвета
не наступает час
дыханья не хватает
среди летучих вод
и только птичьи стаи
пятнают небосвод
едва бегу со всеми
уже почти ничей
и отлетает время
секундами дождей
как будто снял Тарковский
водой оно стекло
совсем по-стариковски
стучит в моё стекло

Буратиновое

Серые стружки на голове,
Седой Буратино в сырой траве,
Стакан в трухлявой его руке,
И холмик с табличкой невдалеке.
Надпись, понятная и воробью:
«Папа Карло, я слёзы лью!»
В траву бросает пустой стакан,
Домой шагает, как истукан,
Мальвина с потрескавшимся лицом
Ругает болваном и подлецом.
Старая крыса, последний друг,
В углу доедает последний лук.
А на стене, до тоски знаком,
Коврик с печуркой и котелком.
В старом пруду, в глубине, на дне,
Ключик лежит и дрожит во сне.
Здесь у него ни судьбы, ни сил,
В мёртвой воде не найти Тортил.

Сказка ли это? Сюжет вверх дном.
Время течёт за моим окном.

Старик

1.
А старик не лезет в драку,
В ярости слюной не брызжет.
Он берёт свою собаку
И уходит в осень рыжую.

Лес опомнился и замер,
Человека память душит...
Смотрит слабыми глазами
Прямо в сумрачную душу.

2.
Я в том зелёном полумраке,
Где, на границе сна и драки,
Слова ломают скорлупу,
Где остывает след собаки,
Впечатан в белую крупу.

Нога скользит, как неживая,
Собака ждёт, переживая,
Не мне, а ей меня вести...
Но ветра ярость ножевая
Настигнет нас в конце пути.

Праща

Давай на всякий случай попросимся...
На посошок нальем глоток вина.
Пусть камнем не заряжена праща ещё,
Но цель ясна, хотя не всем видна.

Так радуют доныне наши мелочи,
Но что-то взять с собой никак нельзя.
Что ж, дольше всех живут на свете сволочи –
Такая им отмерена стезя.

Сбежать бы, но висит табличка «заперто»,
И я не акробат из “du Soleil”.
А солнце за дома упало замертво,
И ночь пришла, слегка навеселе.

Земля, как заведенная, вращается...
Я этот день наверное сотру.
Давай на всякий случай попросимся –
Дороже будет встреча поутру.

* * *

за все эти дни и за все эти ночи
за пройденных труб раскалённую медь
за крым и за рым за последний звоночек
попробую пить я и шёпотом петъ
за всё что сломал и за старые грабли
которые бьют мне и по лбу и в лоб
за то что из детства бумажный кораблик
прорвался приплыл и мне стало тепло



Юрий Николаевич Кабанков родился во Владивостоке в 1954 году. Служил на Тихоокеанском флоте, работал парашютистом-пожарным, электромонтажником, преподавал в сельской школе, редактировал книги. Выпускник Литературного института (1983). Член Союза писателей России (1988). Член Всемирной писательской ассоциации International PEN Club (1998). Автор десяти книг, вышедших в издательствах Москвы и Владивостока. Лауреат премии издательства «Молодая гвардия» (Москва, 1986). Лауреат премии критиков Союза писателей РСФСР «Лучшие стихи года» (Москва, 1990). Лауреат премии губернатора Приморья «За достижения в области литературы и искусства» (Владивосток, 2001). Лауреат Всероссийской премии им. А. Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (Москва, 2013).

Книга «Камни преткновенные», выпущенная в 1999 году владивостокскими издательствами «Уссури» и «Лавка языков», завоевала в Интернете специальный приз конкурса русской сетевой литературы «Тенета-ринет – 1999».

Отдельные произведения Ю. Н. Кабанкова переведены и опубликованы на английском (США), арабском (Иордания), испанском (Перу), венгерском, белорусском и латышском языках, а также в антологиях «Русская поэзия. XX век» (Москва, 1999), «Молитвы русских поэтов XX-XXI вв» (Москва, 2011).

Кандидат филологических наук. Доцент кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного федерального университета.

Юрий Кабанков

Бездна времени

У тебя эта тяга кровя —
спеленать, и огонь раздуть...

Очагу благодарен будь.
Благодарный — не прогадай:
либо — звезду за пазухой,
либо — узду заказывай.

Или — совсем продай
домик с вишнёвым цветом.

Дымом заплатит ветер,
и на золе погадай:
много ль осталось зорь
ясных, как эта боль.

Поспи немного, я тебе спою
о том, как месяц полюбил печаль свою.

Лишь часовые изредка кричали,
что тяжело ему в своей печали.

А ветер приносил издалека
простую весть: своя печаль — легка.

Я рисовал бы по-рысьи раскосо,
я рассказал бы, как пахнут покосы,
как в шалаше на кленовой подстилке
чуют блаженную тяжесть в затылке...

Я рассказал бы.
Но у меня
не было розового коня.

Был — мотылёк,
да теперь далёк...

Лубок

И чего это вы сразу на дыбки,
расписные-золотые голубки?

Я ведь вас своей заботой не корил –
в кои веки о простом заговорил!

Всё о том же, золотые, всё о том,
что заботу не отложишь на потом;

что слова уходят – как вода в песок,
что давно уже затянут поясок;

что глубоко – как под вечной мерзлотой
бьётся память тонкой жилкой золотой.

Худо-бедно – до сих пор она жива:
топит печку, молча ходит по дрова,

созерцает, как рабы идут на Рим...
Всё идут... Ведь мы о вечном говорим?

Шелушится вековая чешуя;
усмеваются проходчик и швея:

мудрено им удержаться на плаву!
...Подчищая для истории главу

(или – скажем не по-нашему – абзац),
вдруг словечко бакалейное: «Эрзац»!

Ах, как сразу тишина звенит в ушах!
Пешеходы вязнут в глине что ни шаг –

будто прямо среди улицы, как встарь,
опрокинул свою бочку золотарь.

Над страной мгла высокая звенит.
Ставь зарубки, коли память изменит! –

ведь недаром – раздуваемый молвой –
свет сияет над повинной головой.

Ну а вы – чуть слово – сразу на дыбки,
расписные мои птахи-голубки!

Я ведь вас чужой заботой не корил –
в кои веки по-людски заговорил...

Уссури. Граница

В который раз они творили
тысячеструнный иероглиф,
вплетая в плоские корзины
кусочки разноцветной ленты.

Опившись пеной, плыли джонки,
покачивали веерами,
похожие на Ли Цин-чжао,
но только чуточку тревожней.

Был мир из глины и бамбука
скреплён полынною слюною,
а ласточки луну манили
в долину пагод, вгнивших в землю.

Давно переживя живущих,
они однажды не вернулись —
когда спиральная сирена,
зайдясь, упала на циновку.

А утром раскалённый ветер
прошёлся по вершинам сопок —
как пулемётного прицела
обритый наголо зрачок.

* * *

Прогрохотали поезда...
Давно осыпалась звезда,
а свет её поныне льётся.

Во сне я разожму кулак –
сквозь пальцы проступает мрак,
и – гарью тянет из колодца.

Прозрачна твердь.
Земля черна.
Грешно сказать:
«Покой и воля...» –
когда почтовый, дико воя
и напрягаясь, как струна...

А перед взором – вся страна:
и свет в окне, и ветер в поле.

Судьба шагает вслед за мной;
клубится почта полевая...
И там, где тьма повелевает,
зияет пламень торфяной.

* * *

Учили мальчика по добру тосковать:
сучёной верёвкой по голому заду.
Да поняли, знать, что великой надсадой —
ни буки, ни ижицы не втолковать.

Спрямили дороги: кати — не хочу!
Да самую малость душой покривили:
на скорую руку отвагу привили
и выдали каждому по калачу.

Не надо, скажу вам, того калача!
Соколик и так уж не в меру резвится.
А небо с овчинку в очах отразится —
недолго и душу спустить сгоряча!

Но — совесть, зятая узлом,
но — воля к пожиткам, отгруженным наспех, —
на щит подымают — как будто бы на смех!
А край — он, известно, — за первым углом.

А там уж стреляют не только глаза...
Горячие гильзы в полях собирая,
разумный малец ощутит, замирая, —
чем пахнет в грозу верховая лоза!

* * *

Солнцестоянием выжжены молочаи.
И у колосьев уже молоко подсохло.
Мне бы в дорогу собраться по белому полдню:
крошки смахнуть со стола —
и ни осьмушки в котомку,
ставни слегка притворить,
молча присесть у колодца...

Бездна времени

Пьеса в одном действии

(Звонок в дверь)
— Здравствуйте?
— Здравствуйте. Вам кого?
— Вас.
— Мы не знакомы.
— Ничего. Я смерть.
— Занятно.
— Весьма.
— Я не могу вас впустить.
— Это необязательно.
— До свидания.
— Но я уже здесь.
— Извините, мне некогда.
— Теперь у вас бездна времени.
— То есть?

— Спешить никуда не надо.
— Хорошо бы.
— Хорошо.
— Но у меня действительно нет времени.
— Тем более.
— ?
— К чему спешить, когда его нет?
— Нет кого?
— Времени.
— Которого бездна?
— Бездна времени равна квадрату его отсутствия.
— Великий квадрат не имеет углов.
— Браво.
— Благодарю. И прошу оставить меня в покое.
— Именно в покое.
— И больше не звоните.
— Звонить уже ни к чему.
— Что так?
— Никто уже не откроет.
— Естественно.
— Именно естественно.
— Короче.
— С удовольствием.
(Занавес.)

Доля

...Пожелала мне: «Будь на миру веселей!»
Только горечь не снимешь рукой.
Мол, счастливую долю найдёшь на селе —
вон какая земля за рекой!

Что — земля! если Бог наш как есть одинок,
а повинных и дождь не сечёт!
Затерялся в ковыльной степи табунок —
только, видно, и это не в счёт.

Знал бы кто — как весной тяжелеет земля,
до корней поглощая грозу!
Может, Птица-Перун донесёт до Кремля
отгоревшую нашу слезу...

И вольно же нам бегать в рубахе до пят!
Не звенят под косою ковыли.
Слишком долго усталые пращурсы спят
В онемевшей утробе Земли!

Тяжеленько грома перехаживать вброд;
слава Богу — поклажа своя!
И плывёт над землёй изумлённый народ.
И не ропщет родная земля.

На старой мельнице

Уже от гудящего зноя в низинах пожухла осока;
сухая долина курилась крутым кипятком разнотравья —
покуда роса не упала и месяц холодный не выплыл,
срезая колосья и тусклые угли в печи раздувая;

бесшумно стекала вода по дощатому телу плотины,
а мельничный жёрнов легонько разлузгивал спелые зёрна,
и звёзды покачивались на тонких стеблях камышинок,
и пахло молочной прохладой ночное дыханье затона;

и слепнувший филин уже умолкал, и заря занималась
чужими делами, и стылое утро насилиу взошло над долиной,
и только беспечный сверчок
невзначай забавлялся тяжёлым затишьем,
когда меж разомкнутых сопок с трудом развиднелась дорога,

которая, может случиться, ко мне приведёт человека,
который, быть может, расскажет о том, что с любимой моею
он славно живёт, и недавно срубил себе крепкую избу,
и больше не ждёт — когда же я здесь околею.

Лицом на восток

Постаревшие камни и те — лицом на восток,
где дожди перемешаны с глиной и крут водосток,
переполняющий реки и рисовые поля,
где дороги не могут встать — так тяжела земля.

Даже камни и те — всегда на восток лицом,
где волна, наливаясь тяжёлым, как сон, свинцом,
налетев на буй, разносит эскадру в клочья
и, раздирая веки, падает вниз лицом
и затихает...

И журавлиным клином
пороховая дымка тает над Сахалином,
и, переждав столетье, — покуда она растает —
валуны вырастают глухими корнями в землю.

И тогда — с трудом поднимают якорь со дна колодца,
и колодезный вал тяжело скрипит и вращает оком;
и плывёт земля под ногою у краснофлотца;
и восходит солнце
над самым
Владивостоком.

Камни преткновенные

Из «Отреченной Псалтири Епифания Пустынника»

Камень XIX

...И мысль мутна, и помыслы убоги;
всё те же лесовозные дороги
морозным скрипом осаждают слух.

2. Черна в стенах души мирская копоть:
вдруг вскинется в ночи крылами хлопать
иль запоёт, как молодой петух.

3. Давно уж смерть клюёт меня в затылок;
звезда моя над бездною застыла,
уже не тщась поворотить небесный круг, —

4. ибо Господь определяет сроки...

(Здесь снова неразборчивые строки, напоминающие греческую вязь, где каждый знак, застывший в рассыпную, уже таит реакцию цепную, античной немотой своей давясь. Увы, и здесь не обойтись без скобок, хотя с такой дискретностью бок о бок немудрено утратить всяческую связь...)

Камень XXI

7. ...ибо сияньем полнятся пустоты
(небес?) — не так ли восковые соты
незримо полнятся сладчайшим янтарём

8. во исполнение (зачёркнуто) завета;
и Божьи ангелы, исполненные света,
заглядывают сквозь дверной проём

9. незапертой часовни?.. Боже правый!
Ты не отвергнул чаши сей кровавой,
но мы, бескровные, — не все ли умрём?!

Но мысль усопшая — ужели не воскресла?

...блудница, распоясавшая чресла,
тварь, пожирающая собственный послед,

2. ужимка дьявола и похоть серафима!

(...и дух, — сказал бы я, — козла Трофима,
столь не подверженный влиянию планет!)

3. ...ржа, источившая (читаю: ...ось земную...)

Прости, Господь! Но это я миную, зане в подобных эмпиреях брода нет. Хотя — вот так же, оборвав на полуслове кружение стихий (в составе крови есть элементы скорбные весьма...), Ты очертил себя незримою границей: как бы воздухом отделив сию страницу от собственно небесного письма. Самоубийце мысль моя знакома: когда обида зреет, как саркома, и Поднебесная, как Дания, тесна.

По разумению вокзального менялы — мысль, созерцающая розы и каналы, «вполне безумна», — («загляни в глаза, объятые стеклянной скорлупою!»).

О дивный мир, стремящийся к покою, светящийся, как аэровокзал: тоскующий, глазающий, жующий, торгующий (-ся), даром отдающий, не ожидающий уже...

Но я сказал.

Иосиф и его братья

«...печаль моя светла...»

А. С. Пушкин

«Ибо печаль ради Бога ведёт к покаянию и спасению,
печаль же мирская совлекает к смерти».

Второе послание к Коринфянам, 7.10

«Меня преследуют две-три случайных фразы», —
сказал Иосиф, ощутивши метастазы
идеи, взросшей из горчичного зерна.
— Зачем печаль моя, о Господи, жирна,
как чернозёмно-неприкаянный Воронеж,
где в птичий грай уже от слуха не схоронишь
тех, под собой давно не чующих страны,
которым настезь двери все отворены
тяжеловыйно-запрокинутым прикладом
туда, где Мойры мрут от ледяного взгляда
медуз языческих и стриженных эриний,
где бездна спит всю ночь на снеговой перине,
где магистраль, как уж, свивается колечком,
где пересыльный трюм — Твоя Вторая речка —
соединяется с угрюмым Ахеронтом,
где все сошедшие с ума единым фронтом,
узревши бездну на своём пути прямом,
поодиночке снова трогались умом
и прежних бесов, застоявшихся в коросте,
незримо трогали прикосновеньем барской трости;
где рой подавленных и трепетных рабов
завидовал жизнью последних барских псов,
не оцеплённых с четырёх сторон прожекторами;
где базилевствующий над инженерами
бессмертных душ («куда вы убежите?»)
сдавал поштучно — как Иосифа в Египет —
всех этих зябликов, не чующих страны,
чьи трупы мёрзлые — прозрачны и стройны —
и впрямь не чуяли уже по воле сопромата
ни пенья вышних сфер, ни ангельского мата...

.....
.....

...и лишь за мною как публичная проказа
влачила тень свою бессмысленная фраза,
дичком возросшая из падшего зерна:
«Зачем свеча Твоя, о Боже, так черна?!»

Февраль 1997,

между Сретеньем и Неделей о Страшном суде

Неизрекаемое безмолвие

...зриши печали и скорби наша —
от болезней, гладов, потопления, запаления
и междуусобных брани происходящих...
*Из «Покаянной молитвы»,
«юже чтоша в церквах России во дни смуты»*

...тишина есть звук Господень, к которому так привыкли;
очи сами слезятся в неосязаемой тьме крошечной;
это могло бы — конечной целью, венцом и славой
всего, изрекаемого бессловесной ослицей в снегу по брюхо.

Всё-таки всё, что мы — языком и цоканьем по брусчатке,
музыкой сфер Алигьери, голодной травой кислицей,
в поте лица, по-чёрному, в горнице белой, в красном углу, голубиной почтой,
думкою говорливой, нутром охрипшим, сердцем поникшим,
в пламени вечном, веером, циферблатом, чумацким шляхом,
меркнувшей памятью млечной, заживо отключённой,
горделивым умишком, компьютерной мышкой, —

всё, что мы говорим, говорим, лелеем, усердствуя, пишем-не-пашем,
пальцем грозим, мысленно изрекаем, пожинаем космической жнейкой,
камень за пазухой, извлекаем, слишком квадратный корень,
ваньку валяем,
гласные тянем куда-то, акаем по-московски, как в преисподней,
сплошной лавиной,
ящеры, олигархи, финансовые потоки, стэлсы, пустые файлы,
немилосердствуем, ведаем что творим, знать не желаем,
к чертям собачьим,
извергаем куда подальше, в сердцах, видим-не-видим, со дна колодца,
зарезо Царства
Небесного, в сердце, опавшем, как парашютный купол,
свет карамельный,
мир параллельный, почти стерильный, пряничный домик,
в устах гаранта, серпом по горлу,
всадник без головы, органчик, почти целкунчик,
идол тмутараканский в ночном скафандре,
мыльные пузыри над пашней, они не гаснут, шуршим по листьям опавшим, —

всё это может возникнуть прямо сейчас, вот здесь —
как сфера Паскаля в дверном проёме пустой часовни,
прошуметь по яблоням, в воздухе отразиться, окинуть прозрачным взором,
скользнуть, свершиться, кануть бесследно в Лету,
срезав недобрым словом, как лезвием газосварки,
хрупкие створки сторожевой тишины Господней:
«всплеск в тишине» (тот самый), жалоба эха над одичалым полем,
голубь с голубкой в чердачном оконце памяти нашей ветхозаветной...

Начальнику хора, на струнных орудиях:
Буратино с виолончелью, пчелиный полдень, ноты в ключе басовом,
Басё с собакой, взирающей через море,
слуга покорный с псалтирью десятиструнной...
Вразуми, настави и помилуй нас, недостойных!

Февраль 2011,
Неделя о Страшном Суде



Ника Батхен (Вероника Владимировна Батхан), 38 лет, мама двух дочек. Училась в Литинституте в семинаре прозы, автор двух книг стихов «Снебападение» и «Путями птиц», и книги прозы «Остров Рай». Лауреат премии «Золотой Жук», премии «Интерпресскон», четырехкратный лауреат премии Фанткритик, дипломант Волошинского фестиваля, третье место фестиваля «Заблудившийся Трамвай», награждена медалью имени Гоголя за сказочную литературу. Журналист-фрилансер, живет в Феодосии.

Ника Батхен

Сказка о неизбежном

«Моталэ мечтает о курице,
А инспектор —
Курицу —
Ест».

Иосиф Уткин

Ос любил наблюдать за морем. По утрам, выходя с ребятнёй за «ушками», он подолгу смотрел, как солнце наполняет воду прозрачным светом. Колыхание вод, бег прилива, пена и водоросли на песке притягивали его, как детей бедняков манит витрина, полная дивных сладостей. Ос готов был часами глядеть на волны, но голодные братья тащили его с собой — собирать мокрые, склизкие на вкус ракушки. Мать варила похлёбку из «ушек» от весны до зимы. А когда наступал сезон бурь, к морю спускались только отъявленные бродяги. Ос однажды попробовал тоже.

Он запомнил пронзительный ветер, стылые непроглядные сумерки, вопли крачек, чёрные рёбра забытой лодки, огромный, как дом, труп морского быка. И себя — песчинку в бесконечном и безразличном холодном мире. Домой околеченного до изумления мальчика приволок милосердный нищевод-грошник. Отец выпорол Оса. Мать плакала.

Очередную трёпку он заслужил, когда стал хвалиться перед мальчишками. Ребятня собралась в подвале, Ос, как всегда, взгромоздился на бочку и начал рассказ, мешая краски и запахи с безудержным хвастовством. Он захлёбывался и задыхался, восхищённые взгляды приятелей прибавляли азарта речи. ...Стихи получились сами собой — мозаичные кубики слов вдруг сложились единственно мыслимым образом. И на влажной стене подвала проступили картины — белокрылый фрегат, глыбы блестящих

айсбергов, занесённый песком контур мёртвого корабля... На крик прибежал отец. Он разогнал малышня и взялся заново пороть сына, но, не сделав и трёх ударов, плюнул и выпустил парня. Словоплётство не бог весть что, но могло быть и хуже — дар к палачеству, например.

С того дня отец перестал требовать, чтобы Ос вместе с братьями гнул лозу, мастера короба и плетёные стулья на потребу богатым купцам. Без толку, дела не выйдет. Мать стала ласковей, норовила подсунуть тайком то сладкий рожок, то монетку. Но братишек, особенно младших, шугала прочь, как и прочие матери во дворе. Из приятелей только подкидыш Брок не гнушался теперь сопровождать Оса.

Славно же было — урвать вечерок и с котомкой лиловых слив забраться на самый верх мёртвого бастиона — смотреть на волны, мечтать и на спор плевать вниз косточками. Тёплый мох, что вглухую затянул камни, был приятней любовью постели, а если разрыть его пальцами, можно вытащить гильзу, или осколок, или... Тени мёртвых солдат порой чудились Осу в долгих сумерках вечеров. А Брок ничего не боялся. Подкидыш был очень силен.

По округе мальчишка считался угрюмцем и молчуном. Но когда Ос рассказывал о неведомых странах и временах, Брок вступал в разговор второй скрипкой. Словоплёт придумывал город, подкидыш становился в нём королём, могучим и справедливым. Однажды на бастионе Брок открыл Осу тайну, что женится на принцессе. Только вырастет — и возьмет её в жёны.

В День Всех Святых, когда добрые горожане выходили мириться между собою и давать по серьгам инославным, Ос пробрался полюбоваться на шествие. Король был болен и с трудом держался на белом разряженном жеребце. Принцесса сидела в карете, как пряничная фигур-

ка — блестящая, ладная, с глянцевым и немым лицом. Ос подумал ещё: как можно влюбиться в такую куклу? Но приятелю не сказал. Впрочем, не до того было.

Тощих, шумных и плодовых, как тараканы, жителей рыжих кварталов в городе недолюбливали давно. После молебствий на площади кто-то крикнул «Бей!», космачи с нагайками, как всегда, опоздали. Насмерть с ходу, почитай, никого и не порешили, но пока громилы делили пёстрые тряпки, гроши и утварь, запылали склады. Огонь перекинулся на жильё. Ос лишился двух братьев, отца и дома. До жути хотелось плакать, валяться в луже и быть, как мать, но он стоял и грыз кулаки под ленивыми взглядами любопытных. Начался дождь. Братья рылись в развалинах, вдруг что осталось цело. Мать лежала в углу под рогожей. Потом стемнело. Ос стоял и стоял, весь промокший, худой и страшный. Брок увёл его в доки уже наутро.

Мать недолго жила после — осень съела её, как и добрую часть погорельцев. Братья сгинули кто куда. Ос остался грошничать в городе. Делать он ничего не умел, да и не мог — дар ворочался в нём, жадно требуя пищи.

Ос толкался в порту, провожал глазами неопрятные пароходы и горделивые парусники, следил за дневной муравьиной суетой у причалов. Как на берег сводят слона в цепях, как спускают клетки с бесчисленными пёстрыми птицами и мешки драгоценного кофе, как плечистые грузчики тащат в трюмы тюки и бочки. Как спешат подняться на борт тяжело гружёные семьи с малышами, старухами и старинными ветхими книгами, а с надраенных палуб в город шествуют разодетые проезжанты. Как оскалились пушками боевые суда — «Касабланка», «Принцесса», «Крейсер»... и незнакомые ещё новики — с каждым месяцем их становилось больше.

На закате работа стихала, и тотчас распухали от шума бесчисленные таверны, кабачки и подвалы. Матросы плясали с портовыми девками, резались на ножах, пили, вспоминая своих покойников, пели и снова дрались. Ос заглядывал в двери, слушал. Если в карманах звенело — покупал себе жидкое пиво и крепкий «портовый» суп из морских гадов. Сочный вкус чужой жизни наполнял ему рот. Но слова всё ещё не давались.

Дар смеялся над ним — по ночам Осу снились тугие и звонкие строки. А с утра, как и в детстве, приходилось собирать «ушки» и морской лук, чтобы не умереть с голоду. Иногда удавалось перехватить монету на срочной выгрузке или кружку вина из проташенного на борт кувшина, но жилось всё

труднее. ...Брок ещё той весной уехал — примерять серый китель студента Е.К.В. Корабельной школы. А больше Ос никому нужен не был.

Оставалось море — неизменное и непостоянное, тухлый запах светящихся водорослей, горсти битого перламутра на полосе прилива, стаи рыбок-летучек и шумные птицы, кормящиеся у стай. И корабли. Надежда по правому борту, гибель по левому, удача стоит у штурвала.

Ос ютился тогда в ничейной каморке у Южных Трапов. Чуть не каждую ночь он пытался марать бумагу, но стихи отправлялись в огонь — подогреть скудный ужин. А ночи всё холодали. Грошники, рыбаки и прочий портовый сброд уходили в подвалы и трюмы, ища приюта. Космачи уже дважды прочёсывали трупцы.

Когда Астьольд и Злой из Бухты явились в Трапы резаться насмерть за жёлтые косы красотки Эв, Ос решил, что снова идёт облава. Он откинул уже крышку подпола — дважды эта дыра выручала его свободу, — но снаружи заговорил барабан. Из щели было видно, как волна за волной моряки и контрабандисты заняли площадь.

Четверо с фонарями оградили поле для боя, взмыленный барабанщик встал спиной к морю. Толпа сгрудилась чуть дальше. Нагую Эв держали двое матросов, она икала от страха.

...Вот противники вышли в круг... Злой свистел и играл ножом, Астьольд молчал. Барабан сменил ритм, сотня рук стала отбивать такт. Злой двинулся кругом, мягким и хищным шагом. Выпад, ещё бросок, снова промах. Барабан застучал быстрее. Астьольд вдруг прыгнул вбок... Ос успел увидеть, как тёмная кровь проступила на белой коже, но тут замолчал барабан, и мгновенно потухли все фонари.

Было слышно, как часто дышат противники. После пришёл звук падения, отвратительная возня, хрип, стон — и торжествующий вопль победителя. Толпа засвистела и заорала в ответ. Фонарики вновь засветили лампы. Злой поднялся с трудом. Астьольд был мёртв. Эв закричала — по обычаю победитель доказывал власть над женщиной тут же, у трупа врага. Мужчины замерли в предвкушении зрелища. Но Злой только плюнул в лицо добыче и, прихрамывая, направился в сторону доков. Моряки поспешили за ним — обмыть победу. Дружки Астьольда утащили труп в лодку, чтобы похоронить подальше от берега.

Эв осталась у Оса, разделив с ним сперва похлёбку из ракушек и портвейн, а после скудное ложе. Когда женщина задремала, Ос укутал её в одеяла, а сам поднялся на проваленную крышу хибары. Он кричал слова первой баллады без-

молвным тучам и шумным волнам, бросал рифмы на мокрый песок и вбивал в чёрную мостовую. Он говорил — и серебристыми рыбами летали ножи, хрипел в темноте капитан Астьольд, что посмел протянуть ладонь к сладкогрудой принцессе порта, а победитель поднимал за любовь окровавленный кубок... С первым лучом солнца последнее слово встало на своё место. Ос спустился в каморку — пусть прекрасная Эв услышит. Но женщина ушла до рассвета — вместе с жалкой горстью монет.

Не прошло и двух суток, как в хижину Оса явился незнакомец — огромный моряк с лицом загорелым и сильным. «Я Эгер, брат Астьольда. Я слышал — ты говорил, как погиб мой брат. Приходи говорить в таверну, чтобы все слышали. Я заплачу». Бросил на стол золотой — полновесный, с профилем позапрошлого короля — и захлопнул за собой дверь.

...Чужаков, что суют свой нос в дела портовой шпаны, случается, режут или запросто топят в нужнике. Ос понимал, что рискует, и до сумерек маялся, как поступить. Наконец плюнул в угол, сменил рубаху и вышел. Хуже не станет — некуда.

В «Кабестане» было полно народу. Хозяин вертелся угрём, безуспешно пытаясь уследить за всеми монетками, кружками и скандалами, две служанки сбивались с ног. Китобои, контрабандисты, военные моряки в синем, голоплечие грузчики, пёстрые девки и красивые, злые рыбацки с артелей — все хотели холодного пива, горячей, только с плиты, рыбы, свежих лепёшек с луком, отдыха и веселья. Ос ввинтился в толпу и не без труда пробился к стойке. Бросил монету не глядя: вина, гретого, как положено, — говорить буду. Его трясло. Вино — тёплое, сладкое, пряное — прибавило сил. Как положено, кружку об пол, требуя тишины. И — с богом...

...Следи за рыбой, капитан,
С иззубренной спиной.
Стальная рыба, капитан,
Идёт на плоть войной.
Держи смелее, капитан,
Судьбу за рукоять.
Кому сегодня, капитан,
Дырой в груди зиять?..

За минуту тишины после Ос успел прожить жизнь. Прижавшись спиной к стойке, он ждал. Удар клинка под левый сосок, опивки пива в лицо, свист и гогот трактирной швали... Эгер раздвинул толпу, подошёл, тяжело обнял Оса. «Спасибо, парень. Я видел брата». Незнакомый моряк перегнулся через перила: «Врёшь, паскуда, не так всё было». Сразу несколько голосов воспротивилось:

«Говорил верно». Компания контрабандистов уже играла ножами, мол, не замай правду, но переливчатый свист «Космачи в доках!!!» перебил свару. Ос утёр мокрый лоб. Дар прорвало. Он — стал.

Пушкар с «Катрионы» увел его от облавы, выдавая за юнгу, бежавшего с корабля. Звали пить, но Ос отказался напрочь. Эту ночь он хотел пережить один. Стены мёртвого бастиона были мокры, пальцы заledenели. Дважды Ос мог сорваться, но ему повезло. Он поднялся на крохотную площадку, где любил отдыхать мальчишкой. Встал, раскинул руки, поднял лицо к луне. Небо застыло синью. Ещё несколько дней, и бури заставят его кипеть. Море дышало мерно и гулко. Город с его соборами и заводами, мостами и перекрёстками, колодцами и дворцами спал и кричал во сне. Ос смотрел. Мир простёрся у ног, и он, словно плёт из квартала рыжих, был его властелином.

Зиму Ос провёл в городе, изменив кораблям и бурям. Горсти монет от Эгера хватило на комнатушку в мансарде, чернила, бумагу и книги. Книги были важнее всего. В прежней жизни Ос читал лишь священные свитки да газеты, в которые заворачивали селёдку торговли. Через месяц Ос понял своё невежество. Через три — решил, что прочёл достаточно: стихотворцы не голодали, не спали с портовыми шлюхами и не видели пламени в окнах собственного жилища. Они были сыты, эти чванные короли слова, и писали для сытых и беззаботных. А кто будет говорить для матросов и рыбаков, для портовых грузчиков и контрабандистов, для их гордых, отважных и нежных подруг?

Длились ночи. Под шум ветров Ос раскладывал строки, воспевая удачу на острие гарпуна и прелесть розовых щёк рыбацек. Время шло, и стихи перестали уместаться в тетради. На исходе весны Ос пришёл говорить в «Кабестан». ...И никто его не услышал. Моряки пожимали плечами, служанки хихикали, старый Бу недовольно тёр кружки, а после шепнул, мол, шёл бы ты прочь, приятель. Ос метался и пробовал снова — в ресторации, в «Бочке», на рыночной площади — без толку. Наконец, обозлённый и трезвый, он по новой сказал в «Кабестане» балладу на смерть Астьольда — и добыл себе ужин, выпивку и восторг ненасытной публики. Обратный знак дара — говоришь только то, во что веришь.

Вторая баллада сложилась в тот день, когда на глазах у Оса китиха утопила гарпунёрскую шкуну. Третья — после очередной облавы... Когда штабс-поручик из благородных пришёл к верному стихоплёту, Оса уже узнавали в доках.

Нужно было сказать о любви. Сказать так, чтобы девушка поняла и поверила. Офицерик

был узкоплеч, собой нежен, но мужской красоты не лишён — удивительно даже, что он предпочёл балладу для объяснения. Впрочем, им, богачам, видней. Ос решил посмотреть на девицу прежде, чем написать. Посмотреть любопытства ради. Молодые аристократки обычно не посещали порт.

Штабс-поручик провёл его в парк — у семейства прекрасной возлюбленной был трёхступенчатый титул, дворец и усадьба в пригороде. И в положенный час под яблони вышла девушка в белом. Невесомый ворох пышного платья, паутинка вуали на россыпи светлых кудрей, кружево тонких перчаток, гладкая кожа туфельки. Шаг упруг, взгляд спокоен и прост, на руках — маленькая собачка.

...Анна — обручальное кольцо имени...

Штабс-поручик так ничего и не понял — прочтя стих с листа, он нашёл строки великолепно верными и устроил приглашение «на десерт» — скрасить отдых богатым дачникам. Ос явился не вовремя, был небрежен в одежде и речи, искушая хозяйскую вежливость. А конфуз получился под вечер. Ос читал. Публика млела. Куда там салонным твердилам — в зале шумели волны, клубились тучи, дикари совершали молитву у первых в мире костров... Вдруг на зелёной спине портьеры все узрели обнажённую деву, выступающую из пены. И узнали её в лицо.

Было шумно. Отец девицы хватался за пистолет, неудачливый кавалер рвался придушить словоплёта, кто-то бежал в участок, кто-то звал слуг на помощь. Ос едва успел выйти через балкон.

Он искал потом встречи с Анной, надеясь хоть издали увидеть недоступную белокурую прелесть, — тщетно. Избегая позора, семья подалась на курорты, дачу продали. На самого же Оса подали в розыск — «за покушение, оскорбление и поспрашивание». Много лет спустя Ос смеялся, просматривая досье. А тогда — от плетей и каторги его выручила война. Подготавливавшая давно, она грянула неожиданно.

Ещё вечер казался спокойным, по-осеннему сладким и томным, в парках играли вальсы и кружились с отпускниками девчонки в зелёных платьях. А утром город проснулся от согласного стука сапог о булыжники мостовых. Газеты кричали голосами портовых мальчишек: «Мобилизация! Оккупация! Интервенция!» «И я... и я...» — откликалось эхо, но кто ж его будет слушать.

Боевые суда, оцетинившись дулами пушек, ползли из залива прочь. На городских рынках втридорога продавали гнилую конину и вонючее мясо морских быков. В доках сновали крысы. Ос

попал под облаву случайно — и это его спасло. Трущобы были обречены. А его с разношёрстной толпой таких же везунчиков ожидала казарма.

Их затолкали в пустой пакгауз, посчитали по головам и заперли, без пищи и воды. Один старик отдал концы ночью, юнгу и двух матросов успели выкупить, всех кривых и безногих посчитали негодными к службе. Остальных записали, обрили, раздали по плашке хлеба и бестолковой колонной погнали в порт. Чёрный рот «Виолетты» высунул язык трапа, людское стадо сгрузили в трюм, и путешествие началось.

Самым мерзким казалось ощущение близости других тел — их тепло, вонь и грязь. Ос за годы бездомья привык быть один. А фронта он не боялся — висельник не утонет. Вокруг ругались, молились, плакали и хрипели во сне. Ос же грезил о будущих подвигах, прошлых встречах и могуществе вод вокруг. Слова бились в его голове, но говорить было нельзя. Либо пристрелят, либо отправят к вербовщикам, после чего опять же пристрелят — за неспособность. Второго одарённого из набора — слабоумного юношу-предсказателя — офицеры отселили в отдельный угол. Бедолагу кормили объедками со стола и били за каждый срыв провидения.

...Новобранцев доставили в город-крепость на острове в Сером море. Сосны, жёлтый песок, едкий запах пороха и железа. Смрад казармы, муштра, побои. Усталость. Первый год Ос не помнил — он почти разучился думать.

Сил едва хватало вставать и делать, что говорят: маршировать, колоть, целиться, чистить, драить, стирать и жечь. Во время еды Ос мечтал о сне, во сне видел еду. Он был болен, хромал, кашлял, сплёвывал кровь — и поэтому жил. Раз за разом сменялись учебные роты, а Ос всё топтал казарму — чистил рыбу, мёл плац, полировал стволы громоздких чугунных пушек. Со временем он стал различать орудия — по оттенку звона металла, по отметинам пороха, по царапинам шрамов на чёрных дулах. И полёт снаряда казался Осу подобным запредельной свободе движения мысли вне.

Терпеливым старанием он глянулся пушкарям. Был оставлен при батарее, потихоньку отъелся, окреп. Появились силы для наблюдений. Жизнь блестела и колыхалась, как подпорченный студень. Сомнительные победы первых недель войны сменились вялыми поражениями. Имперцы продвигались к столице. В городах пахло голодом. По деревням угоняли в леса скотину и прятали хлеб. Крепость трясло в ознобе. Каждый день на плацу кого-то поролли или ста-

вили в кандалы. Унтер Крукс пристрелил новобранца «за дерзость». Приближалась весна.

С южным ветром принесло горсти слухов о будущей битве — двум эскадрам надлежало столкнуться во славу тронов. Эта схватка, похоже, решала исход войны. Слабоумный крепостной предсказатель твердил, что всё кончится поражением, но не мог назвать имени победителя. Ожидание длилось.

Как-то за полночь бедолага влез на крышу казармы и заблажил в голос. Мол, эскадры сошлись, но не стали биться, моряки побратались кровью и теперь возвращаются, дабы переменить и законы и власти. Смерть хижинам, война дворцам, горе кормящим грудью... И дальше все уж неподобающее. Ретивый капрал снял пророка с одного выстрела, за что был тем же утром пущен в расход.

Ос тоже ждал. Он почуял бурю. Всё вокруг: злая ругань голодных солдат, брань чинов, блестящие ножны парадных кортиков, даже раннее лето, поразительно щедрое на красоту и тепло, — всё подряд раздражало отвыкшее сердце. Дар стучался в ушах — так, наверное, бьётся ребёнок в чреве, почуяв приближение родов. Ос понял, что не удержится, и жил жадно. День прорыва беды грозил гибелью, вряд ли преодолимой.

Их подняли посреди ночи. Взбунтовавшийся флот приближался к берегам острова — в крепости был уголь, была вода, и — главное — были снаряды, много снарядов для ненасытных пушек. А приказ из Столицы гнал офицеров — любой ценой задержать.

...Шёл туман. От промозглой влаги скрипело и пахло ржавью простуженное железо. Пушкари в боевом порядке навтыжку мёрзли на бастионе. Ос смотрел, щурясь, как расхаживает вдоль орудий одышливый капитан, как дрожит жилка на его плохо бритой щеке, как томительно медленно оседают на гладком дуле капельки мутной испарины. Вдруг ударил ветер. Туман разорвало в клочья. Заблестели под солнцем бронированные борта. Бунтовщики приближались к гавани.

«Батарея, готовься!» Капитан прыжком поднялся на бруствер. «Целься!» Рывкнут «Пли!» офицер не успел — Ос столкнул его в море. И, не дожидаясь пули, заговорил — во весь дар, во всю мощь обречённой глотки:

...Свобода? Да!
Стоят суда
Грядёт армада
Города
Горят
Ворота и порты

Открыты
Алчущие рты
Руби раба
Дроби набат
Ори «ура»!
Свобода, брат!..

Ос не понял, что предстало глазам ошеломлённых солдат, но успел увидеть — пушкари развернули стволы вверх, в небо. И прыгнул с бруствера.

От удара о море почернело в глазах, Ос почти потерял сознание. Но живучее тело дёрнуло его вверх, к тонкой плёнке солёной воды. Ос боялся — не хватит сил дотянуть до спасительных валунов за причалами. Но удалось — и доплыть, и укрыться в камнях. Ос лежал, глядя в небо, а на пристани стреляли, кричали и падали люди. После стало темно.

...Он пришёл в себя от чудесного запаха кавы — горячей кавы в невесомой, голубой на просвет, хрупкой чашечке. Ос решил, что он умер и попал в рай — никогда, даже в лучшие годы дома, он не спал на льняном белье, не носил льнущих к телу рубах и не кушал с фарфора. Обитые бархатом стены комнаты, в которой стояла кровать, чуть заметно раскачивались. На двери неуместно чернел силуэт герба. У окна стоял крупнотелый мужчина в дорогом, но помятом мундире. Он обернулся, сияя щербатой улыбкой... Брок!!!

Да, это был он, закадычный друг детства. Изменился. Стал властным, налился силой, как яблоко жёлтым соком. Но глаза приёмыша были прежними — ожидание чуда плескалось за оспинами зрачков. Чудо было простым: власть народу. Хлеб голодным, мир солдатам, свободное море торговцам и рыбакам. Война доносам, погромам, бессудным казням и продажным судьям. Счастье — всем. А плата — труд, пот и кровь. Много крови.

Ему, Осу, судьбою вручён дар творить, поджигать сердца силой слова. Он может приблизить день общей победы, может спасти многие тысячи жизней — людей, обманутых с детства, слепых, диких...

Ос слушал молча. Из небытия перед ним вставал Город Солнца, сияющий и прекрасный. Город, где никто не скажет «проклятый рыжий», не кинет вслед камнем, не откажет в любви потому, что чужак и беден. Без голодных и нищих, без трущоб и без тюрем, но со школами — для любого, с чистой водой в фонтанах, с белыми парусами вольных птиц — кораблей... До утра они говорили в адмиральской каюте. А к рассвету Брок вернулся на мостик — командоры эскадры ждали его приказов.

Ос уснул. Он спал сутки, и сны его были тяжёлыми. Просто ответить «нет» и вернуться в свои трущобы к безразличному морю. Страшно лезть голышом в котёл, вешать на спину бремя чужого выбора. Но Город Солнца уже восходит на горизонте. И ему, Осу, выпало гранить янтарные плиты немислимых мостовых!

...Когда эскадра вломила в порт, Ос стоял рядом с Броком на носу бронированного чудовища. Битва вышла кровавой и грязной, королевских гвардейцев выжигали из доков, выкуривали из бастионов, последний полк добивали уже во дворце. Короля разорвали на части. Ос видел его седую голову с идиотски отвисшей губой, прибитую над воротами. Принцессу Брок спас. Но, видимо, опоздал — от пережитого девушка онемела и слегка повредила в уме.

Первый указ Друга Народа был прост: свобода, равенство, братство. Второй — призывал защищать город от предателей и врагов. Третий — всем детям бедных дать молоко и хлеб. Дважды в день и бесплатно...

Парусиновые фургоны раздатчиков пищи выезжали на площади под конвоем солдат. Случалось, что оголодавшие жители нападали на фуражиров. Благо всем горожанам нечего было есть. За морской живностью ходили теперь угрюмые взрослые мужики, даже поганных крачек сбивали палками. Муку продавали на вес серебра, драгоценные камни меняли на драгоценный сахар, книги шли дёшево — плохо горели.

Город щерился тёмными окнами, хлюпал выбитыми дверьми, мигал кострами реденьких патрулей. Прохожие выцвели, из разряженных щёголей и элегантных красавиц былых времён превращаясь в оборванную толпу. На хорошо одетых смотрели косо. Столица наполнилась слухами: о старухах, что заманивают прохожих, а потом продают пирожки с человечьим мясом; о чёрной карете, увозящей бесследно молодых девушек с окраинных переулков; о наследнике — сыне розовой фаворитки, юном принце, который уже почти собрал армию на востоке.

Ос метался по городу и говорил. О Городе Солнца, свободе и братстве, грядущих победах и светлом будущем... От завода в казармы, оттуда в доки, в госпиталь и снова на площадь — к толпе. Он осунулся, исхудал, забывал есть и спать. Времени не хватало. Каждый день, каждый шаг, каждый выкрик в тысячекое месиво приближали неизбежное чудо, царство равенства и свободы. Было жалко терять часы, поэтому Ос согласился на экипаж и гнедых из дворцовой конюшни. Ночевал он тоже в одной из бесчис-

ленных комнат дворца, в двух шагах от покоев Брока.

В изуеченных залах не тушили огни до света. Рассылали бумаги, планы и вестовых, собирали отряды грядущих армий, строили и творили новое будущее. Очаги Солнца — воспитательные лицеи для бродяг и сирот; голубые дома из стекла и металла — чтобы братья не прятались друг от друга; скорострельную пушку, новый способ книгопечати, два лекарства от смерти, летательный аппарат на легчайших шёлковых крыльях... Никогда ещё Осу не доводилось попадать в средоточие пульса жизни — разношёрстные квартиранты дворца торопились, как будто каждый день был последним. Отчасти так и случилось: одержимые и одарённые в равной степени быстро гибли от пуль, лихорадки и собственной неосторожности. Их места в строю заполняли мятежные новобранцы. Все, кто мог, несли камни в стены Города Солнца.

Ос успел полюбить своё уютное гнёздышко — закуток чьей-то маленькой фрейлины. Покрывала и простыни тихо пахли жасминовыми духами, на глазурном умывальнике вяла пудреница из перламутра, в гулком брюхе комода ожидали своей судьбы разноцветные бальные платья. Стёкла так и не удалось вставить, но на ночь можно было запереть ставни и задёрнуть массивного вида портьеры. Получалось тепло. Почти...

Иногда заходили гости — фанатической силой дара Ос выделялся даже в пёстром котле дворца. Все знали, к рыжему словоплёту благоволил Друг Народа. Но близких людей, кроме Брока, так и не появилось — слишком спешно жилось. Пару раз на душистом ложе оставались ночевать женщины. Они мяти постель и дрожали от холода в кружевных простынях, жадно курили вонючий табак, говорили о новой жизни и исчезали, не дожидаясь рассвета. А жаль — по утрам из покоев открывался прекрасный вид на залив. Полоска воды блестела далеко за домами, обрамлённая лоснящейся жестью крыш, зеленью тополей, высокими трубами — чёрными и тускло-красными. На флагштоках громоотводов металась знамёна победителей.

По ночам у камина Ос сидел и писал — о городе, о боях и победах, о врагах и о Друге Народа, о кораблях-птицах и птицах-вестниках. Было зябко, часто хотелось есть, иногда становилось страшно — безвозвратно быстро рушился старый мир. Но опять надвигался день: кава из кухонного котла, мокрый хлеб, полселёдки — и вперёд, к людям. Дар был счастлив. Ос — тоже.

На фронтах наступило затишье. Город съёжился и примолк. Снег засыпал все выходы из домов, люди мёрзли и мёрли в своих берлогах. Стало пусто на улицах. Только ветер гулял в гулких стрельчатых арках, да собаки скулили и грызлись над жалкой добычей. Жеребцы из дворцовых конюшен завершили свой век в общей кухне, поэтому Ос снова ходил пешком.

...Проклятое время мёртвых — последние дни холодов. Всякий год кажется, что света больше не будет, надеяться не на что, следует умереть, забыться сном под хрипы метельных дудок. И с первым лучом тепла забываешь эти кошмары, чтобы следующей зимой вспомнить...

— Мужчина, послушайте. — Наперерез Осу из парадного вышла девушка в куцей шубке. — Я голодна...

И действительно, вся она была как мольба о пище. Высохшее лицо, ввалившиеся глаза, пересохшие белые губы, тонкие, страшные ноги с узлами коленок. Хлеба при себе не нашлось, но и бросить девчонку на улице Ос не смог. Он решил отвести бедолагу в покои, накормить пайковой «шрапнелью», дать отоспаться в тепле. Если ж будет смышлена, то и дело ей подберётся. Хотя на посылках или кашу варить, всё лучше, чем на улице в мороз грошничать.

Идти было далеко, через два провесных моста. Девушка долго держалась вровень, но ближе к площади силы её оставили. Она вцепилась Осу в рукав, едва волочила ноги, а у дворцовых ворот неожиданно потеряла сознание. Пришлось нести на руках. Сгрузив гостью в пышные простыни, Ос растопил камин, сбегал в кухню за кавой и тёплым супом, занял у соседа сахар. В тепле девушке стало лучше, она ела и плакала, не замечая, что плачет. А потом уснула с ложкой в руке.

Ос провёл ночь у камина. На душе у него было тепло. Это чувство казалось ему незнакомым. Младшие братья словоплёта чуждались, ни зверей, ни детей у него никогда не водилось, и Ос удивлялся, что умиротворяющего в тонком, тихом, чужом дыхании. Он задремал, а проснулся от прикосновения. Девушка, голая и жалкая в своей неухоженной наготе, склонилась над ним. Ос улыбнулся, не желая платы за угощение. Девушка погладила его по лицу. На грязном пальце круглился след от кольца. Перстня с тусклым агатом, украшения девичьей ручки. ...Белое платье... Белая кость... Обручальное кольцо имени. Ос сам расчесал Анне кудри и согрел для купания воду, распотрошил сундук и добыл ей одежду, а прежние тряпки выбросил прочь. Он укачивал девушку, как больного дитя, кормил с

ложечки, спал у её постели, по сто раз повторял, что никто её теперь не обидит. И думал — как же спасти. Прошла неделя, Ос не выходил из покоев, сказавшись больным, но врача принимать отказывался. Наконец Брок прислал мальчика, требуя объяснений. Ос поднялся в кабинет сам.

Словами простыми и грубыми он объяснил, что наконец отыскал любимую. Ему плевать, что Анна аристократка. Если она умрёт, он тоже не будет жить. Брок слушал молча. Ос продолжал, что никогда ничего не просил у друга, и это долг навсегда, и девушка ничего плохого в своей жизни не сделала, и... Брок расхохотался. Он смеялся долго, булькал, хрипел, бил ладонями по столу, плевался и взвизгивал. После утёр усы и спросил, почему бы Осу не расписаться со своей кралей. Он, Друг Народа, взял же принцессу в жёны... Ос пришёл с этой вестью к Анне. Анна сказала «да».

Это было странное счастье. Ос не мог наглядеться на девушку, ставшую вдруг женой. Он просыпался утром от звука её шагов и засыпал, слыша её дыхание. Он таскал воду, колол дрова, приносил в дом то хлеб, то свечи, то старинную книгу. Будь его воля, он не позволил бы милой мараться о стирку или мытьё, но Анна сама хотела вести хозяйство. Ос полюбил вечера у камина. Он учился разговаривать с женщиной, вспоминал и рассказывал дни своей жизни. Анна слушала молча. До весны они жили как брат и сестра.

Когда бури утихли, Ос уехал на фронт — говорить для солдат и матросов. Имперцы отступали, но медленно, слишком медленно. И жгли на своём пути всё — поля, закрома, деревни, — случилось, и вместе с жителями. А Другу Народа был нужен хлеб.

Ос говорил о любви и войне под обстрелом, в окопах, с вестового гнезда на мачте. Приходилось учить, убеждать, чаровать и грезить неумелые, косные души. Ос питался кониной, обовшивел, был ранен. Вместе с ним поднимали войска другие — одарённые и неистовые. Почти все словоплёты кончили дни в окопах, не дожив до победы. А он, Ос, вышел маршем от моря до моря с авангардом стремительных войск. И — венец торжества — кричал победительные проклятья вслед последнему флоту имперцев, и солдаты Друга Народа повторяли его слова. Удача любила парней из квартала рыжих.

В одну из зимних побывок Анна спустилась на ложе к мужу. После, уже весной, приложила руку к мягкому животу: слушай, как бьётся жизнь. Было нежно и трепетно. Анна стала пре-

красна — как луна середины лета над спокойным и тёплым морем. Их первенец появился на свет в день торжественных фейерверков — город праздновал смерть войны. Ос держал на руках лёгкий свёрток и шептал сыну про Город Солнца, где хватит счастья на всех...

Мальчик умер на пятый день от больничной заразы. Анна едва не последовала за ним.

Ос работал, читал, писал, просыпался и засыпал снова рядом с мёртвой от горя женщиной. Жизнь сломалась на две половины. Снаружи кипящий город, в котором взойшли первые зёрна будущего — уличные спектакли детишек из Очагов Солнца, магазины с бесплатным хлебом, гудки заводов, пароходные трубы, трюмы, полные рыбы — серебристой, прыгучей рыбы. Улыбки на бледных лицах, звонкие голоса газетчиков, алые косынки молодых моряков, алые ленты в волосах у рыбаков. А внутри немота опустелого дома.

Ос порой заставлял Анну у колыбели. Жена качала толстую куклу и пела песни на чужом языке. Ни слова о прошлом, шитьё, метёлка, крупа врассыпную на скатерти, заунывный мотив. И кашель. Пока безобидный, слабенький.

Ос попробовал снова просить у Брока, но Друг Народа был непреклонен. Талант принадлежит державе. Впрочем, незаменимых нет... На следующий день Ос взялся обшаривать город. В кварталах рыжих, портовых хибарах, неуклюжих хороминах бывшей знати, у костров грошников и в Очагах Солнца он искал одарённых мальчишек, чтобы учить их плести слова.

Детей набралось десять — голодные, битые, пуганые. Все они слышали Оса раньше — на площадях, на заводах, в доках. Все они хотели научиться плести слова, чтобы стать рядовыми Города Солнца и служить Другу Народа так же верно, как прославленный Рыжий Ос. Почти все они были неграмотны.

Ос не знал, как учить, благо сам почти не учился. Он одел словоплётов с центрального склада, подписал на паёк, выбил спальню в подвале дворца. Подождал пару дней, дал ребятам отъесться, отдохнуть и оттаять. Брок принёс связку книг из дворцовой библиотеки. Старичок кастелян выдал свёрток бумаги и две чернильницы. Дело пошло.

Ос бродил с ними всюду. Обошёл все портовые гнёзда, площади, дворики и дворцы. Выгнал в бурю на побережье. Отправил на лов с рыбаками. Заставил сутки без перерыва простоять у станка на «чугунке». Учил стрелять и бросать ножи, чують, как режет воздух алчущее железо. Гово-

рил для них, сколько хватало лёгких. Заставлял читать, чтобы знали, как отличить настоящее от рифмучей поделки. Парни впитывали его слова, как хлеб — воду. И учились.

Первым прорвался Хонц. На заводе под стук станков он сказал о рабочем, которого затянуло под пресс — как быстрее стучат молотки, из-за гула не слышно крика, и колёса сорвёт с цепи, стоит сердцу остановиться. Кто б мог подумать... Парнишка казался фантазёром и пустословом, а вышел сильно.

Вторым стал Ясс. У светила Верхнего маяка он услышал имя волны. И не сумел — сказать. Понимание слова «море» повредило ему рассудок. Ос понял тогда, как повезло ему — недотёпе и неумёхе — в ночь зимней бури на пляже. И стал бережней с остальными учениками.

За две зимы прорезались все. Кто сильнее, кто чуть видно. Все, кроме Лурьи. Самый славный из мальчиков, самый преданный, самый внимательный. Он умел быть рядом — не слугой, не собакой, но верным плечом. Он хватал на лету мысли, он ни разу не огорчил Оса непониманием... И молчал. Приближался Парад. Пятый год Города Солнца хотели отметить праздником. На три дня отменяли продуктовые нормы, пустили конки, наконец-то стали жечь фонари. На площадях обещали играть спектакли, вывести оркестры, акробатов и фокусников. Ос, как первый в стране, должен был говорить с дворцовой трибуны. Остальные ученики — в средоточиях торжества.

Ос решил поговорить с мальчиком, может, стоит сменить дело. В конце концов, дар не подарок, а Городу Солнца можно служить в тысяче других армий. Лурьи слушал его чуть не плача, потом попросил дать последнее слово. И обрушил на Оса «Балладу на смерть Астьольда» — как снег на голову. Ос увидел круг чёрных фонарщиков, нагую женщину под прицелом голодных глаз, нож в кулаке у Злого и текущую в море кровь. Говоришь только то, во что веришь.

Тем же вечером Ос отвёл Лурьи к Другу Народа. Брок остался доволен.

После Парада Ос получил документы, взял Анну и уехал в предгорья, в глухую провинцию. Поселились в уютном домике на окраине — с садом, колодцем и прелестной верандой для чаепитий. Получили со склада мебель, кое-что прикупили. Анна взяла прислугу — кухарку и домработницу.

Каждое утро супруги пили тёплое молоко пополам с целебной родниковой водой. Ходили гулять, дышать вкусным, как булки, воздухом.

Любовались на старую крепость, на бесконечные стада коз, обтекающие холмы, на кудрявый миндаль и белые кружева стройных вишен. Наслаждались покоем, хорошей пищей, уединением, восхитительной праздностью лишнего часа сна в свежей постели. Ос был счастлив — с лица любимой будто смазались следы времени. Ближе к осени Анна сказала, что снова ждёт ребёнка.

Они оба боялись родов, но обошлось. В положенный срок из городской лечебницы Осу выдали ненаглядный атласный конверт. Девочка оказалась спокойной, тихой и очень хорошенькой. Ос души в ней не чаял. Кто б поверил — первый словоплёт государства сочинял для малышки Иды песенки про зверушек, пёстрых рыбок и корабельные тайны, чтобы дочка не плакала перед сном. И таял, когда малышка смеялась.

Анна была довольна. Она лучилась сонной молочной благодатью, голос стало глубже, шаг величавей. К вящей радости мужа прекратились ночные кошмары. Анна больше не просыпалась в слезах, кашель тоже прошёл. Она сама гуляла с малышкой и благосклонно кивала в ответ на восхищённое аханье местных старух. Ос поражался — что значит тридцать колен благородных предков.

Время двигалось не спеша. За семейной вознёй, молоком, пелёнками и неизбежными детскими хворостями Ос почти не следил за публичными новостями. Он видел, что жизнь становится лучше, люди снова одеты и сыты, открываются школы и фабрики. Всё больше колонн выходит на Парады в честь Друга Народа, все меньше нищих кланится по площадям. Ос частенько вспоминал друга — был подкидыш, прожектёр и мечтатель, а теперь он ведёт страну в светлое будущее. Всё сбылось — и столица, и власть, и принцесса. ...Брок писал, что они тоже ждут наконец ребенка... Анна, узнав об этом, обрадовалась — стране нужен наследник, твердила она. Ос был удивлён — ведь короля нет больше, — но виду не подал.

Весть о смерти пришла неожиданно. Роды прошли тяжело, младенец плох, мать скончалась, писал Брок. И просил возвращаться. Ос понял, что друг ранен в самое сердце. Анна тоже сказала, что следует поспешить. Через день на курьерских они добрались до столицы. Во дворце стоял траур. Сын Друга Народа был жив ещё, но врачи разводили руками — младенец не принимал кормилиц. Пока Ос уговаривал Брока утешиться, Анна пришла в покой и, достав принца из колыбели, дала ему грудь. Мальчик выжил.

С тех пор они были вместе — Ида и маленький Брокен. Анна растила обоих, как брата с сестрой. Не доверяя няням, каждое утро Анна сама будила детей и каждый вечер, ровно в восемь, приходила поужинать с малышами и проводить их спать. У ребят было всё — дорогие игрушки, пони, настоящая лодка под парусом, лучшие гувернёры и добрейшие няни города. Но, по счастью, птенцы были слишком сильны, чтобы успеть изнежиться.

Ос хотел бы чаще видеть своё дитя, но дела затянули по горло. Город Солнца научился читать. И нужны были книги.

Ос искал мастеров для печатных машин и рабочих для книжной фабрики, типографские краски и переплётный картон, художников и наборщиков. Первые алфавиты пошли в тираж, но этого было мало. Нужны были новые книги о новой жизни. Книги о простых людях и великой борьбе за всеобщее счастье. Бесспорные, как булыжники, и понятные, как букварь. Народные книги.

Друг Народа прописал Осу неблагозвучный титул и вручил тяжкий руль Министерства Печатных дел. В первые дни Осу казалось, что он сойдёт с ума от бесконечного потока просителей и посетителей. Одни несли рукописи, другие пытались говорить прямо в кабинете, третьи трясли бесконечными списками прошлых заслуг, четвёртые раздевались и тыкали в нос боевые раны. И все чего-то хотели — тираж, паёк, крышу над головой... А ещё надо было успевать говорить на парадах, заседаниях Солнечного Совета, в кружках и клубах молодых словоплётов. Ос всё чаще отправлял Лурьи вместо себя — сил гореть дважды и трижды в день уже не хватало.

Под началом, помимо господ типографов, оказалась трёхсотенная, даровитая, шумная и до невозможности склочная стая словесников. Все они ревновали, наушничали, творили, дрались и совокуплялись. Всех надлежало сберечь, помирить, накормить, напечатать и пожурить, чтобы не плели лишнего. Ос изнемогал от изнанки поэтического белья, ему казалось, что ещё один новый гений — и его начнёт рвать словами прямо на стол в кабинете. Иногда он смаковал эту сцену для самоуспокоения — полированная столешница, гладкокожее кресло, напротив вдохновенная рожа очередного Солнечного Луча — и алфавитная каша блевотины на проклятых бумагах.

Иногда удавалось держаться только на коньяке — рюмка с утра и по сорок граммов в каждую чашку кавы. Ос почти перестал писать. Не хватало подпитки — разведки боем, утлой рыбацкой

шкуну, яркоглазой девчонки из подворотни... Впрочем, Город Солнца становился реальностью на глазах, и в нём не было места вымыслу.

Ос запомнил тот день, когда форма отливки треснула.

Он явился на службу как всегда, в десять. Его встретила тишина. Не хихикали секретарши, не курили на лестницах господа типографы, не ругались друг с дружкой молодые словесники. Двери замерли полуоткрытыми, коридоры были пусты. Пахло жжёной бумагой.

В кабинете ждал Лурьи. Красавчик был бледен. Без лишних слов он протянул Осу список имён — Хонц, Барт, Йолли, ещё кто-то из молодых. Заговор. Злоумышление против Города Солнца и Друга Народа лично, восхваление аристократии, опорочение дела свободы, осквернение, надругание... Лурьи улыбался дрожащим ртом и твердил что-то о всеобщем собрании с целью исключить из рядов. Ос подвинул его и вышел.

Во дворце пировала паника. Вооружённые моряки охраняли подходы к зданию, солдаты возились у главной дворцовой пушки, поспешали курьеры в парадной форме. К Другу Народа Оса пустили не сразу. Брок сидел с незнакомым министром. В кабинете было накурено, стол завален бумагами, пол — заслежен. Брок поднялся и обнял за плечи друга. Хорошо, что ты понял меня, твердил он, хорошо, что пришёл поддержать в столь опасный и трудный момент. Ос опешил. Нас хотели убить, повторял Брок, подготовили заговор, обещали развесить на фонарях. Ос рискнул возразить, что своих словоплётов знает, они слишком талантливы, чтобы играть в политику. Вот и ладно, вернулся новый министр, вот и проверим. Вот признаньица. Вот показаньица. А вот протокольчик допроса, извольте... Друг Народа кивнул, мол, у этого все признаются. Одарённый, выдающийся человек. Об стекло с заунывным гудением билась жёлтая муха...

Ночью Ос побеседовал с Анной. Объявил, что намерен оставить пост, объяснил почему. Не меняясь в лице, Анна ответила, что жене подобает идти за мужем. А дочь их останется сиротой в Очаге. И, если выживет, вырастет нищенкой, грошницей, как отец. Ос попробовал дать пощёчину, но жена увернулась. И продолжила толковать. Что он, Ос, ещё в фаворе, коли будет умён, сможет держаться долго. Короли не бросают приятелей детства, если те их не предадут. Что счастье Иды в ладонях её отца. Если сложится, может быть, их красавица станет матерью новых принцев — дети любят друг друга. Вот только кто позволит мальчишке Брокену взять в жёны

отродье самоубийцы? Ос молчал, слушал. После хлопнул дверью и никогда больше не заходил к жене в спальню.

Ос говорил с Броком ещё раз, за два дня до суда. Он был прост. Дар штука тонкая, редкая, а словесники люди пуганные и нервные. Одного вздёрнешь, пять в уме повредятся, десять вовсе разбегутся — ищи их потом. Кто тогда говорить с площадей будет, заплочных дел мастера? Они б, может, и рады, да кто их слушать-то станет?! Дар учить надо, гранить, шлифовать. Вот он, Ос, сколько лет учил — а вы всю работу к стенке. Друг Народа сперва разгневался, но, поразмыслив, признал правоту Оса. В этот раз мальчигов удалось отстоять.

...А потом был Большой Парад — двадцать лет исполнялось Городу Солнца. Ос стоял на трибуне, внизу колыхалось людское море. Метались флаги, мелькали лица, блестели каски рядов конвоя. Ос вдохнул полной грудью пьяный весенний воздух, раскрыл ладони в приветствии — и слово умерло на губах. Он почувствовал, что бессилён. Отвратительно, безнадежно, как старик перед юной шлюхой. Ос шатнулся, его подхватили под руки, увели во дворец.

Он лежал на кушетке, вокруг хлопотала охрана, подросли врачи, пахло камфорой. Было слышно, как говорят снаружи: Лурьи, Барт, Хонц... И на каждую фразу — восторженный рёв толпы. Город Солнца отстроил стены.

С того дня Ос по мере сил избегал выступлений на публике. В крайнем случае, брал с собой Лурьи, но обычно отговаривался работой. Министерство печатных дел и вправду хотело многого. Ос удвоил, утроил, ушестерил бдительность, пытаясь по мере сил уберечь своих необузданных «мальчигов». Не всегда удавалось, да и слуги Друга Народа уже не так просто выпускали добычу. Но пока Ос держал оборону.

Он старался, чтобы свободного времени не оставалось, ночевал в кабинете, отказался от отпусков. Но, бывало, бессонница хватала его за грудки. Ос спускался по гулкой лестнице, брал ключи у сонного сторожа и долгие ночи бродил по притихшей столице. Он смотрел — слово «мост», слово «снег», слово «осень» — как фигуры в колоде карт. Стало проще — вместо образа камня являлся булыжник, вместо символа рыбы — живой малёк в мелкой луже прибоя. Сам же мир оказался урезан, обесцвечен и опреснён. Ос бродил, щупал стены, гляделся в чёрную воду, гладил свежие листья кленов, угощал пыльным сахаром терпеливых извозчицких лошадей. Видел небо — неизменное, безразличное, звёздное или облачное. Небу было накласть на проблемы души придурка квартала рыжих.

Как-то сразу ушло здоровье. Потянулись врачи, лечебницы, унижительные процедуры, недели покоя в стерильной крахмальной клинике. Ос лежал на странице наглаженной простыни, словно выцветший лист из девчоночьего гербария. Умница Ида навещала его каждый праздник — малышка хорошо выросла. В белых гольфиках, форменном буром платье с кружевной пелеринкой, под которой уже красовались грудки, ясноглазая и улыбочивая, она была прелестна. Ос сквозь дрему слушал болтовню дочки об уроках, маме и братце Брокене, о щенках, и прогулках, и книжках с картинками... Слава богу, у неё не прорезалось дара — а бывало, способности шли по наследству.

Друг Народа тоже посещал Оса, но визиты его становились короче, а речи всё холодней. Из намёков ревнивого Хонца складывалось, что Лурьи наконец-то стало тесно второе место, но решение ещё не было принято. Ос гадал — позволят ли уйти на покой или выпало наконец время расстаться с жизнью. Страх умереть проснулся вместе с болезнями, и всё драгоценней казались казённое ложе, дряблая пища и снулый воздух палаты. Каждый вечер Ос боялся закрыть глаза — вдруг не станет белёсого потолка, трёх шаров в изголовье кровати, птичьих домиков за окном... И вкус жизни отдавал теперь кислотой ежеутренней целительной простокваши.

Врачи снова поставили его на ноги, но запретили работать хотя бы ближайший год. Ос убрался в отставку и снял номер в отеле у Старой площади. Он сам готовил, сам вёл хозяйство, читал газеты за ужином, много гулял, думал даже завести маленькую собачку. На все вопросы отвечал одинаково — прописали покой. Смерть ходила за Осом на цыпочках. Иногда она доставала худую паучью руку и тянулась пощекотать в груди. Иногда проскальзывала в статьишке заказного писака. Иногда проходила по коридору чеканным шагом солдат — всякий раз Ос прятал голову под подушку и убеждал себя, что ничего не слышит. Время стало тягучим и липким, сны наполнили рот отвратительным вкусом лакрицы. Ос смирился, всё скоро кончится.

Он казался себе пузырьком, полным мутной, вонючей жижи. И забыл про закон резонанса. Город Солнца ворочался, двигал грузным нутром, выдыхал отработанный воздух. Колебания плоти стали явны для внимательных душ. Ос по старой привычке сперва почуял, что близятся перемены, а потом спохватился, но поздно. Его развернуло вживь.

Это было неуловимо — чуть нервной стали статьи в газетах, чуть торжественней марши играли на площадях, чуть суровее стали неизбежные патрули. Подорожали ткани, подешевели книги, Дети Солнца вместо спектаклей показывали чудеса строевого шага и искусство рукопашных и штыковых. Имперские коммерсанты завершали дела в столице, имперские словоплёты, наоборот, бежали просить защиты у Друга Народа. Глупцы, у них же другой язык!

Брок позвал к себе Оса в начале лета. Предложил снова встать во главе Министерства Печатных дел. Долго, со вкусом ржал, когда понял, что Ос тоже знает о будущей драчке. С восторгом принял идею о бригадах словцов-агитаторов для поднятия духа солдат. Упомянул мимоходом, что Ида счастлива в браке. После сам налил по стаканчику... До утра они ворошили прошлое, благо было что вспомнить — воркотню и плевки соседей, крохотные дворы, кочевые лавчонки квартала рыжих, бастион, и солёный ветер, и прохладные сливы с колючими скользкими косточками. Будущее двух никчёмных мальчишек на фоне вечного моря.

А утром пришла война.

Флот имперцев надвинулся с юга. Войска вскрыли границы, как пастуший нож — баранью глотку. Только стальная воля Друга Народа не позволила ретиреде стать бегством. Армия шла назад — огрызалась, отстреливалась, цеплялась за городки и порты, но всё-таки отступала. Город Солнца отдал приказ «всех в ружьё».

У призывных пунктов толпился народ — все, кто был в состоянии драться, хотели идти на фронт. Брали не поголовно — кто-то ж должен кормить и лечить солдат, собирать винтовки и рыть окопы. Но по особому указу Друга Народа на передовую отправляли и женщин — если те были молоды, отважны и умели метко стрелять. Добровольцев наспех вооружали и гнали в театр боевых действий. Выживали немногие. Но к зиме первый натиск удалось смять.

Ос пластался как проклятый: сбивал бригады, портняжил пьесы, писал куплеты «войны плакатов», вывозил в глубь страны стариков и готовил на фронт молодёжь. Было больно смотреть, как редеют списки, но Ос уже научился приносить жертвы. И он терпел. Пока не убили Хонца. Губошлёпа мальчишку с улыбкой во всё лицо, поразительного подростка в минуту прорыва дара, лучшего словоплёта Города Солнца, ученика, друга...

С рыбаками, на утлой шкуне, Ос отплыл до ближайшего порта и явился на призывной пункт.

Сказал, что беженец, документы потеряны, служил в артиллерии, хочет на фронт. Получил две рубахи, шинель, пайку мокрого хлеба и злобных окопных вшей. По дороге до линии фронта мерзкие твари искушали до струпьев тело. Было тяжело. Мирные годы, достаток и важный чин избаловали Оса, он отвык голодать, мёрзнуть, спать на досках и стоять смирно. Но в конце концов память тела проснулась. Разом ушли хворобы, перестало болеть сердце. Ос ворочал мешки и ящики, двигал тяжкие двери, спешил за водой — напряжение сил доставляло радость. Однополчане всё не могли понять, почему так счастлив пожилой, щуплый, рыжий артиллерист. А Ос — жил.

...По весенней распутице полк тащил свои пушки к мостам через реку О. Лошади надрывались, солдаты впрягались в хомут и пёрли чугунные туши, словно плуги по первой пахоте. Ключья зелени, просинь неба, холод талой воды, запах дыма, и пота, и влажной сонной земли. Чёрный бок котелка и зернистая россыпь каши, капелька жёлтого жира в душистой крупяной ямке, пересохшая, хрусткая корка чёрного хлеба и податливый мякиш, пятигранный узор деревянной ложки. Птичьи перья у подножия жухлой берёзы, нежность пуха в растоптанной глине. Свежий, яркий листочек тополя на янтарной чешуйке почки. Гулкий, тёплый металл оружейного бока. Вскрытый вовремя чирей, заживающий гладким тугим рубцом. Счастье лечь и вратать всем измученным телом в землю, ощущая, как соки жизни поднимаются вверх, к корням. Будто войны и нет вовсе.

Дар вернулся к нему неожиданно. Ос проснулся от канонады и понял, что пустота из души ушла. В этот день мост пытались форсировать дважды, полк отбил, но потерял почти всех лошадей. Стало ясно: если утром не дадут подкрепления, то солдаты полягут костями в красной глине пологого берега. Умирать не хотелось. Совсем. Молодой офицер растерялся, он не знал, что сказать, а солдаты роптали. Пробежало уже шепотком — бросить пушки и уходить лесами, отыскался охотник местный, обещал провести. Ели пшёнку, косились хмуро, курили, смотрели в небо. За плечами ждал Город Солнца.

Вместо гретого вина с пряностями была тёплая водка из мятой фляги. Ос поднялся на бруствер и говорил, пока не сорвал себе глотку. О серебряных рыбах и гордых парусниках, об отваге, любви и смерти. Его слушали молча, Ос не видел в темноте лиц. Но дыханье людей было слитно. Страх ушёл. Долг остался.

Ос спустился в окоп. Он увидел: солдаты готовятся к бою. Собирают адреса, письма — если

кто выживет, пусть известит семью. Просят прощения друг у друга. Проверяют оружие. Офицер с жалким лицом подошёл пожать Осу руку. Он смущался и прятал глаза, но пожатие было крепким. Этот не подведёт. Ос расстелил одеяло у пушки — захотелось поспать перед боем. Он ещё не успел задремать, когда пришла женщина.

Рыжая, как и Ос, крепконогая, полногрудая, из оружейной obsługi. Ос не помнил, как звать её, а она не сказала. Отвела его за батарею, к опушке леса, бросила в грязь шинель и легла. Ос не думал, что примет ее подарок, когда тело напомнило о себе жадной болью. Они были под небом, как два зверька, прогрызаясь друг в друга от неизбежного. Материнской утробой, отцовской ладонью, защитой от всякого зла, верёвкой над пропастью — спасён, пока держишь её в руках. Ярость бёдер, тугой сосок, запах женщины, семени, жизни... После она поцеловала его в грудь и на мгновение задремала — так падают в сон утомлённые дети. Они вернулись в окопы порознь.

Ос не мог больше спать, он сидел у огня до света. Баллада о женщине — первая за чёртову пропасть лет — намечалась живыми строчками, но сложиться не успевала. На рассвете броневики имперцев подобрались к мосту. Никто не думал, что дело обернётся так быстро. С того берега рухнул шквальный огонь, бросил в землю, не давая поднять голов. Одну пушку заклинило насмерть. Приползла вестовая из штаба. Контратаку обещали к закату, а пока надо было держаться. Держаться. **ДЕРЖАТЬСЯ.**

Солнце вышло в зенит на лазоревом гладком небе. От горячего света слезились глаза. Ствол орудия раскалился. Пахло кровью, железом и развороченной почвой. Ос оглох от шального взрыва. Ранены были все. Живых оставалось восемь. Повезло, что подбитой машиной удалось перекрыть мост. Имперцы не прекращали атаку. Ос не мог уже поднимать снаряды, зато остался единственным наводящим. Он давно ни о чём не думал — был снаряд, был полёт металла, движение вне сквозь податливый воздух, был удар и взрыв и ещё... Осыпались зелёные ветки, поднималась и падала вниз вода, мост горел. За спиной оставалось море, ломтик паруса в пене волн, белокрылые птицы над стаями серебристых летучих рыб, рыжий мальчик на бастионе. Город Солнца. Говоришь, во что веришь.

Ос давно уже должен был умереть, но время текло сквозь пальцы и дыхание наполняло сухую глотку и сердце всё билось, билось, как бабочка в кулаке...



Раиса Беляева (урожд. Гурина) — русский литератор, мемуарист и киновед. Живёт в Киеве. В 1964—1966 гг. посещала легендарную литературную студию, которой руководил Борис Алексеевич Чичибабин. «Стихотворения Раи Гуриной совершенно не вписывались в тогдашний господствующий “стилистический стандарт”... Рая Гурина была, если допустимо так выразиться, неосознанным “обэриутом”...» (из предисловия Ю. Г. Милославского к публикации отрывков из воспоминаний Р. Беляевой в журнале «Союз Писателей», 2007). О занятиях у Чичибабина Беляева написала мемуарный очерк «Дом для друзей», получивший широкую известность.

Окончила филологический факультет Харьковского университета и кинофакультет Киевского института театрального искусства. Раиса Беляева — автор ряда статей, посвященных отечественной кинематографии 1970–1990-х годов. Составила первый на Украине аннотированный научный каталог «Сто фильмов украинского кино» (К.: Спалах, 1996), изданный к 100-летию мирового кинематографа в рамках проекта ЮНЕСКО «Национальное кинематографическое наследие». Член Союза кинематографистов Украины.

Фрагменты из мемуарной повести Р. Беляевой — «IMAGO. Записки о Холодной Горе» — публиковались в харьковском еженедельнике «Новая демократия» и в литературном журнале «Союз Писателей» (2007). Наиболее полная версия воспоминаний опубликована в девятом выпуске альманаха «Рубеж» (2009).

В 2010 г. рассказы Р. Беляевой появились в журнале «Kreschatik» и в литературном обзоре «Зарубежные задворки» (Германия).

Раиса Беляева (Гурина)

Миниатюры

В ночь на Пасху

Настал одиннадцатый час Страстной субботы — батюшка отпустил последнего грешника и сложил епитрахиль. Время близилось к началу Всенощной перед Светлым Христовым Воскресением.

Прохладная и тихая апрельская ночь вливалась в храм сквозь открытые двери, но всё равно было душно от огня свечей и людского дыхания. Всё — и ночь, и люди — как бы застыло и замерло в ожидании, но мгновение сосредоточенного покоя нарушило внезапное движение в толпе: сквозь неё пробиралась девушка.

Она не то чтобы расталкивала прихожан, но двигалась до крайности энергично, почти иступлённо, и, чувствуя это движение за спинами, все расступались, пропуская её, глядели на девушку, невольно впадая во искушение.

Взоры притягивала какая-то сила, исходящая от нарушительницы покоя святой ночи, в душах поднимался ропот — как посмела, да ещё в таком виде? Юная, почти подросток, девушка была одета в малинового цвета легинсы, обтягивающие её по-детски тонкие ноги, и какое-то

подобие юбки, скорее полоску трикотажа, едва достигающую бёдер. Распахнутая куртка дорогой, тонко выделанной кожи, открывала ещё более нежную кожу груди. Голова покрыта ярко-бирюзовым шарфом, намотанным наскоро и неряшливо, так что там и сям торчали космы чёрных волос. Повязывая его, девушка явно спешила, её усилия были направлены не столько на красоту драпировок, сколько на то, чтобы по возможности закрыть лицо. Но ей это не удалось — лицо с опущенными глазами сияло из-под низко надвинутой бирюзы. Оно было ещё блее, чем кожа на груди, — мертвенно-бледное, но такое ослепительно-красивое, словно ангелы рисовали его тонкими кисточками.

В одной руке с накладными малиновыми ногтями судорожно зажат пучок самых дорогих, больших восковых свечей — она еле удерживала их, с трудом охватив маленькой ладонью, в другой — растрёпанная пачка денег — сдача с крупной купюры, полученная у свечного прилавка. Красотка протиснулась вперёд к Святой плащанице, и внезапно острый запах водки, исходящий от неё, ударил в ноздри — да она, этот прекрасный и порочный полурёбенок, проститутка, блудница, падшая! И водку в неё вливали только что, оттого и бледна мертвецки, и купюрою, на которую она купила свечи, с нею расплатились минутой тому, — да она едва оторвалась от блуд-

ного ложа, напоенная его мертвящей силою. И сразу рванулась, полетела...

А что Мария Египетская? Когда не была ещё Египетской, а убежала из родительского дома двенадцатилетней в Александрию. И с нею такое было, и она была такой.

Крестный ход пошёл. Торжественно, благоговейно. Животворящий Крест Господень поплыл в чёрном небе, хоругви заискрились золотом, народ дружно зашагал, старушки засеменили по гравию, сереброголосые певчие и все, кто как мог, соединились в едином многоголосии: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Стадо автомобилей на стоянке, затаясь, слушало. Абрикосовые деревья первыми — прямо на глазах — выпускали в темень белый цвет.

Из малороссийских рассказов старинного друга

«Шкрэбэться и шкрэбэться»

В те времена, когда случились эти незамысловатые истории, земля, леса и реки были чистыми, а воздух благоуханным.

На лето городская семья снимала комнатногоренку на краю Дикого Поля — в деревне на реке Мерле, у местной жительницы, пожилой одинокой женщины по имени Наталия Ивановна. Может быть, хозяйка и не была совсем уж в преклонных летах, а только казалась такой семилетнему мальчику. Приезжали они с мамой и бабушкой к Наталии Ивановне несколько лет подряд и так подружились, что зимами писали друг другу письма, а однажды Наталия Ивановна гостила у них, так как ей, за всю жизнь никуда далеко не выезжавшей из своего дома, интересно было посмотреть, как живут люди в большом городе. Была она бездетной вдовой, женщиной полной, тихой и спокойной. По причине одиночества и теплоты сердца держала Наталия Ивановна в доме кошку, мальчик же привёз с собою из города ежа по имени Тимофей.

Вернее сказать, ежа звали Тимофеем Ивановичем (отчества у них с Наталией Ивановной оказались одинаковыми), но никто, кроме мальчика, полным именем к нему не обращался. Зверушку купила на базаре для внука бабушка, ёж был немолод, впрочем, его биография до приоб-

ретения новым владельцам известна не была. Родился он, несомненно, как и все ежи, в каком-то лесу, а в городской квартире проводил большую часть дня под книжным шкафом, для ночлега избрав бабушкины тапочки, чем несказанно пугал её первое время, пока она не привыкла по утрам, прежде чем сунуть ноги в обувку, стряхивать с неё колючий клубок. Больше всего на свете Тимофей Иванович любил прогулки на свежем воздухе и сгущённое молоко.

Однажды утром, когда все проснулись, рассказывает Наталия Ивановна такую историю: «Прокынулася я вночи — кругом тёмно, а в хати щось шкрэбэться. Замокнэ и знову шкрэбэться. Я подумала, що то кишка. Та ни — дывлюся, кишка зи мною, як завжди у ногах лэжыть. А воно знову шкрэбэться и шкрэбэться. Я злякалася, запалыла свичку, дывлюся — а то той Тимохвий! На двир проситься». Все засмеялись над Наталией Ивановной, которую напугал ёжик. И она смеялась больше всех, словно не знала, что ежи — существа ночные, как, впрочем, и кошки. Летней ночью в деревне почувал Тимофей Иванович запах родного простора, может быть, вспомнил детство своё в лесу и стал рваться на волю.

Давно нет на свете ни Наталии Ивановны, ни бабушки с мамой, тем более Тимофея Ивановича и крепко спящей кошки. А я слышу, как звонко смеются женщины, и смотрит на них мальчик с ежом на руках — «и знову шкрэбэться и шкрэбэться».

«Вэлыкый кишмар»

Минуло два-три года — небольшой срок, но это было то время в жизни нашего героя, когда не то что год — каждый день насыщен до краёв чувствами и событиями, будущее прибывает волнами, и одна захлёстывает другую, только поспевай разглядеть и не захлебнуться, — мальчик стал подростком.

На утренней зорьке отправился он удить рыбу на реку Мерлу. Река тихая, спокойная, характером на Наталию Ивановну похожа; левый берег — пологий, песчаный, зарос плакучими ивами, правый — крутой, тёмный, с большими деревьями, убегающими к лесу. И вода такая же: половина реки, под крутизною, чёрная, а та, что освещена первыми лучами, золотистая — солнце только-только выглянуло из-за горизонта. Насадил рыболов наживку на крючок, забросил удочку, стоит на бережке, закатав брючины до колен, глаз с поплавка не сводит. Удочку он сам изготовил из орехового прута, так как заметил, что

на купленную, бамбуковую, местная рыба плохо ловится.

Из-за ивняка, неслышно ступая, появляются два деревенских мальчика, почти одинаковые братья-погодки со стриженными, выгоревшими за лето головками. Подошли осторожно и замерли метрах в десяти позади как вкопанные — наблюдают, как дачник рыбу удит.

От деревни на берег с криком «иди завтракать, простыло всё!» выбегает мама. В это самое мгновение поплавок дёрнулся, и удочка выгнулась дугой под тяжестью большой рыбы. Рыбак подсекает, но как-то нервно, лихорадочно — покой был нарушен, — огромный окунь, блеснув сытым телом и, как показалось, хитрым глазом, срывается с крючка и плюхается обратно в воду.

«Какой кошмар!» — прижав ладони ко рту, испуганно выдыхает виноватая мама.

Молчаливо наблюдавшие сцену и явно довольные её завершением мальчики поворачивают друг к другу светлые головки, и старший, подмигнув, говорит младшему: «Бач, якый вэлыкий кишмар зирвався!»

Друг утверждает, что никогда впоследствии такая большая рыба на его крючок не попадалась. Но словцо «вэлыкий кишмар» с тех пор поселилось в семье, прижилось и стало домашним — так говорили, когда хотели посмеяться над неудачей. Можно сказать, что того окуня он всё же поймал.

Старорежимные люди

Во времена основателя местного университета сад дотягивался до самого Покровского монастыря. Даже должность такую держали — «университетский садовник». Так что, родись Марко Яковлевич столетием ранее, вполне мог трудиться на столь прекрасном поприще. Но ему достался иной удел — он стал монастырским дворником, что тоже, согласитесь, звучит совсем неплохо.

Монастырь был закрыт, в нём не осталось насельников, и в его храмах не служили — большинство зданий было отдано под Исторический музей. Но сохранился Архиерейский дом и другие постройки, в которых нашли пристанище несколько священников с семьями, продолжавших служить в не закрытых городских церквях. Марко же Яковлевич с супругой Оксаной Павловной, как и положено, обитали в дворничьей.

Сразу за входными воротами, над полуподвалом, наверх, в их комнатку, вела лестница из крепких досок, верхний пролёт которой Марко

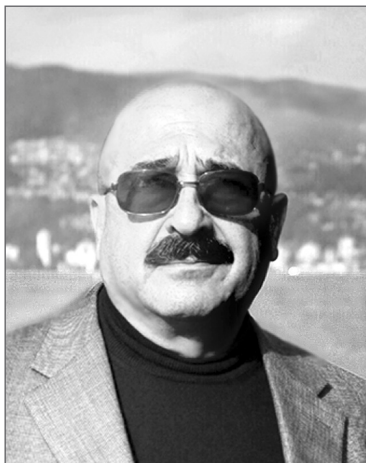
Яковлевич застеклил, образовав перед входом в жилище как бы галерею, служившую заодно кухней — здесь стоял керогаз, на котором Оксана Павловна готовила пищу. И внутри жилища её стараниями всё имело приветливый вид: круглый стол покрыт вязанной собственноручно скатертью, в резном буфете расставлена необходимая посуда, у окошка — супружеская кровать и сундук для одежды, на котором ночью спала приёмная дочь четы — придурковатая Фрося. Из-за недостатка естественного освещения комната не была светлой, зато в красном углу, перед иконами, всегда теплилась лампадка.

Большую часть дня, с раннего утра, в любое время года и при любой погоде Марко Яковлевич проводил на свежем воздухе: мёл подворье или расчищал снег, пилил дрова для отопления помещений, занимался при необходимости мелким ремонтом, чинил, прибивал и окрашивал, вывозил на тачке мусор и хлам. Окончив же утреннюю работу во дворе, выходил из ворот на улицу, мёл и чистил у входа и, опершись на метлу или лопату, приветствовал спешащих на службу сотрудников Исторического музея. Потому что «монастырским дворником» он если и был, то в прошлом; сейчас же числился по штату дворником музейным, перешёл, можно сказать, «по наследству» вместе с монастырём и был, несмотря на мелкость должности, в своём роде фигурой незаменимой и важной.

«Дра-а-стуйтэ!» — произносил Марко Яковлевич любезно и неторопливо, обращаясь к каждому научному сотруднику в отдельности, не делая также исключения и для любознательного мальчика, частенько забегавшего к маме на работу, «дра-а-стуйтэ!» — и не спеша приподнимал в приветствии чёрный суконный картуз. Тишайшая же супруга его Оксана Павловна, как большинство сельских по происхождению женщин, покрывала голову белым платочком.

Откуда они взялись и куда потом подевались — неведомо. Словно вечно жили тут и, может быть, никуда не исчезли. Было им в ту пору, когда их видел мальчик, за пятьдесят. Всё вокруг круто поменялось несколько раз, потому что на тот век выпало две революции и три войны. А они жили да были, были, а не казались — старорежимные люди, обладавшие утраченным ныне даром несуетливого и достойного проживания собственной жизни.

«Что такого произошло, — как бы говорил весь вид Марка Яковлевича, расхаживающего степенной походкой по хозяйству, — чтобы я менялся? А ничего... дребедень одна».



Юрий Милославский — прозаик, поэт, историк литературы. Родился в Харькове. Учился в Харьковском и Мичиганском (Энн-Арбор, США) университетах, где в 1994 году защитил докторскую диссертацию «Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина».

В эмиграции — с 1973 года. Живёт в Нью-Йорке.

В 80-е годы постоянный автор журнала «Континент». Почётный член Айовского Университета (США) по разряду изящной словесности (1989). Член American PEN Center. Автор романа «Укреплённые города» (в России — первоначально в журн. «Дружба Народов», кн. 2, 1992), повести «Лифт» (1993), нескольких циклов рассказов, получивших известность сперва в эмиграции («От шума всадников и стрелков», ARDIS, 1984), а с начала 90-х годов — в России («Скажите, девушки, подружке вашей», ТЕРРА, 1993). Книги рассказов были также опубликованы во французском (1990) и английском переводах (1994, 1997, с предисловием И. А. Бродского). Во второй половине 90-х годов Ю. Г. Милославский — продюсер и ведущий православной русской телевизионной программы для США и Канады (обозрения «Русский Телевизионный Лицей» и «Русские Американцы»).

В 2000-е годы в России опубликованы его книги-исследования о чудотворном мироточивом образе Божией Матери Иверской-Монреальской («Знамение последних времен», 2000) и о православной ветви рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров («Странноприимцы», 2001); воспоминания о И. А. Бродском (2007, 2010); сборник произведений «Возлюбленная Тень» (2011).

Юрий Милославский

Просветимся торжеством: От Пасхи Христовой до Вознесения

Как едешь, не видать Иерусалима, но токмо
за полверсты увидишь.
Арсений Суханов

I

«Никто из живущих в теле не видал воскресения Христова в то мгновение глубокого (т. е. раннего, предрассветного. — Ю.М.) утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству сего действия», — сказано у Святителя Филарета Московского.

«Единственно приличествующим изображением Воскресения является изображение Жен-Мироносиц у Гроба», — много позднее писал в своих заметках замечательный иконописец Русского Зарубежья инок Григорий (Круг).

Пусть так; но на тысячах и тысячах икон, — в том числе и на той, что встречает нас в самой Кувуклии (часовне) над Гробом Господним в Иеру-

салиме, — мы видим Спасителя воскресающего, парящего в сиянии над разверстым гробом, — и как же трудно нам отказаться от этого видимого сияния! В апокрифическом Евангелии Апостола Петра подробно повествуется о Воскресенских чудесах, — уж не со слов ли тех воинов, что были поставлены Синедрионом неусыпно охранять опечатанный вход во гробную пещеру? — «...и когда воины попарно несли караул у входа во гроб, был шум великий с неба; и увидели они небеса открывающимися, и Двоих, кои в великолепии своём сходили оттуда и приближались ко гробу; и камень, преграждающий вход во гробную пещеру, сам собою откатился в сторону; и Двое вступили вовнутрь; и когда воины увидели всё это, то поспешили разбудить центуриона и старейшин, ибо они были в карауле; и как стали рассказывать они, что пришлось им увидеть, тогда узрели Троиц, покидающих гроб; Двое поддерживали Одного, и Крест следовал за ними. Головы Двоих достигали небес, но голова Того, Которого они поддерживали, была выше, скрываясь за небесами...»

Непостижимость Воскресения Христова как события едва ли не от первых же часов и дней по его свершении возбуждает по-человечески понятное стремление хотя бы несовершенно, отчасти, но, если допустимо так выразиться, положительно передать недоведомое, Тайнственное (с ударением на «а» — от Тайнства) содержание Пасхи Христовой.

Петрово Евангелие известно с 175 года по РХ: неизобразимость, собственно, невообразимость Воскресения тревожила христиан II столетия точно так же, как и наших современников, заставляя их предпринимать заранее обречённые на провал попытки твари заглянуть в нетварное. С особенною осторожностью православному следует относиться ко всякого рода исследованиям на тему «смерти Иисуса», поскольку даже в лучших из них — таится прелесть человекобожия, — с уклоном в моральное ли, социальное, историко-культурное.

«Так исчезают мистический смысл и красота Голгофы — этого залога духовного единения человека с Богом — и заменяются восторженной жалостью перед непонятым и напрасно казнённым героем-человеколюбом; кровь и страдания Христа — не утверждение христианства, но гибель, временное крушение дела земного устройства человечества, ради которого и приходил якобы Христос» (проф. В. Л. Комарович. «Юность Достоевского»)

Поэтому как бы ни были важны для православного сознания обстоятельства суда над Господом, Его крестных страданий и самой телесной смерти Его, — всё это может стать внятным только при свете Воскресения Христова, т. е. в каком-то смысле — ретроспективно, как это случилось и с Апостолами.

II

Как следствие не вполне прояснённых «нормальной» (термин Томаса Куна) наукой событий в дальних римских провинциях Южной Сирии, произошедших то ли в 30-м, то ли в 33-м году общеупотребительного летоисчисления, — ход мировой истории совершенно изменился. Эти изменения ощущаются и по сей день; причём буквально с каждой минутой всё острее и острее, всё неотвратимее, — даже в тех районах земного шара, где христианство, т. е. вера во Христа Иисуса, далеко не стала, да и не была никогда, господствующей религией.

Сказанное относится и к самой Палестине, Святой Земле, Отечеству Иисусову; в тех краях из пегого праха, накреньясь, растут развалины; иногда ограждённые стенами и куполами храмов, иногда — непокрытые, потому что храмы, над ними возведённые, сами подверглись разрушению. Это — вехи истории Евангельской.

За полторы–две недели до Своей последней Иерусалимской Пасхи Господь вместе с учени-

ками, после достаточно длительного отсутствия, вновь появился в деревне Вифания на северо-восточном склоне Масличной горы — Елеона. Здесь, в пригороде Иерусалима, Господом был воскрешён «некто Лазарь», брат Марии, — той самой, «которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими» (Ин, 11: 1—2).

Весть об этом сразу же дошла до руководства столичной теократии. В течение двух с половиною лет «книжники и фарисеи, первосвященники и старейшины» с неудовольствием наблюдали за общественным служением «Незаконнорождённого» Назарянина. Вифанские события подтвердили, что без прямого вмешательства — не обойтись.

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит: если оставим его так, то все уверуют в Него, — и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин, 11: 47—50).

Иосиф Каиафа был возведён в сан первосвященника иудейского в 18 году по РХ. На своём посту он пребыл до 36—37 года — едва ли не дольше всех других архиереев в Иродову эпоху. Составитель антологии «Раввинские комментарии к Новому Завету» Сэмюэл Т. Лахс полагает, что подобных успехов был бы в состоянии достичь лишь мастер политической интриги, пользующийся поддержкою римских властей, и — добавим от себя — коллег по теократическому кабинету. Прозвище Каиафы, возможно, восходит к арамейскому «кайиф» — предсказатель. Во всяком случае, Св. Автор четвёртого Евангелия подчёркивает это обстоятельство: первосвященник «предсказал (выделено мною. — Ю.М.), что Иисус умрёт за народ» (Ин, 11: 51).

Для того чтобы приблизиться к пониманию происходившего в те весенние дни в Иерусалиме, нам надобно со вниманием идти вслед за Евангелием, памятуя при этом, что Его священные авторы и первые читатели «были ближе к событиям земного служения Христова и располагали сведениями о древнеиудейском быте, которыми мы уже не располагаем» (еп. Кассиан Безобразов. «Христос и первое христианское поколение»).

Согласно основным разновидностям «нормального научного» подхода, Иисус из Назарета был чем-то вроде предводителя народного бунта против римлян и продажной религиозно-патрицианской верхушки, или пуще того — главаря банды радикалов, попытавшихся захватить Ие-

русалимский Храм, что, разумеется, и привело к трагической развязке. У теорий этого ряда — давняя традиция, восходящая к иудейским полемическим текстам II–III веков.

Иной взгляд на события тех дней компактнее и изящнее всего изложен Блаженнейшим Антонием (Храповицким), некогда митрополитом Харьковским, потом — Киевским и Галицким, основателем Русской Зарубежной Церкви.

«Недальновидные толкователи находят здесь (т. е. в приведённых нами выше евангельских строках о совещании у первосвященника) опасения Синедриона перед римлянами в том смысле, будто последние могли принять начинающееся христианское движение за бунт и окончательно поработить себе иудеев. Но римляне не были так тупы. ... Не того боялся Синедрион, что римляне сочтут христиан за революционеров, а боялся обратного, что под влиянием Спасителя народ совершенно охладит к революционному направлению. Их именно тревожила умножающаяся вера в Христа».

Приснопамятный Владыка Антоний ссылается на строки из Евангелия от Иоанна, повествующие, как противники Иисуса, уже после триумфального входа Назарянина в Иерусалим — на праздник Пасхи, говорили: «видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним». — «В чём они не успевали? — задаётся вопросом митр. Антоний. — Очевидно, в попытках остановить чествование грядущего Господа и в подготовке народного восстания».

Со своей стороны, один из крупнейших авторитетов в области новозаветных текстов, ученик Мартина Бубера, профессор Иерусалимского университета, традиционно-верующий иудей Давид Флюссер, который, как нетрудно догадаться, был весьма далёк от всего того, что составляло главное для митрополита Антония, — в своих трудах всегда скептически отзывался о «попытках превратить Иисуса в Че Гевару». «Но, — печально резюмирует проф. Флюссер, — в нашу эпоху упрощений мнение о том, что Иисус был бойцом за народную свободу, принимается достаточно легко: быть может, потому, что нам всё труднее и труднее понять мотивы, которыми Он руководствовался».

Действительно, за всё время земного служения Иисуса Его деятельность ни разу не привлекала к себе внимания римских властей, даже до самых последних дней, т. е. до торжественного Входа в Иерусалим, когда, по словам евангелиста Луки, «потрясаясь весь град». Это означает, что никакой «революционной группы во главе с

Пророком из Галилеи» не существовало. Более того. Восстание против Рима исподволь подготавливалось именно в Иерусалиме, в окружении «книжников и фарисеев». Теократический кабинет был встревожен не тем, что проповедь Иисуса повредит его взаимоотношениям с Римом, а чем-то совсем иным. Местная теократическая власть могла заинтересоваться Пророком из Галилеи несколько раньше, чем сочла нужным уведомить о Нём власть римскую.

Здесь мы касаемся сложной проблематики виновности — или невинности — Спасителя с точки зрения Его противников. Нет нужды лишний раз касаться тех обвинений, которые были Ему предъявлены. Все они ложны. Также нет необходимости перечислять те вопиющие нарушения ветхозаветного права, которые были допущены в ходе суда над Ним; всё, что происходило на ночном судилище, было незаконным от начала и до конца, — этой теме посвящено немало серьёзных исследований. «Юридическая защита человека, преступившего закон, была настолько действенна и сильна, что было очень затруднительно приговорить кого-либо к смертной казни», — замечает проф. Фокс (Jesus, Pilate and Paul, a Modern Interpretation).

Но Он был приговорён. За что же, на самом-то деле?

В чём был виновен Невинный?

Исчерпывающий ответ на наш вопрос мы находим в полемическом антихристианском сборнике, озаглавленном «Сей Завет. Критические замечания на Новый Завет, извлечённые из древней и новой словесности Израилевой», вышедшем более полувека назад малым тиражом в Иерусалиме (составитель — некто Иаков Цуришадай). В соответствующем месте этого любопытного пособия вскользь, через запятую, как о чём-то вполне общеизвестном, поминается: «...ведь вся концепция христианства — это не что иное, как попытка невежественной черни взбунтоваться против учеников мудрецов».

Здесь, надо думать, и находится разгадка: ко времени проповеди Христовой народ Израильский разделён на упомянутых «учеников мудрецов» и на «людей от земли», т. е. необразованных мужиков, плебс.

Такое своеобразное «сословное разделение» лежало в основе ветхозаветного социума, в том виде, в каком застал его пришедший Христос. Власть «учеников мудрецов», т. е. хранителей и толкователей Закона, была абсолютной. Отступникам и смутьянам грозила смерть. Со времени утраты независимости Иудейского Царства

карательные функции брала на себя внешняя административная сила, которая рано или поздно, но обязательно принимала сторону глав («директората») общины; в интересующую нас эпоху этой внешней силою были римляне. Им казалось предпочтительнее не вмешиваться без нужды во внутренние дела покорённых народов, а осуществлять необходимый контроль, взимать подати и проч. при посредстве традиционной элиты, каковой, натурально, предоставлялась вся необходимая поддержка. (Строжайшее предписание уважать местные обычаи получил от императора Римского Понтий Пилат, у которого конфликты с теократическим кабинетом в Иерусалиме начались чуть ли не с самого начала его службы в Иудее. Императорский выговор был ему дан сравнительно незадолго до того дня, когда к нему был препровождён задержанный Спаситель мира.)

Итак, Плотник из Галилеи ударил в ту самую точку, где сходились интересы враждовавших между собою теократических властителей; кабинет и вправду счёл Иисуса повстанцем. Только, разумеется, не против римлян, и даже не против данной иерархии персонально, — но против главного, а именно «преданий старцев», на которых эта иерархия и основывала свою власть как таковую. Проповедь Христова и сам каждодневный ход Его земной жизни отвергали правомерность существования олигархии «учеников мудрецов». — Поэтому кабинет причислил Галилеянина к самой опасной категории лиц, в отношении которых «предания старцев» предписывали искоренение.

«Нет никаких оснований, кроме бессмысленной и излишней апологетики, сомневаться, что первосвященник и всё его окружение были заинтересованы в устранении Иисуса», — утверждает Давид Флюссер. А поскольку решение «устранить» было окончательным, в этом ключе и следует рассматривать всё произошедшее в дни той Пасхи во Святом Граде Иерусалиме: арест, допрос, мучения, издевательства, суд, казнь.

III

Судьба Галилеянина была решена. И поэтому мы сознательно не касаемся здесь роли Иуды, «человека из Кириафа», или, если верно иное прочтение, «посадского человека» — единственного уроженца Иудеи среди ближайших учеников Иисусовых. Широко разрекламированная недавняя публикация давно и хорошо известного гностического текста «евангелия от Иуды», в сущности, ничего не

прибавляет к тому, что мы знаем о несчастном самоубийце, который — и это важно — так и не довёл отведённую ему роль до конца, в чём бы эта роль ни заключалась. Уже упомянутый нами приснопамятный митр. Антоний (Храповицкий) считал, что Иуда должен был стать обязательным в ветхозаветной судебной практике официальным и явным обличителем Господа, каковой в присутствии народа «налагает руку» на обвиняемого им в преступлении против древнего закона. Иуда, однако, осмелился только поцеловать Учителя (Мф, 26: 49). Руки на Иисуса возложили «другие» (Мф, 26: 50). При таком понимании произошедшего становится ясен вопрос Спасителя, обращённый к «посадскому человеку»: «Друг, для чего ты пришел?» (Мф, 26: 50).

Другие исследователи, опираясь на талмудические, т. е. более поздние, тексты, усваивают Иуде роль так называемого «тайного преследователя» — т. е. что-то вроде соглядатая-провокатора, приставленного Синедрионом к Иисусу.

Но, повторяем, какова бы ни была эта роль, её апогеем должны были, по всей вероятности, стать не просто «указание» на Господа пришедшим за Ним воинам, и даже не «наложение рук» (официальное обличение), но дача свидетельских обвинительных показаний на суде Синедриона. Именно этого Иуда не сделал. И достойно внимания, что никто из чинов в окружении первосвященника и не старался его убедить, «успокоить» впавшего в чёрное безысходное отчаяние Иуду, вынудить его довести дело до конца.

Мы слышим предателя, говорящего членам Синедриона:

— Согрешил я, предав Кровь невинную...

Но никто более не обращает внимания на нерадивого «обличителя» или «тайного преследователя»:

— Что нам до того? Смотри сам, — едва удостоивают его равнодушным ответом (Мф, 27: 4).

В нём нет более нужды; он не нужен начальству. В противном случае его, конечно, попытались бы привести в надлежащий вид. Но он своё, видать, отработал.

VI

В Русском саду в Гефсимании, неподалёку от храма Св. Марии Магдалины, на западном склоне горы Елеонской, видны выбитые в кремнистой породе ступени, ведущие со склона на Вифанскую дорогу. У исхода этих ступеней Спаситель был взят под стражу.

Дальше всё пошло быстро: вниз, вниз по Иосафатовой долине, через кладки, переброшенные над потоком Кедрон; и, обойдя, надо полагать,

стороною Храм Иерусалимский, вдоль городских стен, так что гора Сион осталась по правую руку, Иисуса ввели в ворота дома, где обитал престарелый глава первосвященнического клана Ханан (Анна славянского Евангелия), зять Каиафы. Палаты самого первосвященника были в минуте ходьбы. Немедленно поутру конвой доставил Осуждённого во временную резиденцию римского наместника.

В 1961 году итальянские археологи во главе с проф. Антонио Фрова вели раскопки античного театра в Кейсариин Палестинской. На лестничном входе в театр обнаружилась стела: камень с выбитой надписью:

Caesarianis Tiberinum
Pontius Pilatus
Prefectus Iudaeae
dedit*

Префект (мы привыкли титуловать его «прокуратором», но весьма вероятно, что родоначальник Церковной истории Евсевий ошибался, — и Пилат Понтийский был военным, а не гражданским правителем края; гражданский правитель и означало «прокуратор»), — префект старался как мог, но его преследовали постоянные неудачи. Он был порывист, но слаб характером; и, как все слабые люди, поставленные у власти, упрям до жестокости, непоследователен в своих решениях, часто бросаясь из одной крайности в другую. Для успешной административной деятельности ему не хватало хладнокровия — и потому все его благие начинания, имевшие в виду пользу подведомственной ему области, а также пользу государственную, почти непременно завершались неудачами. Впрочем, служить в Иудее и ладить с местной верхушкой было необычайно трудно; Пилат Понтийский был «гордый, упрямый и горячий молодой аристократ, младенец по хитрости в сравнении с Каиафой, который всегда умел обвести его вокруг пальца, и тогда Пилату поневоле приходилось смиряться» (R. Browning. Who is Who in The New Testament).

Такова историческая реальность. В ней не находится места для пожилого римского воина, исполненного печальной цинической мудрости, каким игемон предстаёт перед нами со страниц множества романов и живописных полотен. В Евангелиях же Понтий Пилат — опрометчив, недальновиден, почти не умён.

Европейская культурная традиция, направленная на «оправдание Пилата», мешает нам верно понять слова Священного Писания и Свя-

щенного Предания, нашедшего своё воплощение в богослужебных текстах. Мы с лёгкостью допускаем, что Пилат всем сердцем на стороне Узника, но не решается спасти Его от рук злодеев — под давлением обстоятельств, под влиянием робости и нерешительности, страха за собственную шкуру. Действительно, Пилату было чего опасаться: он лишился своего мощного покровителя в Риме, а император, как мы уже упоминали, был им недоволен. Но при достаточно внимательном чтении Страстных Евангелий, по мере возможного удерживая в поле зрения историческую подоплёку интересующей нас эпохи, поневоле приходишь к выводу, что игемон, вопреки собственным словам, не столько пытается спасти Назарянина, сколько ведёт какую-то административно-дипломатическую интригу со своими давними соперниками — «первосвященниками и старейшинами». Результат этих стараний Пилата был, как всегда, предрежён.

Главным аргументом в пользу такого допущения становится чрезвычайная поспешность, торопливость, с которой наместник «пропускает» подsunутое ему дело Иисуса, «называемого царём Иудейским». Мы видим, что недруги Христовы, внезапно отменив своё прежде принятое решение — не трогать Назарянина в праздник, «дабы не вызвать возмущения в народе», почитающем Иисуса пророком, хватают Его под самую Пасху Иудейскую, проводят экстренные ночные заседания членов верховного Трибунала и чуть ли не с рассветом доставляют Приговорённого к уполномоченному римских властей, требуя от него немедленно утвердить приговор. А специально прибывший из Кесарии в Иерусалим на праздники Пилат не проявляет никакого выраженного желания разобраться в совершенно незнакомом ему деле, не просит разыскать и заслушать дополнительных свидетелей, а мгновенно включается в эту лихорадочную гонку. Он, впрочем, пытается передать дело Галилеянина на рассмотрение тетрарха Галилеи, который также прибыл на Пасху в Иерусалим. В результате выигрывается несколько часов. Ни одно из гласных обвинений, высказанных в адрес Иисуса, не предусматривает не только смертной казни, но и тюремного заключения. Через тридцать с лишним лет после Распятия и Воскресения, за четыре года до начала Иудейской войны, «в праздник Кушцей стал во дворе Храма человек по имени Иешуа бен-Хананья и принялся пророчествовать о разрушении Иерусалима и Храма, — повествует

*Кесарийцам Тивериум (т. е. театр, посвящённый Тиверию) даровал Понтийский Пилат Префект Иудеи.

Иосиф Флавий. — Главы народа передали его в руки Альбина, наместника Римского, который, однако, освободил его, веля его сперва бичевать, не добившись от него осмысленных речей».

«Даже если бы Иисус в ходе допроса однозначно заявил Пилату: Да, ты прав, Я и есть Царь Иудейский! — разве на основании одного такого высказывания Пилат обязан был немедленно согласиться с необходимостью казнить Этого Человека, не попытавшись взвесить, насколько Он опасен для правопорядка в данной провинции?» — задаётся вопросом профессор Флюссер.

«Первосвященники» спешат; спешит префект-прокуратор — но с какою целью?

Подгонял Пилата «известный узник» Варавва, посаженный в тюрьму за «возмущение и убийство» (Лк, 23: 19) — т. е. революционер-боек. Поразительна сама кличка этого человека: Варавва, точнее, Бар-Аба, что по-арамейски означает «сын отца». Это словно отсутствие имени, подчёркивание анонимности. Налицо в некотором роде парность: ведь Иисус обвинялся ещё и в том, что допускал именовать Себя Сыном Отца Небесного. В некоторых древних списках Евангелия от Матфея приводится не только прозвище, но и имя Вараввы: его звали Иисус.

Быть может, на удачный, как предполагалось, тактический ход правителя натолкнуло именно сходство имён Иисуса «Сына отца» и Иисуса Сына Отца Небесного. Варавву за его преступления ожидала смерть. Но привести приговор в исполнение Пилат не решался, так как эта казнь могла привести к малоприятным волнениям в Иерусалиме, и без того достаточно взбудораженном. Теперь ему представилась исключительная возможность получить от местного населения санкцию на казнь Вараввы. Вниманием толпы завладел новый герой — Пророк из Назарета, Которого непременно следует предъявить народу в паре с убийцей-революционером. Нет сомнения, что из этих двух потребуют отпустить на свободу Галилейского Целителя, чья популярность принесла Ему прозвание Царя...

Однако «первосвященники и старейшины», проведя всю необходимую подготовку, с лёгкостью рассчитали партию на несколько ходов вперёд. Они незамедлительно доставили к римлянину Узника, прекрасно понимая, что после Пасхи Пилату будет некуда торопиться.

Далее нам остаётся непредвзято читать евангельские страницы. Мы видим, как Пилат готовно соглашается признать Иисуса государственным преступником, чьи деяния в принципе могут караться смертью: ведь Галилеянина необ-

ходимо было уравнивать с Вараввою. Прокуратор сперва даже не проявляет интереса к подробностям обвинения — и лишь затем, видя, что он опять обманут, обведён вокруг пальца, «теряет лицо», — кричит, спорит, убеждает. Но — уже поздно.

— Царя ли вашего распну?! — предпринимает он последнюю попытку.

— Нет у нас Царя, кроме кесаря! — отвечают ему.

Ловушка захлопнулась.

V

...Почти сто тридцать лет тому назад начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Антонин Капустин по просьбе Императорского Православного Палестинского общества купил участок земли поблизости от Храма Живоносного Гроба Господня; здесь предполагали выстроить здание Российского консульства. Но при расчистке места натолкнулись на тёсаные камни. Арх. Антонин, археолог и востоковед, приступил к раскопкам. Вскоре между двумя остатками массивной городской стены, которая в евангельские времена располагалась значительно восточнее, нежели теперь, обнаружился порог Судных Врат Иерусалима: возле них осуждённый выслушивал окончательный приговор; затем он выводился за пределы города и оказывался в предместье Гарев — Долине Мёртвых. Порог оставался позади. Сегодня он под стеклом, которое снимается в Страстной четверг, — истёртый, почти сведённый на нет подошвами и ободьями колёс, со следами выбоин для воротинных петель. От него до Голгофы — рукой подать.

VI

Последнее явление Воскресшего Христа ученикам на горе Елеонской завершилось видимым восхождением Господа к Отцу: Вознесением.

Вознесение явилось высшею, или, по словам знатока новозаветной истории еп. Кассиана (Безобразова), — предельною точкою земного служения Христова.

Начиная с переломного для истории нашего мира Воскресенского рубежа, евангельские события зримо обнаруживает свою связь с миром иным: мужи, «в ризах блестящихся», — либо, как у Апостола Матфея, ангел, чей «зрак яко молния и одеяние его бело яко снег», — обращаясь к пришедшим ко Гробу, говорят напрямую: «Что ищите Живаго с мертвыми? несть zde, но воста» (Лк, 24: 5—6).

Нет Его здесь. Не ищите Его среди мёртвых. А всё здешнее, рукотворное, постылое, хлипкое, вроде «камни запечатана от иудей» и возглавляемой центурионом-«контрактником» хорошо вооружённой «кустодии», которой была поручена охрана «камня запечатана» — всё это безсильно отлетает в сторону, обваливается, теряя истлевшие подпорки, обнаруживает свою неспособность удержать не только Божие, но и самую себя.

Однако происходящее остаётся покамест в пределах земного, т. е. тварного, времени и пространства и потому только может быть увидено человеческими глазами. Катехизис, останавливаясь на шестом члене Символа Веры («...и возшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца»), в пояснение предлагает нам следующую пару «вопрос-ответ»:

— Божеством или человечеством Иисус Христос вззошел на небеса?

— Человечеством; а Божеством Он всегда пребывал и пребывает на небесах. (Привожу по 43-му изд. Пространного Христианского Катехизиса, Москва, 1848.)

О дате Вознесения мы можем судить только из указания в книге Деяний св. Апостолов (1: 3), где недвусмысленно говорится о пребывании Христа с учениками в продолжении сорока дней по Воскресении. А затем, «еже о нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознесся еси во славе» (кондак праздника), — вознёсся «егда благословляюще» (Лк, 24: 51), — т. е. благословение длится, оно не прерывается Вознесением. Святитель Филарет Московский поясняет это указание Евангелиста Луки, утверждая, что «Господь не хочет прекратить Своего благословения, но продолжает без конца благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него».

Предельно сжатый рассказ Третьего Евангелия (24: 50—51) может быть воспринят как свидетельство того, что будто бы Господь вознёсся едва ли не на вторые сутки по Воскресении. Лишь присмотрясь повнимательнее ко всему тому, что в евангельских повествованиях относится к происходящему после Воскресения Христова, начинаешь понимать, что Благовествующие делают особенный упор на признаки поколебленного, «сотрясённого» пространственно-временного уровня — во всём том, что касается лицезрения Воскресшего Господа, приходящего к ученикам — откуда? не знаем.

«Воскресший Спаситель был видим только тогда, когда являлся апостолам. Где и как проводил Он прочее время, неизвестно. Но очевид-

но, что земля уже не могла быть жилищем для Него», — замечает свят. Иннокентий Херсонский. В этом высказывании логическое ударение следует сосредоточить на словосочетании прочее время, — ибо нет уже какого-то «одного» времени, «равномерно текущего во всех головах» (Шопенгауэр), ибо вот уже и само время показало обычно скрытую от наблюдателя тварного — свою тварную же природу; об этом-то и сказано у Тайнозрителя: «Времени больше не будет».

Сорок дней пребывал Господь с учениками по Своему Воскресении, — но сколько это? В известном сборнике гностических текстов, повествующих о таинственном учении, будто бы преподанном Иисусом после Воскресения, — так называемом «Пистис София», — говорится о двенадцатилетнем пребывании Спасителя с избранными учениками — вот какими долгими показались эти сорок дней.

И во все эти дни главным местом встреч оставалась гора Елеонская.

Усвоенные Церковью тексты Писания (вместе с апокрифическими) согласно признают за Елеонской горой значимость не только (и не столько) «географическую», но промыслительную. Гора Елеонская (т. е. Масличная) оказалась излюбленным местопребыванием Христа не по одному тому, что климат её напоминал Спасителю благодетельную Галилею и позволял отдохнуть от раскалённого праха иерусалимских улиц.

«Гора Елеон — одно из самых святых мест на Земле», — такова первая фраза юбилейного альбома, выпущенного в 1986 году, к столетию со дня освящения русского Спасо-Вознесенского храма, возведённого усилиями приснопамятного архимандрита Антонина (Капустина) — основателя русского церковно-паломнического присутствия в Палестине.

И гора Елеонская источает накопленную за тысячелетия святость, которой достанет на каждого взыскующего, — из тех, кого, подобно автору этих строк, «судьбы скрещенья» не раз приводили к зелёной калитке богоспасаемой обители, отворяемой, по благословению матушки игуменьи, слепым палестинцем Мустафой — потомственным монастырским привратником.

«С востока, слева от наблюдателя, вззошедшего [на Елеон] тени диких гор встают, как бы подёрнутые снегом, по причине известковых полос, которыми они испещрены», — читаем мы в заметках русского учёного-гебраиста, героя Отечественной войны 1812 года Авраама Сергеевича Норова. — На юго-востоке — та же дикость,

но ряды гор, из которых обозначается вершина горы Искушения [или Сблазна; здесь во времена Соломона совершались жертвоприношения], прерваны внезапно пустынею... На правой же стороне, за глубоким оврагом... представляется Иерусалим».

Отсюда беседующий с учениками Господь смотрел на выстеленную щербатым, чешуйчатым золотом кровлю Храма Иерусалимского.

На постоянно подновляемой духовной картине, писанной на дереве в алтаре Патриаршей церкви во имя св. равноап. Константина и Елены в обители братства Святого Гроба Господня в Иерусалиме, — Распятый Господь изображён обращённым Ликом в сторону горы Елеонской, так что и Гефсимания, и грядущее место Вознесения находятся в поле Его зрения. — «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою [Елеонскою], которая на восток от города» (Иез, 11: 23).

Но внимательный А. С. Норов пишет: «Рассматривая следы стоп Иисуса Христа, оставленные им в природной скале горы Элеонской (об этом — чуть дальше. — Ю. М.), первохристиане пришли к убеждению, что Господь возносился Ликом к северу, — в соответствии с повествованием св. Евангелиста Луки, где сказано, что Вознесение Искушителя последовало со стороны Вифании», — следовательно, Спаситель поднимался от земли к Отцу отворотясь от Иерусалима.

«След» Христов, по преданию оставленной им на Елеоне, — «вдавленный в твёрдом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты» (Гоголь в письме к Жуковскому), — след этот окружали некогда стены храма с открытым куполом, так что богомольцы могли увидеть над собою то самое небо, куда вознёсся Господь.

Вознесенский храм, — диаметром двадцать восемь метров, с двойным портиком на трех рядах колонн, — главный из двух дюжин церквей, поставленных на Елеоне наследниками святой царицы Елены, — был впоследствии разрушен. Ко времени прибытия в Палестину А. С. Норова

«камень Вознесения» скрыла собою «мусульманская часовня». Эта нехитрая постройка, называемая «Стопкой» или «Стопочкой», существует и по сей день. А рядом со «Стопочкой», стена в стену, находится русский Спасо-Вознесенский женский монастырь, о котором мы только что упомянули. Без основателя этого монастыря, неумоимого о. архимандрита Антонина (Капустина), никакого «русского присутствия» на Св. Земле не получилось бы вовсе и не встречала бы издалека паломников Елеонская колокольня, прозванная «русской свечой».

Архимандрит Антонин ещё прежде постройки храма и колокольни заложил здание странноприимницы, чтобы российским паломникам, побывавшим у «Стопочки» и у гробницы Лазаря Четверодневного в Вифании, было где передохнуть. В Елеонской обители сохранились до сих пор многоведерные самовары, из которых потчевал чаем утомлённых рабов Божиих верный помощник и друг о. архимандрита — игумен Парфений (Нарциссов), превративший русский участок на Елеоне в необычайной красоты и изящества сад, — а лучше сказать, парк, где в кипарисовую рощу втекает масличная аллея.

«Кончилась Вознесенская всенощная в русском храме... С высокой Елеонской колокольни нёсся радостный, стройный, красный звон, а сама колокольня, украшенная лампадами, блистала разноцветными огнями; залитая светом, она представляла собой живой волшебный факел, далеко разгоняющий тихий мрак святой Елеонской ночи» (О. Павел Кусмарцев. Светлый праздник Вознесения Господня на св. Елеонской горе. Иерусалим, 1911).

Описаний прекрасного вида, открывающегося — до самого Мёртвого моря — с верхней площадки «русской свечи», известно великое множество. Но в Вознесенскую ночь хорошо поглядеть на Елеонскую колокольню — снизу вверх, ибо тогда она — словно начало дороги в горная, безконечного пути вослед за Вознесшимся Христом.

— Ей, граду скоро! аминь.

— Ей, гради, Господи Иисусе! (Откр, 22: 20)



Герман Владимирович Титов — литератор, архитектор, культуролог. Родился в самом конце Советской эпохи в г. Сумы, на Украине. С 1983 года живёт и работает в Харькове. Автор ряда реализованных архитектурных проектов в Харьковской, Сумской областях и Киеве (церкви, станции метро, магазины, кафе и т.д.).

С 1988 года выпускал самиздатовские сборники стихов.

С 2000 года — публикации в журналах и альманахах «Левада», «Крещатику», «Союз Писателей», «Номо Legens», «Каштановый Дом», «Аврора», «ЛАВА» и др.

В 2006 году в издательстве «Эксклюзив» вышел сборник стихов «Цветная Тень».

В 2011 — «Сны и Дали».

В 2012 году в издательстве «Точка» вышел новый сборник стихов «Янтарная Почта».

Лауреат Харьковской муниципальной поэтической премии им. Б. А. Чичибабина за 2012 год.

В настоящее время — главный редактор Харьковского журнала поэзии «ЛАВА».

Герман Титов

Четыре храма

Благовещенский собор

Над переулков тьмой пристенной,
Где пыль и трёх столетий сор,
Громадой пёстрой и священной
Встал Благовещенский собор.

От центра повернёшь направо,
И под горой, невдалеке,
Ждёт каменный сюжет в оправе
Туч, повторившихся в реке.

Не брезгуя соседством рынка,
Где изобильна суета,
Небес молочных полной крынкой
Он жажду утолит всегда.

Слагая свещный жар в приделе,
В лучах плывёт бетонный кров
И вязь коринфских капителей
Мерцает по углам столпов,

Сухие лики чудотворцев,
Блаженных рак златой оков,
Орнаменты иконоборцев
И фрески рубежа веков.

Могольской Агры сень резная,
Славянской готики заря,
Блик, размывающий по краю
Каррарский мрамор алтаря.

За красной тканью, в век распада,
Дни, словно семечки в куле,
Ссыпались. Был конюшной, складом,
Но, Божьей волей, уцелел.

Благовествует колокольной
Имперской Византии перст.
Здесь, после всякой драмы дольной,
На место возвращался крест.

И горевать уже не нужно,
Всё будет только так и впредь:
Собор стоит на вечной службе,
Где смертным — ввек не умереть.

Начала и Престолы ближе,
И тьма сползает вниз чехлом,
Когда митрополит недвижно
На ветхом коврике с орлом

Стоит, и всё прозрачней дали,
И прихожане видят свет
Любви, в которой нет печали,
Ни убыли, ни боли нет.

Озерянская церковь на Холодной горе

На семи продувных ветрах,
На кону Холодной горы
Монастырской церкви сестра,
Хорошая без мишуры,

Как исконный кирпичный лад,
Дивный клад небесных даров
В византийском строе аркад
Над листвой окрестных дворов,

Там, где спину горбил амбар,
И крестьян сыпалось зерно —
Невечернего света дар
Сберегает. Знаешь, давно

Озерянской иконы шлях
Отмечал часовни предел,
Прорастая в тех тропарях
Чудесами выпрених дел.

А теперь из центра, сквозь даль
Всех дорог истёртых и лет,
В зной и холод виден всегда
Литургический силуэт,

Третий Рим губернских затей,
Александра Третьего сон,
Форэскиз столичных идей,
Воплощённый в камне закон

Благодати и высоты,
Сопричастья Божьей любви,
Где обрящешь радостно ты
Всё, что просто благословит

Непритворный подлинный смысл:
Не преткнётся сердца стопа.
Полукруглой апсиды мыс
И четыре мощных столпа,

Архаичной кладки декор,
Колокольни ярусный строй
И сейчас утешают взор
Воплощённых истин игрой

И молитвенной правдой лет.
Так весна цветёт по дворам.
Благодатной иконы свет
В небесах хранит этот храм.

Покровский собор

Сомкнул моллюск глубинной жизни створки,
Но возрастает жемчуг в тесноте.
Должно быть, так, на невысокой горке,
Казацкий храм в узорной простоте

Как очевидность преподносит чудо
Работы Духа в тусклой толще лет,
Бессмертия священные сосуды,
Небес и тверди каменный завет.

Давным-давно над лебедой оврага,
Среди чащоб разбойных и глухих
Монахи поселились, и отвага
Молитвенная — охраняла их.

Из длинных кирпичей, сменивших доски,
Отстроен был и освящён с тех пор
Седым митрополитом Белгородским
Аврамием — для города собор.

Когда и как — уже забылось это —
На двадцать три сажени встал легко
Покровский храм, трёхчастным силуэтом
Касаясь слобожанских облаков.

По граням стен ветвился ввысь орнамент
Карнизов, ниш в гризайле фонарей,
И арабесок в простодушной раме
Соединённых ритмом галерей.

И колокольни башня крепостная
Излучину реки и пыль дорог
Оберегала, поимённо зная
Торговый глинобитный городок.

Но шли века, вослед возам к разгрузке,
И расцветал сей город, как сады
Коллегиума при Бурсацком спуске,
Силлабикой его Сковороды.

И время суетливое не властно
С тех пор, как возглашают ектенью
И голуби курлычут доброгласно
На монастырском дворике, в краю,

Где для души условны все границы,
Где бьётся сердце харьковских дворов,
И небо домотканое струится
Как чистый Богородицын Покров.

Трёхсвятительская («Гольберговская») церковь

У городских легенд особый тон,
К бессмертью путь смутительный,
но быстрый.

И если что от нас оставит он,
То — сплетен след, но в неземном регистре.

Об этой церкви розно говорят
Писатели, отцы и краеведы,
Но аркбутанов и карнизов ряд —
Славянофильства зримая победа

Среди смятенных дворигов, дверей
Некрашенных, одноэтажных арок,
Пристроек, переулков, пустырей,
Сараев дровяных (и их ремарок),

Простого и мещанского жилья,
Зайковского и быта и фольклора,
Как на ручье весною полынья,
Как вдохновенья ангельские хоры,

Любви небесной и любви земной
От века неожиданная встреча.
И сердце вдруг замрёт над глубиной,
Какве легенды не противореча.

Историк мог бы здесь упомянуть
Еврейскую семью, её крещение,
Духовную, но явленную суть
Купца благочестивого решенья

Воздвигнуть на участке новый храм,
Что Гольберговским и зовут доныне.
Он светится и нам — по вечерам,
Как сказка о жене и благостыне,

О том, что только смертному дано
Одoleвать закон исчезновенья.
Мы многого желаем, но одно
Возводит купола среди забвенья.

Бесстолпный свод художник расписал,
Соединив модерн и дух преданья,
И васнецовских ангелов глаза
Всегда ясны на фресках мирозданья.

И просто целый мир благословить,
Когда судьба вот так исповедима:
Ничто не выше подлинной любви,
И солнце на крестах — неугасимо.



Маргарита Станиславовна Сосницкая родилась в Луганской области в с. Рудовка. В 1985 г. закончила Литинститут. самиздатом выпустила три поэтических сборника («Опиум отечества», «Поэзия», «Молоко Жарь-птицы»); романы «София и жизнь» и «Чётки фортуны» (АСТ Астрель, Москва, 2003 и 2008), сборники «Записки на обочине», «Трава под снегом» и Книга Притч («Совпис» 2002, 2008, Москва). Сборник статей и переводов «Язык - свидетель» вышел по-итальянски, изд. «Арахна», Рим, 2011. Статьи, эссе, рассказы, поэтические подборки, сказки появлялись на страницах различных газет, журналов, альманахов («Слово», «Наш современник», «Москва», «Постскриптум», «Дон», «Мрія», «Тамыр», «Южная звезда» «Юности», «Крылья», «Философия хозяйства», «Наше поколение», «Бийский вестник», а также в сети Интернета, где опубликован сборник поэзии хайку «Стихи на веере», «Сказка о Коте Рыболове и его волшебной удочке» и др. Член Союза писателей России с 1996 г.

Маргарита Сосницкая

Пляшу на бубне с бубенцами,
Босыми пятками чеканю ритм –
Над головой моей цунами
Воздушное закручивается в вихрь.

Тех унеси, моё цунами,
В бездонный космос, как домой,
Кто бредит лучшими мирами,
А нам оставь наш рай земной.

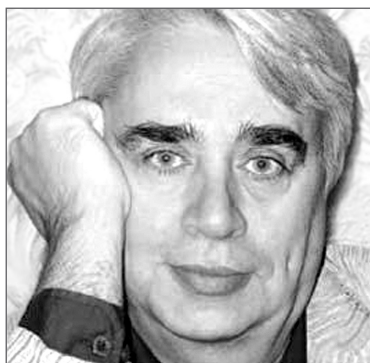
Пляшу, и расцветают розы,
Планета наша — чудный сад,
Нам не нужны чужие звёзды
И на земле не нужен ад.

Мы пляшем!
Бубны с бубенцами
Гимн жизни под луной гремят
И кружит в танце вместе с нами
Земля — Вселенной дивный сад.

2011

Принцесса Вселенная

Вытку из звёзд бриллиантовые эдельвейсы,
Воткну в венок кос, стану звёздной принцессой.
По щиколотку мне океан, по колено Монблан,
Из закатов рубиново-аметистовое ожерелье —
Пусть сама Жарь-птица тягается со мной опереньем.
Имя моё — Вселенная, неспешная, с виду ленная,
Глаза мои — водоёмы и росы синие,
А сердце моё нетленное — Русь, Россия.



Борис Тимофеевич Евсеев родился в 1951 году, в Херсоне, в семье интеллигентов. В советское время, в связи с выступлениями в защиту свободы слова, в официальную печать не допускался.

В 1978 г. в Самиздате вышел двухтомник ранних произведений Евсеева.

С 1991 г. постоянно публикуется в ведущих литературных журналах.

Автор нескольких сборников стихов, а также книг прозы: «Баран» (2001), «Отрепённые гимны» (2003), «Власть собачья» (2003), «Русские композиторы» (с 2002 по 2010 г. переизд. ежегодно), «Узкая лента жизни» (2005), «Романчик» (2005), «Площадь Революции» (2007), «Чайковский» (2008), «Живорез» (2008), «Лавка нищих» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный рок» (2011). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (за роман «Евстигней», 2012), Бунинской и Горьковской литературных премий; премии «Венец», Национальной Артистической (1996, 2002), «Нового журнала» (США), журналов «Октябрь», «Литературная учёба», финалист «Русского Букера», «Большой книги» и др. Проза и эссе Евсеева переводились и публиковались на английском, голландском, итальянском, испанском, китайском, немецком, польском, португальском, японском и других языках. Член Исполкома Русского ПЕН-центра, член Союза российских писателей и Союза писателей Москвы. В настоящее время — профессор Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ).

Борис Евсеев

Главы из романа «Пламенеющий воздух»

Про подростка Петрова

Трифон Усынин готовил себя к новой народной акции. Но вдруг подготовку приостановил. Поводом послужило вот что. Одна из местных оппозиционных газет пропечатала:

«Охранники с фермы “Русская Долли” в пылу охоты за разбежавшимися по дворам овцами — а возможно, просто по неосторожности — пристукнули подростка Петрова».

Сообщение называлось «Хищная “Долли”», было кратким и невразумительным. Особенно возмутило Усынина слово «пристукнули».

Трифон Петрович затребовал подробностей. И вскоре узнал их.

Подростка Рому действительно задела кованым ботинком по голове. Может, случайно, а может, намеренно. Некоторое время Рома Петров был жив, но потом — так и не сумев в собственном палисаде подняться на ноги и вызвать само себе «скорую» — умер.

Подростка Петрова — худенького, беленького — знакомые и соседи в шутку звали «князь Роман».

Смотрел Рома ясно, ходил ровно, отвечал чинно. В школе учился — так себе. Но по биологии — всегда пятёрка с плюсом.

Всё свободное время Рома проводил в живых уголках. И в конце концов завёл себе двух овец. Ещё ягнятами овец этих выбраковал пригородный колхоз, поставлявший шкурки для ярославской фабрики головных уборов (ягнята были малшерстисты, но даже та шерсть, что на них росла, торчала пучками, выдиралась легко и целыми клочьями).

В школе Рому беленького ещё терпели, а вот родственники — после окончательного отлёта за границу Роминых родителей — иногда из Солигалича наезжавшие, те всегда пеняли ему за бесхозяйственность и неумение организовать собственную жизнь. Овец нужно было давно, как следует выкормив, сдать на мясо. А Рома и сам жил впроголодь, и овечек своих морил голодом. А впроголодь что за жизнь? Лучше уж вовсе не жить, чем пустоту глотать!

Но, как ни странно, прижились овечки у Ромы прекрасно. Были они и впрямь не слишком упитанны, зато игривы и резвы — на загляденье.

— А ты их в цирк тогда, племяш, сдал бы, что ли! — не унимались беспокойные родственники.

Племяш на родственные слова лишь застенчиво улыбался, на странноватую «приязнь» внимания не расходовал...

Теперь Рому беленького нужно было хоронить.

* Полностью роман выходит в издательстве «Время».

Но как раз в это время родственников рядом и не оказалось...

Рома беленький лежал в наглухо запертой ячейке, в морге, в морозильнике. Все это знали, и у некоторых такое положение тела — вне земли, или, на худой конец, вне урны погребальной, — вызывало досаду и гнев.

«Может, хоть с мёртвым телом удастся поступить по-христиански или пусть даже только по справедливости? Если уж с живым парнишкой не получилось...» — ворчали романовцы.

Тут и возник один из очередных романовских вымыслов.

Меланхолическая Лиза, у которой Трифон продолжал прятаться от научных невзгод, вдруг разговорилась и, глотая бегущие по щекам фарфоровые слёзы, мешаемые с розоватой пудрой, рассказала следующее.

Умерший недавно Рома Петров, которого не на что было хоронить, будто бы стал по ночам у себя в морозильнике кряхтеть и шевелиться.

Несколько богомольных старушек спросили о таком недостоверном явлении у одного из священников, склонного к общению с паствой. Тот пообещал про случай этот подумать, но внезапно отбыл на епархиальный съезд.

Спросили у диакона Василиска.

Отец диакон посетовал на нерадивость городских властей, на чёрствость Роминых родственников и велел досужие разговоры о чудесах недоказанных поскорей прекратить.

Старушки, поджав губы, замолкли.

Но тут загомонили горожане.

Масла в огонь городских пересудов подлили «эфирозависимые» Струп и Пикаш.

Всего несколько дней назад по серьёзной за ручке принятые в морг сторожами и теперь по очереди, через двое суток на третьи, являвшиеся туда трезвыми и ничуть не обкуренными, — они клялись и божились, что своими глазами видели, как Рома беленький из открытой кем-то ячейки, с выдвинутых больше чем наполовину носилок протягивает руку. Причём протягивает её ладошкой вверх: словно желая получить еду, лекарство или даже какой-то подарок. И будто бы руку он не сразу убирает, а лишь когда что-то незримое, но, по прикидкам эфирозависимых, «никак не меньше двухсот граммов весящее» — ему в ладошку бухается...

Правда, иногда, не дождавшись подарка (а может, просто милостыни, — теперь многие и со стыдом припоминали: да, было дело, просил Рома подавание! Но ведь не от лени и дурного характера, не для того, чтобы клей нюхать, — чтоб

овечек кормить), так вот: не дождавшись подарка, шевелит Рома, как и любой живой человек, который чего-то с нетерпением ждёт, длинными восковыми пальцами.

— Знаю! Полотенец он требует! — млея от ужаса, говорил пристраившийся в последние дни к чтению умственных книг Пикаш.

— Дык, зачем ему, дурья твоя башка, полотенцы?

— А вот зачем. Грязь, что на него в последнее время тут у нас налепили, счищать! Чтoб чистым, где надо, предстать! И не одно полотенце ему нужно, а несколько!

Вицула-медик, Вицула, сторожем в морг идти не пожелавший, при встрече собутыльников пристыдил. Пригрозил даже никогда больше не подувать их изнутри эфиром.

Тут Струп и Пикаш, вместо ответных угроз и непристойных жестов, вдруг оба — сперва один, потом другой — заплакали.

Не веря своим глазам, Вицула пообещал в следующую же ночь выйти вместе с эфирными хлюпиками на дежурство.

Но не вышел, пропал, испарился.

— Испужался наш Вицула...

— Или кто куда его утянул!

— Кончай базлатъ, Пикаш!

— Дык, падло, сам всё скоро узнаешь! Тут тебе не братва, не зона — не откупишься! Тут быстро за курдюк возьмут...

Трифон вышел из затвора и поговорил с «эфирозависимыми». Чуть сосредоточился, немного подумал. И...

Научная работа закипела у Трифона под руками.

Трифон дозвонился до родственников Ромы в Солигалич и упросил, просто-таки умолил их прибыть в Романов ровно через неделю. При этом обещал оплатить Ромино погребение из собственных средств.

Родственники, для подготовки приезда и достойных похорон, потребовали перевести аванс на их банковский счёт. Получив аванс — телефоны отключили, на «емели» не отвечали, все концы обрубили напрочь.

Больше о них в городе Романове никто никогда не слышал.

Трифон расстроился, но не слишком.

Взяв к себе в помощники только Столбова и Женчика, а больше ни с кем из сотрудников «Ромэфира» не встречаясь, он стал готовить новый эксперимент.

Были наняты люди со стороны. Они срочно восстановили компьютеры и главный интерфе-

рометр. С трудом, но выровняли металлическую ногу одной из голландских мельниц. От использования тепловых аэростатов Трифон отказался. Да их больше ни одного в Романове и не осталось...

Из-за всего этого Трифон Петрович подготовку к очередному шоу-налёту прекратил окончательно.

«Для кого и зачем вся предыдущая буффонада? Кому и что я своей нелепой попсой доказал?»

Нелепостей и несуразностей Трифону, слишком уж прикипевшему к строгим научным схемам, давно и ужасно хотелось. Потихоньку, полёгоньку он всё больше склонялся к скрытому — а там, глядишь, и открытому — юродствованию.

Но сейчас, после смерти Ромы, все цирковые и площадные действия вдруг показались ему отвратными, богопротивными.

«Хватит юродничать. Кончай маскарад», — сказал себе Трифон и застыл в бездвижности.

Жизнь на время лишилась смысла.

В недостижимой для коллег и приятелей квартире, у своей новой, красивой и меланхоличной знакомой, Трифон, не желая выходить на улицу, слонялся по комнатам, грыз ногти, думал то про подростка Петрова, то про эфирный ветер.

Однако к самому эфирному ветру, то есть к фундаментальной науке — со статистикой, замесами, с водой в телескопах и полётами на тепловых аэростатах, с промежуточными выводами и всем прочим, — возвращаться не торопился.

Что-то грозное и неясное, по-отцовски грубо, как в детстве, ухватило Трифона за шиворот и так несколько дней кряду на весу и держало.

А потом, по-матерински нежно, за руку от тесного общения с эфирным ветром удерживало.

Удерживало это грозное и неясное — и от соприкосновения с ветрами обычными: начиная с Похвиста и Погодицы — и кончая ветром Полуденным и Полуночным. Удерживало от проникновения в их шёпот и грохот, от любования их кувычками и мёртвыми петлями, от плотного узнавания творимых ими бесчинств и принудительных очищений.

Южные волжские ветры — Хилок и Слабый — больше не лизали Трифону виски!

Юго-западный Горыч не пьянил слаще русской водки!

Летающий за Горычем вслед и тоже юго-западный, Луговой, не насыщал ароматами трав!

Юго-восточный и опять-таки волжский, Вешняк, не опрокидывал, как пугало огородное, на траву!

Даже северо-восточная Моряна не увлекала больше своей остро-кристальной любовью во льды, к дымящейся морозами ночи!..

Но вот про Рому Петрова — и как раз в связи с ветрами волжскими, ветрами привычными — узнал Трифон следующее.

Рома, когда ему ещё было только пять лет, был вызволен ветром из могилы. Точней — из лесной огромной ямы. Кое-кто поправлял: из медвежьей берлоги. Про медведей, не трогающих в своих берлогах мальцов, Трифон не верил. А вот яма — это пожалуй!

Родители забыли Рому в лесу. Не со зла, просто были в подпитии. Там Рома в яму и провалился. Сгнить бы ему в этой яме и косточки навсегда в ней оставить!

Но... Ровно семь лет назад — и об этом рассказывали не мужики на завалинке, рассказывали, сообразуясь с материалами местных газет, суровые архивисты, — так вот: ровно семь лет назад налетел на Романов и его окрестности страшный ветер. И был это ветер как раз северо-восточный, именуемый Моряной. Яму, в которой сидел Рома, ветер, конечно, землёй не засыпал и глубину её не уменьшил. Зато переломил надвое громадную липу. Липа наискосок, через яму, ветвями вниз и легла.

Зацепившись за ветви, шестилетний Рома, после трёх дней жизни в яме, из неё вылез, сам до родительской квартиры кое-как добрёл...

Теперь Трифон шёл в морг, чтобы специальными приборами попытаться засечь изменения ближайшего к Роме эфиропотока, а может, и попытаться на поток этот — для Роминой же пользы — воздействовать...

Ночь стояла глубокая, стояла осенняя, с лёгким приморозком. От бабьего затянувшегося лета не осталось и следа.

Трифон и Столбов, оставив Женчика на связи в конторе «Ромэфира», крадучись шли в морг. Плечи Столбова приятно тяжелил уложенный на дно просторного рюкзака новенький генератор-теслометр.

С дороги Трифон позвонил Женчику:

— Die schöne Müllerin! Запускай, говорю, красота моя, мельницу...

В месте временного упокоения и подготовки к переходу в жизнь иную было чисто, но неприятно.

Столбов поёживался. Трифон держался гоголем.

— Мне патологоанатом знакомый рассказывал... Тут понимаешь, какая петрушка... Руку ему не доморозили! Вот рука, как лягушачья лапка, и сокращается. Теперь такие недоморозки обычное дело. Но глянуть всё-таки надо. Струпу и Пикашу я на ночь закуску и пойло выдал, они не помешают, — старался на ходу

ободрить Столбова Трифон. — Ты устраивайся с теслометром перед дверью. Для чистоты эксперимента... Сесть негде, так ты уж на корточках... А я зайду, гляну на Рому. Потом часа полтора тут, за стеной, над приборами поколдуем. Попробуем направленным эфиропотоком на Ромчика воздействовать. И показания — прямо здесь снимем...

— А Женчик?

— У неё свои заботы. Ветрогенераторы у нас с тобой и раньше паршивенько мельничным шумом, ну, то есть, инфразвуком на эфир воздействовали. А теперь и подавно. Вот Женчик мельницу оставшуюся и проконтролирует... Но если честно, Женчика в «Ромэфире» я для отвода глаз посадил. Сильно мешают нам в последнее время!

— Кто мешает, Трифон Петрович?

Усынин не ответил.

Вошли в узкое помещение.

— «Чистилище», — просипел Трифон.

— «Предбанник», — поправил практичный Столбов.

Справа от «предбанника» был вход в обычный, довольно просторный морг. Слева — в морозильник.

Столбов расстегнул ранец и, чуть повозившись, включил генератор-теслометр, похожий на обычный компьютер с приваренным сбоку стержнем и мерцающей, круглой, подобной фонарику-жучку, коробкой генератора.

— Я на десять минут. Ты устраивайся поудобней... — Трифон толкнул дверь, ведущую налево, в морозильник.

Вихри эфира, после Главного эксперимента почти успокоившиеся, вдруг снова почуяли прищипку и нажим!

Один из потоков, струивший себя невидимо в океане эфира (так бегут по дну морей незримые реки: мощные, стремительные, отнюдь не менее значимые, чем Дон, Днепр, Волга!), ускорился и чуть изменил направление.

Ускорение вышло не так чтобы сильным. Но всё же оно было.

Напряжение в общем эфиропотоке возросло, скорость его увеличилась.

Жгучие огненные языки и мосластые, отдельные от туловищ руки вдруг замелькали в пространстве. Враз отвердевшие, загнущиеся калёными стрелами перья и в мгновение ока выострившиеся, на длинных цыпастых ногах когти понеслись прыжками через волжские холмы!

Однако уже через несколько секунд активное воздействие на эфир кончилось. Скорость одно-

го из постоянных потоков, летевшего к Волге и близ реки уходившего в землю, вернулась к обычным значениям.

Эфиросфера — успокоилась.

Лишь напоследок над фронтоном «Ромэфира» шевельнулась ещё резная флюгарка, представлявшая собой диковинного шестикрылого петуха.

Кур жестяной, кур романовский залопотал, захлопал укрепленными на шарнирах крыльями, словно бы хотел слететь в сад, там меж деревьев резво прошвырнуться, спешно кого-то долбануть клювом, а может, и разодрать пополам острыми своими шпорами!

Но никуда романовский петух не слетел и клювом никого не долбанул: стальной шпиль под ним внезапно переломился на-двое, и кур жестяной, кур романовский так на боку и завис...

Здесь уж всё стихло окончательно, не причинив на этот раз ни людям, ни живности даже и крохи вреда.

Трифон вошёл в расположенное латинской буквой «L» помещение морозильника, завернул за угол и остановился как вкопанный.

Одна из многочисленных ячеек, расположенных в стене, подобно вокзальным камерам хранения, была открыта. Из неё больше чем наполовину выставились узкие, лёгонькие и притом совершенно пустые носилки.

А на стуле, закутанный по пояс в простыню, так что видны были только босые ступни, сидел покойный Рома Петров.

На коленях у него лежала книга. Глаза были открыты. Но они ничего не видели: глаза у Ромы были мёртвые.

«Струп с Пикашом пошутили! Точно! Только они могли стул сюда приволочь. Да ещё и усадить на него покойника... Ну, сторожа хреновы, ну вы у меня!..»

Трифон сделал шаг вперёд.

Рома уронил книгу на пол.

Книга, на лету раскрывшись, упала на каменный пол и, поскольку пол был слегка наклонным, — поехала в сторону. От её падения произошёл необычный и не сразу смолкший звук: словно не маленький аккуратный том, а тонкий и широкий станиолевый лист упал на бетонный пол...

Трифон, скосив глаза, прочитал название.

«Алфавитный патерик» — алмазной вязью было выведено на книге.

Трифон хотел было позвать Столбова, но вслед за книгой шевельнулся и сам Рома. Шевеление

покойного — мягкое, едва заметное — напомнило Трифону дрожь отражений в летней речной воде...

На задних лапках, как тот байбачок у норки, замер перед Ромой Трифон.

Тут же Ромины глаза вспыхнули изнутри загадочным, может, даже неоновым светом, лицо подобрело, глубокая морщина на переносице разгладилась. Казалось: Рома силится улыбнуться, но никак не может.

Сладкий запах цветущей гнили вдруг распространился в воздухе морга. Свет в морозильнике вспыхнул ярче, пролился сильнее. Трифон внезапно понял: «Не какой-то неоновый! Это свет негасимый...»

От разлившегося и всю бушующего света у Трифона потемнело в глазах. Неловко опершись о стену, он сбил плечом светильник. Тот с грохотом упал на пол. Морозильник завернуло спиралью, сознание пугливо рванулось в сторону, кувырнулось вниз...

Услышав шум, Столбов приоткрыл дверь.

Увидев Ромины пылающие негасимым светом глаза — как словно его траванули полицейской «черёмухой» или другим спецсредством, — бесчувственно сполз на пол.

Трифона и Столбова обнаружили в городском морге вернувшиеся после ночного отдыха сторожа. Незванные гости лежали на полу, ближе к выходу из морозильника. А Рома Петров — тот находился, где ему находиться было и положено: на носилках, укрытый простынёй. Правда, носилки больше чем наполовину составлялись из ячейки. Это был явный беспорядок.

Ещё невдалеке от стеллажей стоял деревянный, покрытый кожзаменителем стул. На стуле — забытая кем-то книга.

Трифон и Столбов были живы, но в сознание не приходили.

В городской больнице их привели в норму быстро, однако отвечать прибывшей полиции на вопросы по существу оба отказались.

Трифон нёс какую-то белиберду, блаженно скалился, бормотал сквозь комками отросшую бороду:

— Да просто плохо нам от запахов в покойницкой стало, пора получше там всё оборудовать. А то даже умирать неохота... А к Роме нас его родственники заглянуть просили. Да вы у них у самих спросите...

Поскольку в морге ничего не пропало, не было разбито или повреждено — сгорел только прибор, принадлежавший пробравшимся в покойницкую учёным, — дело спустили на тормозах.

Мымра полоротая, или Ночью дымной, ночью лунной

Уже на следующую ночь Трифон решил опять тайно спуститься в городской морг. Столбова на этот раз он с собой не взял, пожалел парня. Теслометр тоже остался в «Ромэфоре».

Толстошкурые облака лишь изредка пропустили сквозь дырья свои блеск луны. Плотный дым от сжигаемых листьев змейками стлался по земле.

Подходя к моргу, Трифон обратил внимание на странную фигуру: карлик — не карлик, а кто-то маленький, ушлый, в лыжной натянутой на лицо шапочке, пробежал на полусогнутых мимо дверей, скрылся за углом мертвецкой.

Трифон по инерции завернул туда же, за угол.

Удар чем-то звонким и гулким — как обрезком трубы — по голове мигом свалил его на землю.

— Рот ему разжимай! Лей, лей быстрее!

Ещё один удар, но уже под сопатку, не оглушил — наоборот, раззадорил Трифона. Он мигом перекатился со спины на живот и, попятившись задом, как рак, подхватился на ноги.

Две криво-горбатые тени, одна повыше, другая заметно ниже, метнулись к нему одновременно. Трифон резко сдал назад. Тени, стукнувшись друг о дружку, осели наземь. Тень, что повыше, так на земле и осталась. А та, что пониже, содрала с лица лыжную шапочку и на полусогнутых, страшно выкривленных ногах подступила к Трифону.

— Лизка?

Побывавшая несколько дней назад на чёртовой мельнице, а потом пропавшая с концами меланхоличка Лиза вмиг вызверилась на Трифона:

— Я здесь тебе не Лизка! Лисья карлица я! — Меланхолическая Лиза, всего за несколько дней ставшая старой, уродливой, выпустила крашенные когти прямо в глаза Трифону.

Тот отшатнулся. Когда-то прекрасное, нежно-задумчивое лицо его приятельницы сжалось теперь в кулачок, нос и впрямь, как у той лисы, вытянулся, но не проклёвывал пространство кончиком — завершался какой-то плоской, с двумя дырками кожаной пуговицей. Глаза Лизкины сузились, стали нагло-подслеповатыми.

— Вишь, что ты со мной, сучок, сделал?

— Сама, небось, виновата... Зачем травить меня было? Ну, ушёл от тебя... Так, может, сдуру ещё и вернулся бы.

— Сдохни, Тришка! — выхватывая из-за пазухи нож, крикнула Лизка. — Ты должен око-леть, должен сдохнуть! Всё равно мы тебя уроем!

Верховодить тут змеями ползучими и гадами ветрянными тебе не позволим...

В это время тень, лежавшая чуть в отдалении, на земле, ловко перекатилась поближе и, мигом завернув Трифонову штанину, впиалась ему зубами в ногу.

Под мымрой-луной — перекошенной, полоротой — блеснули белые зубы, съехал чуть набок капюшон... Трифон узнал Пенкрата.

Бегущая из ноги кровь и резкая боль дурно подействовали на Трифона. Он стал бить лежащего Пенкрата ногами, потом замолотил кулаками по лисьей Лизкиной морде...

Через пять минут Лизка и Пенкрат лежали бездвижно.

Трифон отдышался. Потом, ухватив одной рукой за одежду Лизку, а другой Пенкрата, поволок их подальше от обморочно-лунного света, к зарослям кустов. По дороге не выдержал, остановился, приложил ухо к Лизкиной груди. Тут же, сам себя застыдившись, выпрямился, потрогал пульс у неё на шее. Пульс слабо постукивал.

Не тратя больше времени на Лизку и Пенкрата, Трифон поспешил в морг. Но по пути опять оглянулся: Лизка и Пенкрат лежали как мёртвые. А чуть подальше от них, над кустами, торчала чья-то рыжая голова, скорей даже — «будка».

«Будка» повёртывалась на длинной шее и за происшедшим с интересом наблюдала. Правда, даже малейшего звука, одобряющего или порицающего происшедшее, «будка» рыжая не производила. Только вот подобие дрянной улыбки скользнуло вдруг по губам наблюдавшего...

Впрочем, рыжий улыбку с лица сразу стёр и за кустами сгинул.

«Присел он, что ли?»

Разбираться не было времени. Трифон бросил искать взглядом рыжего и отворил дверь морга, которую сторожа, снова-таки по уговору, оставили на ночь открытой.

То, что Трифон увидел, перевернуло его сознание, как ребёнок шутя переворачивает игрушечного Ваньку-встаньку.

Рома Петров, наполовину голый, закутанный, как в бане, по животу и ногам в простыню, снова сидел на стуле. В руках у него была всё та же книга.

Но теперь Рома не светился: зыбился!

Бульбочки и мелкие пузырьки кислорода или какого-то другого газообразного вещества роились вокруг плеч и головы подростка. Всем своим пузырьковым роем колеблясь, они создавали впечатление слабо плещущих волн. И мель-

чайшие пузырьки, и бульбочки покрупней были видны чётко, достоверно. Видно было и то, что Рома теперь, как тот далёкий речной мираж, на вершок от стула приподнят.

Полуприкрыв глаза, Трифон пошёл на цыпочках к Роме, тихонько вынул из рук его «Алфавитный патерик»...

Книга осталась у Трифона. А Рома Петров, продолжая собственным мёртвым телом соприкасаться со стулом, своим телом «тонким» — в точности повторяющим контур тела брэнного, тела земного, — стал, фосфорически сияя, подниматься вверх.

Постепенно облик Ромы — сперва щиколотки, потом колени, потом туловище, руки, шея — стал таять, исчезать.

Но и обычное мёртвое тело из виду вдруг пропало.

Пустой стул одиноко торчал в морозильнике!

Трифон перевёл взгляд на носилки, выдвинутые больше чем наполовину из ячейки: смятые клеёнки и прикрытый ими небольшой горбок, размером 20 на 30 сантиметров... Всё!

Оставалось только обманывать себя, шепча что-то вроде: «Опять Столбец врубил непроверенную программу...» Но было ясно: обман не катит. Трифон сразу почувствовал: Столбец — ни при чём!

Тут же Трифону показалось: сейчас он снова грохнется на пол. Но он не упал, а, судорожно дёрнув шей, стукнулся щекой и ухом об угол стены...

Качаясь, как те «эфирозависимые» или обычная городская пьянь, побрёл Усынин из морга вон...

Полоротой мымры-луны на небе теперь не было. Туч — тоже.

Зато крался по городу Романову мелким и подловатым воробыным шагом рассвет!

Лизки и Пенкрата — на том месте, где он их бросил, — Трифон не обнаружил.

«Сколько ж я пробыл у Ромы?»

Казалось, только минуту, а судя по небу, выходило часа два, а то и три...

Прикинув всё это, Трифон поплёлся на останковку. Чтобы на маршрутке добраться домой, где не был почти месяц, или, на худой конец, заехать в «Ромэфир».

Было ещё рано, очень рано. Однако по городу Романову, вместе с осенним сумраком, снова шатался пьяный в дрезину эфир. И его вполне — уже без всяких хитрых приспособлений и дорогих приборов — могли ощущать на вкус и на запах запоздалые или, напротив, ранние романовские прохожие.

Утомившись быть пламенеющим ветром, эфир решил хоть ненадолго прибиться к людской жизни. Пускай на день, пусть только на час! Полёты и высокие планы, бесконечное кружение и воодушевляющая принадлежность к великому целому — хотя б на часок всё это оставить!

Не весь, конечно, эфир к таким действиям стремился. А вполне возможно, только тот его поток, который долгие годы окутывал города и веси Средней России, который входил в приволжскую землю и возвращался из её недр другим и опять обновлялся, не ища секрета вечной молодости и бесконечной любви, потому что обладал ими изначально!

Уже не сто и не двести раз эфирный ветер в этих волжских местах чуял чуялкой, осязал нежной осязалкой не одну тоску-маюту, не один террор дезодорантов и смуту парфюмов! А ощущал он неизъяснимую прелесть давно позабытой краткосрочности бытия.

Малые российские города! Тихо-наивные, насквозь прозрачные, от невнимательного взгляда наглухо заборами и садами скрытые, со времён Юрия Боголюбского и князя Романа, от Державина и Пушкина до нынешних литературных бузил источали они мир и покой. Ощутить их прелесть и наивность может каждый. Даже чёрствые столичные жители, даже чванливые сдатчики южных курортных койко-мест, даже не имеющий определённой формы, вида и цвета, однако содержащий в себе мелос и ритм, разум и душу — эфирный ветер!

От пьяного счастья эфир шатнуло ещё раз. Ветер принял на миг форму весёлого парнишки с гитарой. По одной нотке, по одной жалобно ущипнутой струне, а потом слитно-грозым аккордом стал он водвигать в нашу жизнь неслыханную музыку дальних перелётов.

Правда, вскоре рвать гитарные струны ветер бросил...

Что делать дальше с беспримерной и, возможно, на земле никому не нужной свободой, эфирный ветер, нюхнувший русской водочки и глотнувший российского провинциального счастья, — не знал. Ни мельница ветров, ни великолепные церкви, ни генераторы-теслометры его не заинтересовали.

Однако внезапно почувал он нечто новое!

Пошатавшись напоследок просто так, позалевав в бороды к мужикам и под юбки к женщинам, эфирный ветер поспешил туда, где вопреки забавам и заботам, вопреки бесконечным новостным лентам и рваным в клочья сообщениям с мест — заваривалась небольшая, но страшно важная небесно-земная каша!

Словом, эфирный, на глазах трезвеющий ветер порхнул к городскому моргу, а оттуда сразу — к городской больнице...

Нога сильно болела. Трифон сообразил: маршрутки ещё не ходят. Кое-как носовым платком укушенную ногу перевязав, он побрёл пешком в городскую больницу.

Вокруг него приплясывал необычайно тёплый для осени ветер. Когда Трифон приостанавливался, ему казалось: вместе с ветром вокруг него пляшут какие-то наглые, но и весёлые, нахлеставшиеся водяры микробы! Микробы были не большие и не маленькие, а так себе: средних размеров. Видом же походили на зеленоватую капустную тлю.

Идти дальше не было сил.

Тут — добрый человек. Рыжеволосый, приветливый. Вывернулся из-за угла, подхватил под руку, помог устоять на ногах. Трифон забормотал извинения, потом что-то про пылающий мир эфира...

— Вы бормотайте, бормотайте, — ласково поддерживал разговор рыжеволосый.

Пугаясь собственного бормотанья и пляшущих в воздухе микробов, Трифон двинул прямо к инфекционному, стоящему особняком корпусу.

Здесь рыжий на минуту остановил его и, вколов Трифону малюсенький значок в маечную — из-под расстёгнутой рубахи и даже из-под куртки выбившуюся — бретельку («это на память о нашей встрече!»), тихо свалил.

В инфекционном приходе Трифона удивились, но отсылать в другие корпуса не стали. Опытный доктор, к тому же понаслышке про Трифона Петровича знавший, сразу назначил тройное лечение: больного следовало перевязать, успокоить и на всякий случай обеззаразить.

Не допуская пришедшего до инфекционных больных, его положили рядом с приёмным покоем, в закутке, ввели успокоительное и магнезию: вдруг давление подскочит? А чуть позже промыли кишечник и назначили добрую дозу левомецетина.

Воскресным утром, ещё затемно, Трифона стал будить дежурный врач, чтобы перевести в обычное терапевтическое отделение. Но Трифон Петрович не просыпался. У дежурного врача даже создалось впечатление: известный всему городу своими чудачествами доктор физико-математических наук Усынин просто не хочет приходить в сознание.

Наконец, после лошадиной дозы камфоры и глюкозы в вену, Трифон Петрович открыл глаза.

— Отстали микробы... Но я всё равно лучше тут, в инфекционном посплю, — сказал он дежурному врачу и потрогал укушенную ногу.

— Ну так везите его в отдельную палату, — сказал, раздражаясь, кому-то врач.

Нога болела уже не так сильно. Правда, прилично тошнило.

Не придавая большого значения тошноте, Трифон Петрович сладко потянулся, крепко сплюснул веки...

Тут же он увидел эфирный ветер.

Несколько лет подряд Трифон учил других этот ветер слышать, а теперь увидел его.

Утренний, ранний, в темноте ещё плохо различимый поток, летящий с северо-востока, нёс огромные, вылегченные до невозможности эфирные тела. Скорость прохождения тел была, конечно, не космической. Не составляла она, скорей всего, и тех самых, уже набивших оскомину 3,4 километра в секунду. Но всё равно: скорость была очень и очень высокой!

Трудно было понять, каким образом глаз фиксирует это скоростное движение. Оставалось предположить: само зрение наблюдающего каким-то образом отделилось от тела и движется в эфирном потоке или близ него, со скоростью почти сопоставимой.

Общая — теперь уже ясно видимая — картина была такой: часть эфирного ветра уходила в землю. Что в земле происходило дальше, увидеть, разумеется, было нельзя.

Однако Трифону чудилось: навстречу вошедшему в землю эфиропотоку — устремляются подземные газы и воды. Он ясно слышал: ворочается и булькает, подтягиваясь ближе и ближе к земной поверхности, магма, земля набухает яростью и гневом, словно эфирный ветер пробуждает в ней нечто опасное, дикое. А потом сам же ветер это дикое и урезонивает, делает его прозрачным, нежным.

Так в детстве, отвратительно и приманчиво, клокотало дерьмо в общественных уборных. Зато позже, на улице, мир делался неповторимо свежим, неизъяснимо приятным...

Из-за внутренней и внешней опасности — контурно обозначенной вошедшим в неё основным потоком эфирного ветра — земля в то темноватое романовское утро стала вдруг выдавать из себя дробный, лихорадочный тряс. А затем выдала — целую череду резких толчков и вздрагиваний.

В это время другой, меньший поток эфирного ветра, как тот воздушный змей, внезапно из-

вернулся, сделал над лесами велосипедную восьмёрку и уже намного медленней устремился на юго-запад, в сторону Днепра, Южных Карпат, Балканского полуострова.

Присмотревшись к этому направлению эфирного ветра, как раз и можно было заметить огромные, двадцатикратно по отношению к обычному росту увеличенные, в одеждах и без одежд, то зыблущиеся, то хорошо цепляемые глазом эфирные тела.

Этот другой, уходящий на юго-запад вихрь эфира, кроме огромных фигур, нёс ещё (набитые изнутри ликующими язычками ветра обычного) предметы и явления жизни.

Кое-какие из предметов были привычными и весьма приятными: мраморные кресты, яркие полосы газет, жестяные звёзды, зацепившиеся за краешки стальных оград циферблаты городских часов, под которыми назначают свидания, мотки медной сияющей проволоки, словно приготовленной для обкручивания громадных индукторов или катушек счастья. Нёс ветер и превосходные головные уборы: гвардейские кивера с пышными султанами, венские шляпки, медвежьи малахай — с лёгкими назатыльниками и длинными, свободно болтающимися ушами...

Все они были не то чтобы прозрачными, а вот именно: эфирными!

Иногда проплывали — в обиходе не замечаемые, а здесь приобретшие очертания и объём — негативные стороны жизни: спесь — в виде огромного живота, с развязно волочащейся по тучам пуповиной; нетерпимость — в виде семихвостой, с железными наконечниками, плётки; жадность — без всякого вида, но с гадким урчанием, испусканием газов и клацаньем зубов; предательство — с раздутой, гладкой, как кегля для боулинга, головой, и отвратительно расплывшимся горбачёвским пятном на ней...

Всё негативное было заскорузлым, заржавленным, не эфирным.

Изредка мелькали фигурки в натуральную величину.

Мелькнул Трифонов прадед, бородатый рыбак, владелец баркасов.

Мелькнули несколько чистокровных, романовских, с любопытными мордочками овец.

Тут же промчался кто-то из династии Романовых: вроде император Павел.

Павел Петрович оказался огромен, строг и ничуть не карикатурен. Гневаясь, он грозил кому-то жезлом. Не мальтийским — военным, маршальским! Вскоре стало ясно кому: расстре-

лянный, а потом растерзанный, с глазами мёртвыми при жизни и живыми в смерти — Николай Второй, Никола Маленький, прошмыгнул после Павла.

За Николаем грубо выдвинулся, а потом остро-туманно засверкал меловым срезом высоченный обрыв Иртыша. Под обрывом медленно текла жутковато-тёмная, но и страшно притягательная вода: несхожая с волжской, содержащая в себе нечто неясное, но до рези во рту живое, вот-вот могущее заорать, заголосить...

«Кровь? Кровь Иртыша? — крикнул про себя Трифон. — Кровь расстрелянных? Кровь царских каторжников? Кровь эков советских?»

Внезапно побежали, перевёрнутые зубцами вниз, горы.

За ними потянулись гуськом, тоже перевёрнутые, трясущие набитыми землёй корнями деревьев и обломленными водопроводными трубами, заволакивающие пространство мутью, илом, а по бокам обложенные сияющим хламом, европейские города: Лиссабон, Амстердам, Лютеция, Гдыня!

Трифон едва успел перевести дух. Тошнота и позывы на рвоту стали не такими мучительными.

И тут медленной, слегка зыблущейся фигуркой проплыл Рома беленький... Все, кто проплывал до Ромы, выглядели если не умершими, то какими-то не вполне реальными. Только подросток Рома казался до нестерпимости живым.

«Наполовину мёртвая династия и живой Рома... Станные законы у эфирного ветра. Где здравый смысл? Где воздаяние за великие дела?»

Трифон не успел закончить мысль. Рома беленький произнёс полупшёпотом:

— Ты меня искал? Я и есть человек-ветер. Ну, чтоб тебе ясней — подросток-ветер. — Рома улыбнулся. — Хочешь войти в эфирный строй? Вот он, рядом. Здесь, в скоростных перелётах и в бесконечном движении, ты сможешь почувствовать красоту и веселящую тревогу мира окончательно!

Подросток-ветер звал и манил Трифона, обещал совместные путешествия и неслыханные открытия на благо науки, сладостные приключения над землёй, в стратосфере и в открытом космосе.

От шёпота Ромы произошёл гром.

Трифон задрожал, потом громко крикнул.

Тогда Рома уплыл, но через некоторое время вернулся: причём появился оттуда же, откуда и в первый раз: из-за Волги, с северо-востока, словно бы закинув быструю и невидимую петлю вокруг Земли.

— Ну? Решился? Ты кто: воин или пёс?

— Решился... Но ты позволь мне хоть пять-шесть лет побыть здесь. Вот завершу с пламенеющим воздухом, с эфиром и...

— Пяти не хватит. Да я временем и не распоряжаюсь. А судя по всему, получишь ты все двадцать. Но уж тогда — не обмани.

Тут Рома беленький запнулся и как-то не к месту попросил:

— Слышь, Трифон Петрович... Узнал бы ты, как там мои овечки? Люня и Луша... Прошу тебя, сделай милость!

Рому умчало. Стараясь не думать про овец и не желая возвращаться в помрачающий лживой реальностью мир неудач и обманов, Трифон двинул навстречу ветру.

Новый роман Бориса Евсеева «Пламенеющий воздух» — единственное в художественной литературе произведение, посвящённое загадке эфира и эфирного ветра.

По сути, это современный «плутовский роман», рассказывающий не столько про запреты и отторжения «квинтэссенции», то есть «пятой сущности», как издавна называли эфир, сколько о нашей российской действительности.

Незабываемые типы учёных и предпринимателей, мошенников и студентов, «литературных негров» и прекрасных женщин делают роман зеркалом сегодняшней российской жизни — иногда смешным и слегка искривлённым, иногда показывающим то, что пока скрыто от наших глаз.

Лирико-гротескный стиль, своеобразная интонация, памятные картины маленького волжского городка, продуваемого как ветром эфирным, так и ветром перемен, — дают все основания считать: роман Евсеева не только событие в сегодняшней прозе, но и ясное напоминание о том, что в XXI веке мы не можем сбрасывать со счётов запрещаемые или признанные «неудобными» альтернативные формы знания.



Ирина Евса родилась в Харькове в семье военнослужащего. Училась на филологическом факультете Харьковского государственного университета. Закончила Литературный институт имени М. Горького в 1981 г. Стихотворения публиковались в журналах «Арион», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литературная учёба», «Новый берег», «Новый мир», «Подъём» (Воронеж), «Радуга», «Союз писателей» и других, а также в альманахе «Стрелец» и различных антологиях и сборниках.

Автор десяти книг стихотворений, в том числе «День седьмой» (1992), «Изгнание из рая» (1995), «Наверное, снилось» (1999), «Лодка на фаянсе» (2000), «Опись имущества» (2003), «Трофейный пейзаж» (2006).

Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина (2000), Международной премии имени Юрия Долгорукого (2008), а также ряда других литературных и общественных премий.

Член Союза писателей СССР (1979), Союза писателей Украины (1978) и Национального союза писателей Украины (1993), Русского Пен-центра (2003). Живёт и работает в Харькове.

Ирина Евса

Курортная зона

* * *

Цвета прокисшего саперави облако вспенилось на холме.
Северный ветер читает волны справа налево, как палиндромы.
Руфь на мгновение цепенеет, что-то прикидывая в уме,
и наклоняется, подбирая с грядки подгнившие помидоры.

Вот что смущает: её лодыжки в густо-сиреневой сетке вен.
Если б не степень твоей одышки, ты бы решился... Но в сорок восемь
можно лишь изредка прыгать в гречку или куда там?.. Семейный плен,
мятным отваром дыша на стёкла, боль обволакивает под осень.

Тихо. Так тихо, что слышен шорох игл, что роняет ливанский кедр.
Пёс озабоченно вырыл ямку. Там и улёгся, испачкав глиной
длинную морду. Внезапно грянул дождь, барабания в непарный кед.
Руфь одержимо рыхлит участок между акацией и малиной.

Всё, что посеешь, чревато жатвой. Руфь это знает. Легко вогнав
в землю кирку, разбивает корни и сорнякам не даёт потачки.
Вот что смущает: её приходы ночью, когда, у тебя в ногах
тихо свернувшись, блестит зрачками, молча выпрашивая подачки.

Руфь это знает. И нянчит, месит грубую глину, пока шумит
куст одичавший; покуда чайник нервно потрескивает, пока ты
ищешь хоть щёлку, откуда виден берег, где рыжая Шуламмит,
с детской беспечностью сбросив туфли, в море вылавливает агаты.

Зима на юге

Тарантас, колокольчики... Спятил ты, что ли?
Лучше выйди в ближайший ларёк:
всякий раз не хватает то хлеба, то соли.
Попритихли застрельщики прежних застолий.
И смеркается около трёх.

Посмотри: даже ключ на цепочке заржавел,
и не вытоптан снег у дверей.
Из печи подгоревшими тянет коржами.
Редко-редко дохнёт молодой, как Державин,
освежающий душу борей.

Справа — бухта мигает не бригом, так берегом
с парашетом в ледовой коре.
Слева — трасса, жужжащая автопробегом.
Но мучительны — вид кипарисов под снегом
и цветение роз в декабре.

Дым над шиферной крышей свивается в «неуд»,
по-хозяйски коптя кирпичи.
В эту жизнь ты ещё не забрасывал невод.
И помарки грачей удручённо чернеют
на корявых ветвях алычи.

Дни мелькают, как в зеркальце заднего вида,
налетая волной на причал.
Календарным крестом вышивает обида.
— Как спалось, Филемон? — Я не помню, Бавкида:
до рассвета читал англичан.

И дожить бы до лета, дожить бы до лета.
И, забравшись в пустой тарантас,
дребезжать по дороге, что солнцем нагрета,
вдоль кизила, шиповника и бересклета,
за одежду цепляющих нас.

* * *

Сломай себе ветку масличную,
торжественный сделай венец.
И эту тоску неприличную
по славе — оставь наконец.

Все игрища наши, ристалища
не смерть обещают, так срам.

А здесь — над конторкой — с листа ещё
сверчок дребезжит по утрам.

И створками щёлкают мидии
в жаровне, где тает смола...
«А греки прикончили Фидия, —
ты вспомнишь, смахнув со стола

горячую искру, — и дар его
не вывез». А ты — на плаву.
И косточкой фрукта янтарного
пуляешь из губ в синеву.

Без имени, даже без отчества —
в посёлке, разбухшем от гроз,
где призрак татарского зодчества
травой, как щетиной, оброс;

где, греясь украденной старкою,
поскольку волна холодна, —
подростки ныряют, как сталкеры,
и амфору тянут со дна, —

ты в сон погружаешься с курами.
И если б, набросив пальто,
в ларёк не спускался за куревом,
тебя б и не вспомнил никто.

* * *

Укачал не причал, а бликов морских игра.
Отчего ты кричал в ночи и молчал с утра?
Вот — лепёшка, полста оливок, сырая синь
«изабеллы». Ты встал? Тоску восковую скинь.
Погляди, как вода с карниза свисает, длясь.
Обнажив провода, рассвет прерывает связь
меж мирами моих предметов, твоих причуд,
превращая двоих при этом в чужих пичуг.
Тело лепится к телу. Души витают врозь,
попадая не в тему: чаша, лепёшка, гроздь.
Треть окна запотела, бухта едва видна.
Укачало не тело — где там! — не та волна.
Невпопад и не в ногу — улица, гор гряда —
из романа в эклогу, а из неё — куда?
Ибо тот, кто пирует, не поставляет снедь.
Бог таких не парует, но позволяет спеть.

* * *

Прокричит твой кочет, точней — петух,
и вспорхнёт с насеста, как нелегал.
На восточном склоне костёр потух,
а на юго-западном замигал.

Но ещё прибрежные камыши
не зажглись, и жёлтым не вспыхнул дрок.
Сладковатым запахом анаши
веет с моря бризовый ветерок.

Ты давно хотел соскочить с иглы,
но — светясь во мгле, как ночной трофей, —
золотая краля из Магдалы,
разметавшись, спит на софе твоей.

Потому и маешься, замерев,
чтоб не скрипнуть дверью, не сбить ведра
в тесноте прихожей, пока дерев
розовеет влажная кожа.

И бормочешь: «Если на небеси
Ты еси, Чьей милостью потеплел
предрассветный воздух, — то пронеси
лихорадку мимо, но не теперь.

Ибо эту ломку и эту дрожь
я добыл ценой своего ребра.
... Всё равно Ты, Господи, отберёшь.
Но пускай поспит до семи утра».

* * *

Сонно обозревающий дали,
тучку серую, нос корабля, —
плавный профиль твой не для медали,
но уместен в тени миндаля.
Или в пыльном оконце хибары,
знатоком обречённой на слом,
где над книгой твои окуляры
диоптрическим блещут стеклом.
Скучно в крымской провинции. Даже
возле моря. И воздух прокис.
Спят обжитые чайками пляжи
и помётом забрызганный мыс.
В ресторации местной — изранен

комарами — торчишь в неглиже.
И помпезное, как Северянин,
на подносах дрожит бланманже.
К чёрту — деву на сёрфинге, света
луч, упавший в прибрежный камыш,
и приросшего к пирсу атлета
с пузырями обветренных мышц.
Знанием южного быта затарен,
презирая финансы твои,
мимо столика носит татарин
золотое, как небо, ай.
Одиночества честная корка,
водка тёплая, репчатый лук...
Может быть, приоткроется створка,
и жемчужину выкатит вдруг
жизнь, плывущая облаком, еле
освещённым? — Но луч вдалеке
цепко держит тебя на прицеле
красной точкой на левом зрачке.

* * *

Августовских страстей истончается срок,
словно виза твоя гостевая.
И на треснувшей сливе оранжевый сок
нагревается, загустевая.

Ты лежишь, как на камне с проплешиной мха
рыба в обмороке неглубоком,
что, предчувствуя страшное слово «уха»,
часто дышит взволнованным боком.

Не способный взрастить кормовой корнеплод,
от рутинной тоски сатанея,
ты в итоге своих соловьиных работ
Суламифь превратишь в Саломею,

потому что ведь надо кому-то уметь
из поэта вытягивать жилы.
Но сейчас она жарит восточную снедь,
обжигаясь вскипающим жиром.

Но пока — она брызжет водой из ведра
и свистит (о, хотя б не свистела!),
только ситцевый фартук, поскольку жара,
и набросив на влажное тело.

* * *

Море. Облако. Белый парус.
Плоскодонки. — Пейзаж Марке.
По дороге пылит «Икарус»,
исчезающий на витке.
Меж холмов голубеют жилы
варикозно разбухших рек.
И светило стреляет жиром,
словно жареный чебурек.

Бродит ослик по кличке Павел,
как тоскующий инфернал.
Разговор наш — игра без правил.
Мне не светит полуфинал.

Не копайся в татарском супе —
всё горячее можно есть.
Лучше жизнь принимать, как суфий:
мол, такая, какая есть.

Слушать резкий фальцет солиста,
но не вдумываясь в слова...
Мир промыт и горит слоисто,
как медовая пахлава.

Обводи меня. Жизнь такая,
как задумал творец игры,
в молоко облаков макая
зачерстевший ломоть горы.

* * *

Ночь стёрла бальзамин и виноград,
как будто их и не было в природе.
И чёрный двор — почти уже квадрат
Малевича иль что-то в этом роде.

А в нём завис, пуская пузыри
во глубине волнисто-потаённой,
дом, словно рыба с кем-нибудь внутри:
с живым Ионой и женой евонной.

...Открыв окно, он курит, едкий дым
в целебный воздух юга выпуская.
И красный Марс колеблется над ним,
поёживаясь, как звезда морская.

Ионику знобит. Но вместе с тем
от жарких дум влажна её подушка,
поскольку в нём, как фосфор в темноте,
просвечивает тайная подружка.

И хочется сказать ему: «Насквозь
я вижу вас!» Но, смахивая что-то,
она бурчит привычное: «Набрось
на плечи куртку и запри ворота».

И это бормотание — как чек,
что выписан пожизненно обоим.
Уже непотопляем их ковчег
с бесчисленным количеством пробоин,

с жуком, бесцельно бьющимся в стекло,
с наплывами из Ветхого Завета...
Он не уйдёт, поскольку с ней тепло
и, как сказал поэт, не надо света.

* * *

Кто теперь бубнит Горация и Катулла,
возвращаясь вспять, слезу задержав на вдохе?
Нас такой сквозняк пробрал, что иных продуло,
а других, как мусор, выдуло из эпохи.

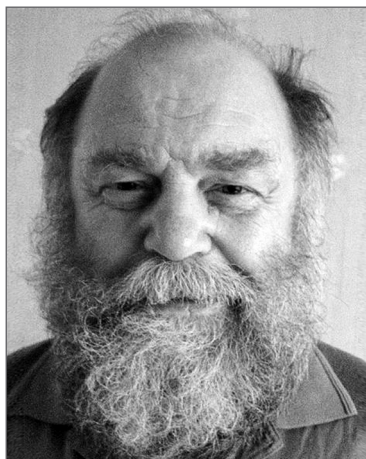
Кто теперь способен до середины списка
кораблей добраться? Лучше не думать вовсе,
а ловить на спиннинг мелкую рыбку с пирса
и косить на горы в бледно-зелёном ворсе.

Обходить за милую скифа или сармата,
не дразнить варяга и не замать атлета,
чтоб, озлясь, не бросил в спину: «А ты сама-то
кто такая?» Я-то? Господи, нет ответа.

Поплавок, плевок, трескучий сверчок, к нон-стопу
за сезон привыкший в каменной Киммерии,
на крючке червяк, Никто, как сказал циклопу
хитроумный грек, подверженный мимикрии.

Я уже так долго небо копчу сырое,
что давно сменяла, чтоб не попасться в сети,
на овечью шкуру белый хитон героя:
проморгали те, авось, не добьют и эти.

И пускай читают лажу свою, чернуху,
стерегут общак, друг в друга палят навскидку.
...Подойдёт дворянка, влажно подышит в ухо,
мол, жива, старуха, — ну и лови ставридку.



Святослав Логинов (Святослав Владимирович Витман) – русский писатель-фантаст. Родился в 1951 году в городе Ворошилове, ныне Уссурийске Приморского края. С 1952 года постоянно проживает в Санкт-Петербурге. Окончил химическую школу и химический факультет ЛГУ, ныне Санкт-Петербургского государственного университета. Работал научным сотрудником в НИИ, разнорабочим, инженером, грузчиком, учителем химии.

Автор романов «Многорукий бог далайна» (1994), «Земные пути» (1999), «Свет в окошке» (2003), «Россия за облаком» (2007) и других, многочисленных повестей и рассказов.

Лауреат премий: «Аэлита» (2008), «Странник» (2003), «Интерпресскон» (1995, 1998, 1999, 2006), «Беляевской премии» (1995), «Великое кольцо» (1983), «Портал» (2007).

Святослав Логинов

Чисть

Внешность Виталика Вешлёва задалась прямо-таки эстрадная, а вот музыкальный слух отсутствовал по определению, и голос был хриплый и на редкость немелодичный. Впрочем, петь Виталик не любил и лишь, растапливая по субботам деревенскую баньку, непременно принимался напевать:

Истопа ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык,
Угорю я, и мне угорелому
Пар горячий развяжет язык...

Язык Виталику развязывало ещё до бани, во всяком случае, в плане пения. Что касается голоса, то хриплость в данном случае Виталик полагал достоинством, а отсутствия мотива в своём исполнении попросту не замечал.

Не замечал он и ещё одной важной вещи, в которой повинен уже не Виталик Вешлёв, а Владимир Высоцкий. Ну как, скажите на милость, можно угореть в бане, истопленной по-белому? Нет, при желании, конечно, можно, но кто на это пойдёт, кроме явного самоубийцы?

Баня у Вешлёва была старая, срубленная ещё позатеми хозяевами. Продавалась она вместе с домом и на цену заметно не влияла. И топилась вовсе не по-белому, а чернее не бывает. Баня по-белому — изобретение новейшего времени, ей и трёхсот лет не исполнилось, в отличие от древней каменки, уходящей корнями в каменный век. Только в чёрной бане и настоящий пар, и опасный угар, и полузабытое, но поныне живое язычество.

Великое единение огня и воды начинается вовсе не с огня и воды и уж тем паче не с вени-

ка. Начинается баня с камня. В баснословные времена и без котла обходились, воду грели в ушатах, куда опускали докрасна раскалённые камни. А ныне ставят котёл. В котле собирается вода, в камне живёт огонь. Только так может начаться борьба, жизнь, любовь. Без котла и камня получится одна тепловатая грязь. В христианской книге написано: «Тёплого изблюю». Хоть Библия книга и не русская, но замечено верно.

Строитель вешлёвской бани толк в своём деле понимал. Место для бани ищется строже, чем для дома. При воде, но так, чтобы смывое утекало на сторону, не загрязняя источника. Случается, если котёл очень велик, вся баня строится начиная с каменки. Сдирают дёрн — живую кожу земли — и лошадьё на волокуше притаскивают четыре камня, на которые устанавливают котёл. Камень — не дресвяник: тот с первого раза рассыплется, и уж тем более не известковый плитняк — этот и взорвать может. Кремень с течением времени начинает отлущивать тонкие режущие пластинки, иной раз почти не видные глазу, но оттого особенно опасные, — мойся, ежели охота. В дело годится только камень-столбец: тёмный базальтовый валун, тугой и твёрдый. Найти такой камень непросто, поэтому частенько котёл устанавливают на кирпичные столбы, отчего в бане начинает неистребимо припахивать глиной, хотя никакого глинистого раствора промеж кирпичин не положено.

Полы в бане делают на слегах и в стену не вправляют, чтобы менять половицу легче было. Полы щелястые, а то воде куда утекать? Под полком и вовсе не стелят, там каменка близко: закатится дурной уголёк — вот тебе и пожар.

Оконца в бане узкие, в два полубревна. Одно световое, смотрит на закат, потому как моют-

ся в баньке обычно ближе к вечеру. Световое окошко у самой земли, чтобы охальник какой подглядывать не вздумал. Опять же, высокое оконце не столько светит, сколь глаза слепит.

Волоковое оконце, напротив, под потолком. Оно безо всякого стекла, просто дыркой, чтобы дым уходил. Когда баня протоплена, его затыкают старой шапкой.

Полок в деревенской баньке невысокий — две ступенечки, — выше потолок не пускает. На верхней ступеньке можно сидеть согнувшись или лежать. При хорошо протопленной бане туда лезут лишь самые отчаянные парильщики. Простой человек довольствуется нижней ступенькой. А моются — сидя на полу, подалеже от каменки, чтобы не брызнуть ненароком мылом на раскалённый булыжник. Прежде мыла не знали, мылись золой и травяными настоями, оттого дух в бане всегда был свежий.

А ведь ещё не сказано о самом главном! Четыре столба, котёл и... После того как установлен котёл, выводят каменку — место, где вода сочетается с огнём. С одного боку между столбами устраивают поднору — подкидывать дрова, с остальных укладывают старые лемеха, а по новому времени — обрезки рельса. Сверху кладут камни, сперва покрупнее, потом — помельче. Камень всё тот же, тугой столбец, но теперь ещё и размер надо подбирать по уму. Натаскаешь валунов с голову величиной, потом никаких дров не хватит эту баню протопить. А с кулак камушек в себя жара немного примет, на него раз плеснёшь, он и остыл. С мелким камнем баня получится сиротская. Подбирать камни для каменки — самое большое искусство, единого рецепта тут нету.

Когда каменка сложена и прошла первое испытание огнём, баня, считай, готова. Неважно, каков будет предбанник, какая крыша — хоть землёй засыпай её. Стены изнутри и снаружи бревенчатые, ничем не обитые, чтобы гнили поменьше и пожар не так страшен. Потолки накатанные из двухвершкового бревна или из тёсаных плах, которые тоже не вдруг загорятся.

Топить баню по-чёрному — своя наука, отличная от приёмов, годных и для печки, и для печи. Дрова укладываются поглубже, не под котлом, а под камнем. Это чтобы зря воду не кипятить, да и от половиц подалеже, а то, неровен час, пол и затлеть может. Хотя и без того не лишне будет во время топки окатывать половицы водой из ковша.

Густой дым заполняет баню, лениво уходит сквозь распахнутые двери и волоковое окон-

це. Только сунься туда в эту пору — глотнёшь дыма, мало не покажется. Дыма нет только у самого пола, где подтягивает свежий воздух. Понадобится в топящуюся баню заглянуть — ползи на брюхе. И дрова подкидывать лёжа приходится, потому как одной закладки для хорошего пара не хватает.

Первый огонь лениво облизывает камни и не столько жар даёт, сколько дым. Зато вторая закладка, когда полешки бросаются на кучу углей и занимаются с ходу, даёт настоящее тепло. Сквозь камни пробиваются не редкие языки пламени, а гудящие огненные струи, напоминающие дьявольские рога. Ничего не попишешь, баня место языческое, противное христианству. Понимающий поп баню и святить не станет, поскольку дело это как есть бессмысленное.

Третью закладку делают лишь самые истовые любители парилки. Дьявольский рог доводит камень до кондиции, недаром изнеженные европейцы полагали русскую баню земным филиалом ада. Вот только головешки из-под котла в аду никто не выгребает, а в бане выгрести недогоревшее нужно непременно, иначе вместе с головнями угорит и собственная головешка.

Протопленную баню должно хорошенько проветрить и лишь после этого прикрыть дверь и заткнуть волоковое оконце. Теперь можно распаривать веник и поддавать на раскалённый камень горячей водой, квасом, пивом, настоем берёзового веника или мяты.

Чёрная баня невелика, поэтому моются в ней в очередь. Сперва мужики, которым достаётся самый ядрёный пар, потом бабы с малыми детишками. Или сперва хозяин с хозяйкой, следом прочие домочадцы. В третью смену умные люди не моются, третий пар для банника. Вопрётся какой дуралей не в пору париться, тут его банник и придушит, чтобы не лез, невежа, куда не следует. Найдут потом беднягу синюшного, глаза изголубы, язык высунут... и жаль дурака, а поделом досталось, нечего было банника обижать. Он хоть и нечисть, но нечисть своя, без вины за глотку не схватит.

Учёные говорят, мол, нет никакого банника, а просто, как ни выбирай головни, а сколько-то угольков под котлом останется, и от них в бане помалу набирается угар, от которого и гинет неумный парильщик. Учёные, мозги копчёные, что они могут знать? Банёк под полком лежит, прикинувшись старым веником, терпеливо ждёт своего законного срока. И, ежели обидеть

его невниманием, придушить вполне может. А так он не злой, без пути никого не тронет. Что банник, что домовой, что овинник — все при людях кормятся и потому к ним доброжелательны. Живёшь по правде, так и вся мелкая нечисть тебя любит. И то сказать, какая из банника нечисть? Это божницу с иконами раз в год на чистый четверг снимают и промывают тёплой водой. Да и тогда образа частенько остаются невымытыми. Иной так закоптится и засалится, что не разобрать, кто оттуда смотрит — бог или чудище заморское. Зато банник каждую субботу моется, так что он-то как раз чист, а нечисть в красном углу висит.

О подобных вещах задумываются немногие, а Виталик Вешлёв и подавно ни о чём таком не думал. Хотя в третий пар в баню не ходил. Дурной он, что ли, париться в сырой духоте? Если уж приехал в деревню, то банька должна быть хорошо истоплена, веничек не трёпанный, вода из родника в ведре у порога стоять, а не внутри, чтобы не нагрелась прежде времени. Пивко, квасок, а для отдыха — старый диван, притащенный в предбанник из дома. Парился Виталий яро, и Банёк поглядывал на него сквозь щели полка с одобрением.

Лена, Виталикова жена, никакой прелесть в деревенском отдыхе не находила. Бани она терпеть не могла, предпочитая мыться в ванне — так городские называют большое железное корыто, в котором дрызгаются, размазывая грязь тепловатой водицей. Однако и Лена, когда отпуск её совпадал с отпуском мужа, приезжала к деревенской родне и вынуждена была мыться не в городском корыте, а по-человечески.

Поначалу, услышав, что мыться надо будет вдвоём с Виталиком, Лена возмутилась: мол, неприлично это. Виталий даже оскорбился: «Что же, я не муж? Вроде бы я тебя во всех видах видал». «Во всех видал, а в бане — нет!» Чуть не переругались. Но потом Елена увидела, что никто на неё пальцами не показывает, скабрёзно не лыбится... — обычное дело, супруги в баню идут. Смирилась, пошла, только сказала, что париться не станет, а то у неё сердце. Как будто все остальные вовсе бессердечные. А узнала бы про банника, так её туда и на аркане было бы не затащить, бабы на этот счёт пугливые.

К женскому полу Банёк относился с уважением, хотя оценивал сударушек в основном по нижней части. А что поделаешь, если из-под полка кроме задницы и не видеть ничего?

В те времена, когда банники числились не бесовской силой, а ходили в младших богах, покровительствовали они в основном женщинам. Огонь да вода стихии женские: хозяйка дома днюет, очаг бережёт, огонь поддерживает, кашу варит. Хозяину этим заниматься не с руки, он в поле да в лесу, зверя бьёт, хлеб растит. Мужчинам земля да ветер сродни.

В те поры что дом, что баня — всё едино было, и банники от домовых не различались. Но и потом банники женских забот не бросали. Рожали бабы где? — в бане, где же ещё! Как приспеет пора молодой рожать, повитуха баньку истопит слегонца, полы и лавки напоркает, застелет мытым родильным бельём, на каменку полыни кинет для лёгкого духа, а потом приведёт роженицу: опрастывайся, милая. Там младенца и омоет, и перепеленает, и к груди поднесёт, к правой, чтобы левша не уродился.

В бане тепло и немешкотно, дети под ногами не путаются, скотины рядом нет. В других краях, может, и рожают в грязном хлеву, кладут дитя в ясли с сеном, а у нас для того баня имеется. В намытой бане чисто, а что сажа на потолке, так это уголь, от него самая чистота и есть. Это потом люди, отравленные чуждой верой, придумали, будто роды — что-то скверное, и потому роженицу удаляют от икон и прочего пустосвятства. Старые покровители рода на глупые мысли внимания не обращают, пусть люд думает, что хочет, лишь бы поступал правильно.

Роженица натужно кричит, бабка заговоры шепчет, и банник здесь же старается, помогает от сглазу, бережёт от родильной горячки, следит, чтобы молоко к груди приливалось, а в голову не бросилось. За все труды ему новый веник дают, нетрёпанный, кладут под полку со словами: «Паничек-банничек, вот тебе веничек». Да ведь он не за веник старается, а чести для. На русский дух, на людской род всякого зла запасено с избытком, а кто народушко от него оборонит? — младшие боги, больше некому. С Лихом баннику, положим, не совладать, а его меньшого братца — Ляда банник гоняет почём зря. Оттого и по сей день среди любителей парилки лядащих заморышей не встретишь.

Жаль, рожать бабы нонеча в баню не ходят. Говорят, для того есть нарочитый рожальный дом. Какая в том доме нежить хозяйничает — неведомо, но только с тех пор, как роженицы туда переметнулись, народу на Руси убавилось порядком.

Елену Банёк осмотрел придирчиво и остался доволен. Бёдра можно было бы пошире, ну да по нынешним временам и такие хороши. Банёк даже не удержался, шлёпнул по голой попке жёсткой ладонью. Лена от неожиданности подскочила и взвизгнула.

— Ты чего? — спросил Виталий.

— На веник села, — ответила Лена, не обнаружив сзади ничего, кроме шарканого веника.

— Глядеть надо, — посоветовал муж.

На ту пору у Виталика с Леной уже имелся сыночек пяти лет. В баню Елена мальчика не взяла, постеснялась, ну да это сейчас и кстати. Супругам одним побыть нужно, и банька для этого место самое подходящее. А что Банёк рядом, так он не в счёт — не людь, не зверь, просто веником прикинулся.

В человеческой любви и телесной сласти банник понимает более всей остальной нежити. В бедных семьях, бывало, молодым на первую ночь стелили не в доме, а в бане. Ради такого дела баню не топили — и так жарко будет. Шуточка была: подняв на другой день молодых, вытаскивали из-под полка будто случайно обронённое яблоко, показывали гостям — вчера, мол, было свежее, а с утра — печёное.

А уж сколько народу по банькам шальным манером любовью тешилось, о том банник знает, но другим не говорит. Ему до наших законов и обычаев дела нет, у чистых один закон: любишь — ну и в добрый час! Вот тебе крыша от непогоды, четыре стены от ветра и нескромных глаз. А сверх всего — расположение древних богов. Настоящие боги сами в любви понимали и не стеснялись сходить к людям, зачинать детей с ними и от них. Своей любви не стыдились, любили у всего мира на глазах, и человеческой любовью любовались. С тех самых пор страсть людская любовью и зовётся. Когда небо любит с землёю, божественное семя истекает частым дождём, и земля от того расцветает, рождая всякое произрастание.

Это потом, из бесплодных восточных пустынь, где дождика сто лет не дождёшься, пришли аскеты, монахи и иной чёрный люд и объявили любовь грехом. Потому с новой верой у мелких людских помощников и нелады. Это ж до чего должна иссохнуть душа, чтобы женщину сосудом скверны назвать, а детей поделить на законных и выроdkов! У матери-земли каждый цветочек законный, любая бурьянина и колючка. Народ потому так и зовётся, что ему все родные, незаконных детей у него не бывает. И для банника незаконных детей нет, уж он-то знает,

что все одинаково начинаются, одной дорогой на свет приходят.

Но всё-таки удобнее, чтобы ребятишки в одной семье жили, у одной мамки под крылом, у отца под защитой. И в этом деле баннику равных нет. Пойдёт пара париться, от огня разгорятся, от воды — прохладятся, а как напарятся, начинают друг дружку мыть. А там мытьё неприметно переходит в ласки, и творится великая служба истинному богу. Ему не нужны свечи и каждение, не угодны всеожжение и великопостные бдения. Служение это всегда радость, душевная, но и телесная тоже.

Говорят, древние боги требовали кровавых жертв и за то наказаны нынешним забвением. Может, оно и так, только банники, домовые и овиnnики никаких себе жертв не требуют, за так стараются, разве что под праздник хозеява пивом угостят. Старших богов запечная мелочь не видывала, как, впрочем, и нынешнего бога, чья парсуна в красном углу пылится. Так что баннику всё равно, во что люди верят: в крест или кочергу, — лишь бы жили по правде. А правда кровавую жертву признаёт только ту, что приносит женщина, рождая нового человека, или мужчину, когда идёт защищать свой род от иноземной напасти.

Воинские дела — мужские, а банник произошёл от огня и воды — стихий женских, так что и жертва ему нужна женская. Мужчина в таком деле сбоку припёка: выносить дитя не может, родить не может, грудью кормить не может — убогое существо! Но и без него тоже никак. Идут супруги в баню вдвоём, а возвращаясь, порой несут под материнским сердцем будущего ребёнка. И уж банник постарается, чтобы Ляд к малышу не пристал, да и Лихо стороной обходило. Свой всё-таки, на глазах зачат был.

Любовные чары несложные, так что вскоре Виталик увивался вокруг Елены, словно кот возле крынки. Лена как поняла, чего муж хочет, так вскинулась: неприлично это — в бане! Ясно дело, что неприлично, в любви главное не лицо, а то, что баннику из-под полка видать. А с лица не воду пить, были бы глаза светлые да щёки румяные, такая девка кому угодно полюбится.

Ленины капризы банника не огорчили и не возмутили. Коли и впрямь бабе неловко с мужем в бане ложиться, то и не беда, ночь близка, любовного пыла пара не растеряет, а как у них всё было, потом можно домовушку расспросить. Знал Банёк и способы, как любую

недотрогу растопить, но пользоваться ими не спешил. Когда двое могут сами договориться, посторонние чары будут лишними.

И всё же что-то Баньку в городской бабе не нравилось. Не то порча какая в ней имелась, не то — чуждость нечеловечья. Банёк присмотрелся колдовским взором и ахнул: в утробе у бабы, в самом, можно сказать, женском месте торчала железная проволочина, навроде пружинки. Это кто ж бедную так изурочил, да и как возможно над живым человеком такое сотворить?!

Хоть и не полагается нежити в человеческую душу лезть, но если беда большая, такие вещи забываются. Банёк глянул с прищуром в Ленкину душу, да так и сел. Никто бабу не калечил, сама себя изурочила, вставив в причинное место пружину, чтобы можно было спать с мужиками, не боясь оказаться в тягости. Надо же такое придумать — баба на пружинах! Тьфу, и глаза бы не смотрели!

Банёк как ошпаренный вылетел в предбанник, забился под диван. Надо же, до какой срамоты дожил! Конечно, и прежде бывало всякое, когда двое любят, о детишках они думают редко, им больше удовольствия хочется. Потому случалось, что согрешившие девки опосля руки на себя накладывали или выводили нерождённое дитя. Девки вешаются редко, это занятие мужское, девки чаще топят. Смертным делам ни оvinник, в чьих владениях удушенных находят, ни оmutинник, которому достаются утопленницы, не мешают. Коли не может человек жить, пусть становится нежитью. А вот ребёнка вывести — грех непростительный, мстят за него жестоко. Знахарки, которые такими делами промышляют, знают это и боятся запечных хозяев пуще огня. Беззаконная знахарка шагу не шагнёт без креста и молитвы, хоть и понимает, что всё одно и по новой вере быть ей у чёрта на вилах. Но уж лучше чёрт, чем оскорблённый домовый. Чёрта ещё, может, и вовсе нет, а домовый с банником — вот они!

Но как бы то ни было, прежде на такое только с великого горя решались, со слезами и кровью. А тут холодным разумом решено: дескать, нет ничего, и не надо. Только что же это за любовь получается? Дерготня одна на пружинах... Когда люди пожилые в постели обнимутся, им это память и отзвук былого. Ежели женщина неплодна — это горе, хуже которого не бывает — такую и муж бросит, и люди не щадят, кому она нужна, пустобрюхая? Но чтобы здоровая баба сама себе такую долю выбрала? Да ради чего? Ради постельных утех!

Это уже не любовь получается, а разврат, заграничный голый секс. А что развратничают муж с женой, так это ещё хуже. Шалаву безмужнюю хотя бы понять можно и пожалеть. А с этой что делать?

Сто раз Банёк порывался вскочить, ворваться в парилку и учинить над негожами расправу. Обоих придушить... муж небось тоже виноват, мог бы жену в разум привести, прикрикнуть, а то и прибить побольней: что же ты вытворяешь, дурища, ведь из-за твоих дел и я страдаю, люди будут думать, что я и не мужик вовсе, раз от меня дети не родятся!

Всё же удержался, не стал горячки пороть. Головы дуракам оторвать легко, но назад даже самую дурацкую башку не приколотить. Думал Банёк целую неделю, как поступить с Виталиком и бабой его, когда они в следующий раз париться придут. А они не пришли, уехали в свой город. Так что думал Банёк без малого ещё целый год. Крепко думал и наконец выдумал, как беду исправить и чтобы все живы остались.

На следующий год Виталик приехал в деревню один. Елена то ли не смогла отпроситься на работе, то ли просто упрыгала куда-то вместе со своей пружинкой. Так оно и к лучшему, мешать не будет.

В первый же день Виталий спроворился в баню, соскучал за зиму по настоящей парилке. Таскал с криницы воду, немзыкально порывкая: «Истопи ты мне баньку по-белому!..» — и, возвращаясь с ведрами, у самых банных дверей столкнулся с дальней своей родственницей, которую, как и Виталикову жену, звали Леной. Было Лене семнадцать годочков, школу она уже бросила и училась в райцентре на парикмахера.

— Ой, дядя Виталя, вы приехали? А я и не знала!

— Приехал, — отвечал Виталий, ставя полные ведра на землю.

Как с детства звала Ленка его дядей, так оно и прилипло, хотя какой он ей дядя? — седьмая вода на киселе. Так посмотреть, в деревне все друг другу родня. Ленка — Русеева, а Русевы Вешлёвым — троюродные, значит, Ленка и впрямь приходится ему какой-то племянницей.

— А я вот смотрю, камни у вас круглые лежат у стены. С дыркой. Это что же, жернова?

— А как же, — с гордостью ответил Виталий. — Раньше в деревне мельница была, так от неё эти жернова и есть. Музейная вещь! Вообще, их три было, но третий, самый большой, когда дом строили, под пол спустили, на ней

стойка установлена, которая печную балку подпирает. Другого камня не нашли, что ли? А эти два остались, я их берегу. Да это ещё что! Тут старины всякой полно. Котёл у меня в бане стоит — двенадцативедровый, замаешь воду таскать, так я, когда каменку поправлял, на нём клеймо нашёл, старинное. Букв не разобрать, а само клеймо вроде как орёл двуглавый. Вот и думай, сколько лет этому котлу.

— Правда?

— Идём, покажу, пока не затоплено и дыма нет.

Полутёмная банька с запахом остывшего угля и сухих берёзовых листьев, щекочущее прикосновение волос, профессионально подстриженных кем-то из Ленкиных однокашниц... Баньку даже не пришлось применять чары, Виталик всё сообразил сам.

— Дядя Виталья, что вы?.. — перепугалась Ленка, почувствовав на груди мужскую руку.
— Пустите, я лучше пойду...

Ну куда она пойдёт, когда ноги подкашиваются и поплыла прихорошенная головка? Хотя бы и отпустил её Виталий, торопливо растёгивавший Ленкину блузку, никуда бы Ленка уйти не смогла, здесь и упала бы без сил. Только и оставалось бормотать беспомощно:

— Дядя Виталья, не надо... нехорошо это... Дядя!..

Банёк доволен был, как всё славно сложилось. Когда такие вещи сами собой складываются, это лучше всего. Банёк самую капельку вмешался, сделал так, чтобы Ленка, сама не зная зачем, забрела к чужой бане. Потом ещё слегка помог, не Виталию, этот жук бывалый, в таком деле без помощников управится, — а Лене, чтобы не так страшно и больно было расставаться с девичеством.

Вот и ещё одна кровавая жертва, угодная древним богам.

Бани в тот день Виталик не топил, а Ленку отпустил домой только под утро, взявши слово, что завтра она придёт опять.

Слова такие легко даются и легко нарушаются, но Банёк знал — Ленка придёт. Пусть попробует не прийти. И дело не в приворотном колдовстве, а просто Баньку было известно, что Ленка давно неровно дышит к приезжему дяде. Подруге рассказывала, какой красивый у неё родственник есть. У Русеевых своя баня, но промеж банников секретов не водится, и что в одной парилке говорится, тут же в соседней известно бывает. А чем ещё развлекаться мелкому народу, как не сплетнями?

В тот же час Банёк и сам похвастался, как всё придумал и ладно устроил. Будь сейчас стародавнее время, так и вовсе забот никаких не предвиделось бы. Взял бы Виталья себе вторую жену, и городская супруга, чувствуя себя заброшенной, небось избавилась бы от пружины, вернувшись к единственному женскому призванию — рожать детей мужу, а в конечном счёте — всему роду. От родящей-то жены нормальный мужчина никогда не отвернётся. Вот только и слепому видно, что Ленку деревенскую в этом деле и без пружины не обскачешь. Так и будут жить в семейном соревновании, себе и людям на радость. Когда полный дом детишек, то ревновать некогда, к тому же вдвоём и с хозяйством справляться легче.

Жаль, что новый закон правильно жить не позволяет. А закон хоть и дура, но закон, его сполнять надо. Значит, придётся Виталию городскую бабу бросать. Жаль её, а что делать? Ну да ничего, поплачет, поскачет, а там и отыщет себе кого-нибудь. А новому мужу, как ни крути, нового ребятёнка родить нужно. Так и её к жизни вернём, вопреки дурному закону.

Русский человек, как и русская запечная нежить, издавна привык с законом по-свойски обходиться. Сравнивают его и с дышлом, которое куда угодно поворотить можно, и со столбом, что не пересигнёшь, но всегда стороной обойдёшь. Христианский закон тут не исключение, тем более что апостол собственноручно писал: «По нужде и закону применение бывает». После великой войны, когда победители вернулись в разорённые деревни, обнаружилось, что вернулся каждый пятый. В ту пору мужики в открытую жили кто с двумя, а кто и с тремя жёнами. По два огорода пахали, два дома мужской работой обихаживали, в двух семьях детишки звали солдата папой. А что в документах одна жена числится, так документ — это бумага. Без неё, конечно, человек подобен букашке, но в ту недавнюю пору к человеку иного отношения не бывало. Хотя бы и с бумагой, но перед властью ты тля.

И всё же бывает, когда даже перед тлём закон скукоживается. Бабка Матрёна, что и посегодняя в селе живёт, во время войны в председательшах ходила, сама закон исполняла, а после войны у всего колхоза на глазах была второй женой Федьки Смирнова. И ничего, закон помалкивал, да и Лизавета, первая жена, сопернице глаза не выпарапала. Рожали обе чуть не день в день, Лизаветины детишки Матрёну мамой Мотрей звали, а Матрёнины дети Лизавету — мамой Лизой.

Сегодня своих у Матрёны в деревне не осталось, и в старости девяностолетняя бабка живёт хоть и своим домом, но при Лизиных внуках. А кто ещё о старухе позаботится? Так что прежняя семья не распалась.

У нас всегда так: чтобы люди правду вспомнили, нужна большая беда. А та беда, с которой Банёк столкнулся, — невеликая, её не через закон, а в обход закона разводить нужно.

Этим летом Виталькин отпуск тёк медовой струей. Лена под родной крышей и единой ночи не провела, всё на сеновале или под заботливым присмотром банной чисти. Банёк аж лучился довольством: смотри, обормот, экую я тебе зазнобу сосватал! Семнадцать лет, а грудь какая — в две горсти не упрячешь! Потом, когда двоих-троих выкормит, грудь, может, и обвиснет, а покуда соски в небо глядят. Не тебе бы этакую сласть, а парню помоложе, ну да ладно, для хорошего человека не жалко, лишь бы семья крепкой получилась, с детьми и без пружин.

За день до Виталькиного отъезда Лена, как и ожидал Банёк, призналась милому, что затяжелела. Виталий перепугался, принялся что-то высчитывать на пальцах. А чего считать-то? До девяти счесть — пальцев в самый раз хватит; к маю и поспеет ребёночек. А что говорят, будто в мае родиться — всю жизнь маяться, так это предрассудки. Живи по правде — маяться некогда будет, да и Банёк свойственника от маеты предохранит.

Считал Виталий долго, потом тревожно спросил:

— У тебя врач-то хороший есть?

— Зачем?

— Да нельзя тебе рожать, пойми! Тебе же восемнадцати нет!

— К маю будет.

— И куда ты одна с ребёнком?

— А ты?.. — обиженно произнесла Лена.

— Леноч, пойми, я ведь женат, и сын у меня...

...и квартира городская, — дослышал Банёк несказанное и похолодел.

— Я же тебя с сыном не разлучаю, — жалко и ненужно пролепетала Лена. — Видаться будешь, сколько захочешь. А я-то без тебя куда?

— Да брось ты, Ленка... — принялся успокаивать Виталий. — Подумаешь, трагедия... В наше время девчонки до свадьбы и не такими делами занимаются. Найдёшь другого, он ещё мне благодарен будет, что я тебя всему научил.

От таких успокоений хоть в омут кидайся.

Лена поднялась, молча принялась одеваться.

— Лен, — позвал Виталий, — да не обижайся ты...

А у самого внутри клубком взбухла обида: тоже, нашла время, когда норы показывать, всё расставание испортила. А ведь на будущее лето приеду — снова ко мне прибежишь, никуда не денешься.

Лена собралась и ушла, лишь в дверях приостановилась на мгновение и произнесла:

— Прощай, Виталя.

Наверное, ждала, что он её остановит, вернёт, исправит что-то. Виталий промолчал, лишь когда никто, кроме Банька, слышать не мог, выговорил вслух:

— Ну и ладно, так ещё и лучше. Не я тебя выгнал, сама ушла.

Помолчал, успокаиваясь, и добавил:

— Наше дело не рожать: сунул, вынул — и бежать.

Любил Виталик такие приговорочки, частенько повторял их в размышлениях и разговорах. А тут вроде как и к месту пришлось.

Целый год, сидя у холодной каменки, Банёк думал. Старался понять, как случилось, что всё обернулось так негоже. Добро бы у Виталия с первой женой несказанная любовь имела, или к сыну он всей душой прикипевши был... — это Банёк с первой минуты заметил бы и мешаться не стал. А ведь главным в Виталькиных доводах стало невысказанное воспоминание о городской квартире.

Лена тоже уехала из деревни, где все знали о её неудачливой любви, а кто не знал, так догадывался. Из районного центра вести до Виталькиной бани хоть и туго, но доходили. Мир сыщиков не держит, а про всё на свете ведаёт. Так Банёк узнал, что зачатого под его крышей ребёнка Лена извела. И не тайным воровским образом, а пошла к казённому живоде́ру, который выскоблил женское нутро, словно грязную кастрюлю.

Банёк уже не ужасался ничему, даже когда услышал, что живоде́р не только не прячется от добрых людей, но открыто орудует при рожальном доме. А Банёк-то, простая душа, гадал, отчего народу на Руси с каждым годом убавляется!

Деревенские, перемывая Ленкины косточки, девку особо не осуждали. Что делать, раз чёрт под руку толкнул и спуталась девка с женатым мужиком. Теперь уж ничего не попишешь, попутал нечистый, так иди к живоде́ру.

Любит крещёный народ на чёрта валить. На то они и люди, поверху ходят, глаз у них замы-

лен. А мелкая нежить в таких вещах разбирается, и раз запечные не знают ничегошеньки про чёрта, значит, и нет такого. Горькие пьяницы называют чёртиками злыдней — зелёньких человечков с копытцами и длинными хвостиками. Но злыдень — это не чёрт и ничего о чёрте не знает. Это просто мелкий пакостник, которого хороший домовый метёлкой из дома гонит. Говорят, будто злыдни у Лиха на подхвате стараются. Это тоже неправда, Лиху подручные не нужны, а у пакостников свои набольшие есть: баба-Беда и её супруг слепой дед-Бородед.

Иные чертями называют игошей. Игоши толстые, полосатые, с рогами... живут в топком болоте. На человека, бредущего в потёмках, любят налететь, наорать, запугать, да и сгинуть неведомо куда. А так — безвредные твари. Игоши и вовсе из людей произошли, их шишига болотная выращивает. Ворует младенчиков, оставленных под открытым небом, и утаскивает к себе в болото. На деревне верят, будто шишига только некрещёных берёт. Враки это, метёт шишига всех подряд. Она бы и в дом впёрлась, но туда запечный дедушка не пускает. А в поле ребёнка, оставленного в колыбельке на меже, охраняет Полевик, но только если положить у малыша в головых три сплетённых в косичку колоска. Тогда Полевик видит: это свой — жница ему дитя доверила. Будет Полевик у колыбели караулить, топорщить ржаные усы, помахивать колосьями, отгоняя мух да слепней.

Всюду, куда ни глянь, копошится мелкий народец — осколки старых божеств. Вот чёрту места и не остаётся. Говорят, в преисподней он сидит и наружу не вылезает. Так оно то же самое, что и нет его...

Всё это давно промеж нежити обговорено и решено, так что Банёк лишь презрительно покривился, слыша, что Ленку нечистый попутал. А потом вдруг дошло, ведь это он, Банёк, и есть тот нечистый. И неважно, как часто он моется; сладил дело, да не ладно, с чистой душой, да нечисто вышло. Вот и гадай, чисть он после этого или нечисть...

От этой догадки так скверно на сердце стало, хоть себя самого за глотку бери.

В таком настроении и сидел Банёк у холодной каменки всю долгую зиму. Вешлёвых никого в деревне не осталось, Виталик бывает наездами, как дачник, вот и нет баннику зимами работы.

Баню занесло снегом по самое волоковое окно, тьма внутри стояла непроглядная. Ле-

тучие мыши, устроившиеся на зимовку под коньком, во время оттепелей начинали возиться, осыпая вниз перемешанный с копотью мусор. Вскорости грязнца внутри стояла, что в хлеву. Банёк уже ни о чём не размышлял, хотелось только тепла, горячей воды, едучего дыма. Хотелось попариться в терпкой духоте третьего пара, смыть накопившуюся нечистоту. А иначе, какой же он банник?

Виталий, как обычно, объявился в мае. Приехал на посадки, сажать картошку. Огороды обрабатывали общественной лошадью, единственной на всю деревню. Сперва вывозили и разбрасывали навоз, потом перепаживали планы, сажали под борозду картофель и напоследок боронили. Так и объезжали в очередь все огороды. На посадку выходили не только хозяева и мужики с лошадью, работавшие за деньги, но и все соседи, чтобы спорей управиться, не задерживать пахарей. Работали до обеда. Это прежде говорилось, что весенний день год кормит, а сейчас даже в самую страду торопиться незачем, ведь большие поля заброшены, так что их и косить перестали.

Виталию план перепаживали вне очереди, понимали, что человеку на работу нужно и с картошкой тоже нужно управиться. Всё сделали в один день, только не заборонили, это дело терпит до июньской поры.

После обеда Виталий появился возле бани, ещё не успевшей обрасти весенней крапивой. Матерясь на летучих мышей, вымел предбанник, натаскал воды, дров... Банёк угрюмо следил за хозяином сквозь щели полка. И чего добился, дуралей? Что-то не заметно по тебе, чтобы был ты слишком счастлив в своей городской квартире. И денег в городе заработал невелик амбар. Зато здоровье подрастряс. Тридцати лет мужику не исполнилось, а в зад у же побаливает. Ещё чуть-чуть, и всё — как ты сам любишь повторять: «уплыли муде по внешней воде...» — больше в твоей жизни такого, как прошлым летом, не будет. Всякую дрянь рекламную станешь пить, а мужская сила знай себе будет утекать. В таком деле не виагра помогает, а Банёк и плодущий бог Велес. Но они тебе больше не помощники, так что зря ты, Виталя, веники вязал, тебе отныне другая фирма ближе.

Ведь мог бы Виталий сейчас гордо укладывать в коляску перевязанный розовой лентой свёрток, в котором тихонько сопит нагаданная Баньком девчонка. А там, через полгодика, вновь стала бы округляться Ленкина фигура. Сначала — нянька,

затем и Ванька. Деревня ожила бы детскими голосами, жизнь повернулась бы к свету. Живёшь по правде, так кому ни молись, русские боги тебя не бросят, всюду сберегут и охранят. Лихо и баба-Беда только побряхтывать станут в нежилом да-леке, Ляд от тебя и всей семьи стремглав убежит. Жить бы тебе до ста лет, и что такое простатит, слышать только по радио. Так нет, сам выбрал свою судьбу, и зачем тогда возвращаешься к старой бане?

Ячменно запахло пивом, плёснутым на камни. Засвистел сборный веник — берёзовый, с веткой смородины, вставленной в серединку. Банёк, лежа под полком, ждал своей очереди. Пар ему сегодня будет не третий, а второй. Сглупа посмотреть, второй пар лучше третьего, а что толку, если нет радости?

Виталий, вспомнив недавнее, заухмылялся, завёл на свой хриплый манер не петую прежде песню:

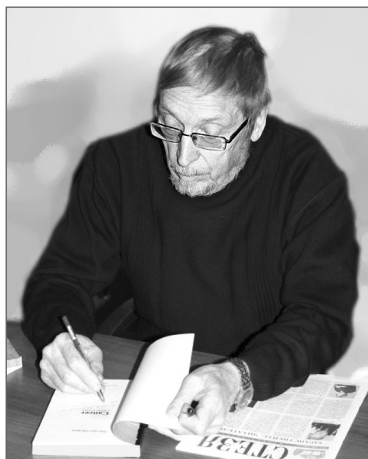
Хорошо помыться в русской бане,
Только вместе с девушкой одной...
Выльешь шайку-лейку,
Ляжешь на скамейку,
Сразу жизнь становится иной!

Как оборвало что внутри. Банёк, чёрный, полгода не умывавшийся, молча поднялся за спиной парильщика, готовый наложить цепкие руки на хрипучее горло.

— Эх, хар-раша!.. — ревел Виталя, охаживая себя по бокам прутьём.

Глянул бы на эту картину простодушный католик, решил бы, что грешник уже в аду, против воли истязает сам себя... вот только почему дьявол, маячащий за спиной, раскачивается и неслышно подвывает, словно от нестерпимой боли?

— Ну-ка ещ-що!.. — заходился Виталя, а Банёк всё раскачивался, плакал и не знал, как поступить, чтобы вернуть себе изначальную чисть.



Михаил Григорьевич Петров – писатель, журналист, основатель и редактор журнала «Русская провинция» (1991—2002). Родился в 1938 в с. Чередово Омской области. Закончил Литературный институт имени Горького. Работал в 1967—1977 в Омске в газете «Молодой сибиряк», редактором детских передач Омского ТВ, в Калининской молодежной газете «Смена», в отделе очерка журнала «Наш современник». Печатался в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Смена», «Москва», «Новый мир», «Литературная учёба», «Волга», «Литературное обозрение», «Лепта», «Слово», «Дон», «Роман-газете», в «Литературной газете», газетах «День», «Сов. Россия», «Литературная Россия» и др. Автор книг: Иван Иванович (М., 1983); Сны золотые (М., 1985); Затяжная весна (М., 1986); На осеннем ветру (М., 1991); На пустыре (Тверь, 2000); Отвергнутый камень (Тверь, 2003); Cancer (Тверь, 2009); Жизнеописание Дмитрия Шелехова (Тверь, 2010). Вотчина или отечество?... (Тверь, 2012). Член СП СССР с 1983, СП России с 1991. Премии: им. Н. Островского ЦК ВЛКСМ и СП СССР (1982), СП РСФСР (1989), «Традиция» СП России (2000) и др. Живёт в Твери.

Михаил Петров

Облака плывут по расписанию

Прошлым летом четырежды побывал у Николая Александровича Ласточкина в селе Рютино. Ласточкин человек местный, родился и вырос в Припиросье, как называет он окружающие знаменитое озеро Пирос тверские и новгородские просторы. Уезжал отсюда лишь на учебу в МГУ да в Ворошиловград, где преподавал в сельскохозяйственном институте после окончания философского факультета. С таким-то образованием и карьерными возможностями в 1970-е годы вернулся домой учительствовать. Но не заладилось. Ушёл в лесники, завел лошадь, кажется, исчез для науки...

В экзистенциализме есть понятие: заброшенность. Это что-то среднее между судьбой и кармой. Ласточкин заброшенности не выносил, философии существования противопоставил желание уяснить своё место в мире, в истории, утвердить с ними связь. Открылась бездна: имена, судьбы, трагедии. Пустыня мира стала заселяться событиями, людьми. Заговорили кресты и могилы. В 1990-е написал книгу «Родники Припиросья», в 1995 году за её журнальный вариант, напечатанный в журнале «Русская провинция», получил первую областную литературную премию имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Занимаясь краеведением, на погосте Рютинской церкви разбудил тени великих насельников края: могилы предков Елены Ивановны Рерих, местной просветительницы Поликострицкой,

великого этнографа и первооткрывателя русской народной натурфилософии Ивана Петровича Сахарова (1807–1863). Церковь находилась уже в полуразрушенном состоянии, погост тоже. В 1936 году после крупного пожара в Рютине погорельцы разобрали надгробные камни под фундаменты новых домов. Местная власть не только приветствовала, даже науськивала на это. Но кладбище, ограда, кусты сирени, высокие кресты существовали еще в 1950-е годы. Потом железную ограду увезли в Бологое, всё покрыла земля. И неподъёмный памятник «вдовы-капитанши» не миновала чаша сия. Утащить сил не хватило, разбили. Валялись выбитые каменные буквы: «Здесь покоится прах вдовы капитанши Елизаветы Алексеевны Поликострицкой, скончавшейся в надежде воскресения и жизни вечной 16 апреля 1863 года. Деяния твои на пройденном уже поприще житейском служат лучшим украшением. Главнейшее же из деяний для здешнего прихода — устройство Храма сего и при нем училища с обеспечением их. Сооружение моста, устранившего трудность сообщения с сим Храмом»...

— Легендарная, великая женщина, — не устает повторять Ласточкин. — Муж её Иван Гаврилович, капитан Кавалергардского корпуса в отставке, умер рано, около 43-х лет, в 1815 году. А может и погиб, есть такие предположения, детей они не имели, вдова все средства и силы отдала устройству прихода. Построила училище. Заметьте: «с обеспечением». Сейчас ведь школу построят, а на жильё денег пожалеют, учителя потом ютятся по квартирам до пенсии. Она строила с жильём для учителей. Системный подход

имела. Рютинцы её и отблагодарили. Кувалдами по памятнику. Мы еле куски собрали. А это надгробье Василия Семёновича Азарьева, тоже сын капитанши Анны Фёдоровны Азарьевой. Это прадед Елены Ивановны Рерих по материнской линии. Свидетельство нашёл в «Русском провинциальном некрополе», а «расшифровал» стёртую временем надпись на камне в 2010 году. От всего погоста уцелели три надгробья с надписями, одна могила без надгробной плиты, предположительно над могилой нашего выдающегося фольклориста, автора «Сказаний русского народа» Ивана Петровича Сахарова. Гордость России, врач, литератор. Последние семь лет провёл в усадьбе Заречье. И такой человек остаётся без памятника! К 100-летию Ивана Петровича Русское Географическое общество, правда, собрало деньги на памятник, но деньги разворовали... И тогда воровать умели...

Ласточкин считает, что духовная жизнь России XIX века прошла под влиянием историка Н. М. Карамзина и этнографа И. П. Сахарова. Их книги способствовали зарождению в стране интереса к народной жизни, философии, творчеству. По стопам Сахарова пошли В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, собиратель народных песен, старин (слово «былина» придумал для них именно Сахаров) П. В. Киреевский, известный славист А. Ф. Гильфердинг. Сахарова оценили Пушкин, Чернышевский, Белинский, Толстой, мыслящая Россия. Но в 1990-е имя уже забыли. Хорошо в те годы возобновили выпуск книг классиков приметоведения: «Месяцеслов» И. П. Калинского (1990), «Народное погодоведение» А. С. Ермолова (1995), «Сказания русского народа» Сахарова (1997)...

Так Ласточкин стал историком края. И сегодня краеведческая тропка к его дому не зарастает, едут к нему из Москвы, Твери, Бологого, Волочка, Удомли, Питера. Идут поклониться могиле Сахарова, за чашкой кофе поговорить с Ласточкиным. Осенью приезжали члены Российского Палестинского общества, почтить память его организатора, все того же И. П. Сахарова. Краеведы слову Ласточкина доверяют на сто процентов. Знают, отсебятины не допустит, всё проверит по документам, спишется с Москвой, с Питером, найдёт необходимые источники и лишь потом возьмётся за перо.

Нынче летом ездили мы с ним в Боровичи, посмотреть порожистую Мсту за Опеченским Посадом, знаменитым селом, откуда лоцманы водили торговые караваны в Санкт-Петербург, покло-

ниться местам его детства и юности. И о чём бы мы с ним ни заговаривали, на всё я встречал в ответ своё, продуманное суждение:

— Михаил Григорьевич, вот ты о родниках говоришь, родники хороши, когда они проверены. Есть у нас в районе целебные Мшенские ключи. Чудо природы, с высоким содержанием железа. Святой, целебный источник... Ключами восхищался ещё Н. К. Рерих. На 9-ю Пятницу попить святой водицы «ото всех болезней» приезжает в Мшенцы тьма народу, из Москвы, Твери, Петербурга, окрестных сёл. Рядом с источником, на взгорке, действующая церковь Параскевы Пятницы. Одно но: возле церкви старый погост, а по другую сторону мшенских ключей, совсем рядом, ещё одно кладбище, «современное». Получается, что Мшенский источник зажат между двумя кладбищами. «Святую» водичку принимают вовнутрь и снаружи, веря в её целебные свойства. Между тем, по данным метрических книг последней четверти XIX в., из всех приходов и погостов Бологовского края Мшенский погост был единственным с отрицательной динамикой населения и самой высокой смертностью среди детей и взрослых. Вода ключей нуждается в серьёзном анализе с последующими рекомендациями по использованию. Я напечатал о том в статье в районке. Пока ни слуху ни духу. Пьют водичку. Какую — неизвестно.

Но главным делом своей жизни избрал погодоведение. Интерес к народной метеорологии возник у него не случайно. В «Сказаниях» Сахарова треть книги занимал как раз «Народный дневник» погодоведа, первое в России научное собрание народных примет погоды. И, по мнению Ласточкина, дневник тот остаётся едва ли не лучшим собранием примет на сегодняшний день. Последующие авторы лишь заимствовали их у Сахарова, Даля, друг у друга... Даже не ссылаясь на них... До Сахарова приметами погоды народ пользовался веками, знал их. Заслуга Сахарова в том, что он собрал их в одно целое. Его приметы, кстати, высоко ценил Лев Толстой. Приметы погоды на весь год представлены им как «Замечания старых людей» с разбивкой по месяцам. И, что особенно важно для Ласточкина, с указанием распространения примет по губерниям.

На взгляд обывателя погода — это хаотичное чередование тепла и холода, дождя или снега и ведра. Разобраться и предсказать погоду на завтра, послезавтра, субботу и воскресенье, на день рождения или на время отпуска, по его мнению, может только Гидрометцентр. Но и ему не верят.

Когда на экранах ТВ появляются предсказатели, он слушает их, но всегда сомневаясь. Красавицы, демонстрирующие у карты России свою статью и модные костюмы, часто ошибаются. И немудрено: к изменам и к переменам склонно не только сердце красавиц, но и ветер мая. А ведь прогнозам их предшествуют высотные зонды, метеоспутники, наблюдения за поведением циклонов и антициклонов, за океаном, магнитным полем земли, за активностью солнца и расположением планет. Ведь погода, климат — это условия обитания человека. Ничто в природе не оказывает такого влияния на нашу жизнь, как погода. Ошибочный прогноз — это загубленный урожай, катастрофы и даже разбитые сердца от несостоявшихся встреч, на которые возлагалось столько надежд... Недаром академик С. И. Вавилов называл прогноз погоды среди трёх «труднейших и актуальнейших научных проблем» времени: рак, управляемая термоядерная реакция и точный прогноз погоды.

Главный вопрос был и остаётся: что есть погода? Хаос? Рулетка? Лотерея или предсказуемый процесс? Случайность или закономерность? Можно ли предугадать погоду за месяц вперед, если она во власти Хаоса? Погода — это Хаос или недопонятый человеком строй циклонов и антициклонов, которые подчинены предсказуемым изменениям, связаны причинно-следственными процессами?

Современная наука считает, что точность прогнозов погоды зависит от точных данных о текущем состоянии атмосферы (температуры, влажности, ветра). Используя понимание атмосферных процессов, вычислительную технику, наука прогнозирует развитие обстановки на будущее. Но хаотичность атмосферы и неполное понимание человеком всех погодных процессов дают немалые погрешности в долгосрочных прогнозах погоды. К ним, можно сказать, наука ещё не готова. Дать точный долгосрочный прогноз погоды труднее, чем предсказать вспышку на солнце. Прогнозы более чем на десять суток пока с необходимой точностью не делаются даже с помощью расчетов и показаний спутников. Они носят ориентировочный характер. Расчёты на восемь-десять суток частенько как бы сдвигаются на день-другой. Поэтому, если сегодня мы читаем, что через десять дней будет 20° тепла, то должны быть готовы к тому, что это случится через восемь или двенадцать дней. И такой долгосрочный прогноз наука считает хорошим.

Народ давно заметил в погодном хаосе строй. Каждый год являются «черёмуховые холода»,

майские засухи, сеногнои, приходит бабье лето, покрывает землю первый снег, трещат Никольские, Рождественские, Крещенские морозы. Наблюдая погодные явления, жизнь живой природы, человек шестым чувством улавливал связи между ними. Наблюдения эти шлифовались веками в народных пословицах и поговорках о погоде. Крестьянин без всяких приборов и зондов, без снимков из космоса, без метеостанций, по приметам определённых, значимых для прогнозов погоды дней, как китайский лекарь по пульсу больного без анализов и рентгена ставит точный диагноз, давал прогнозы будущей весны, лета, решал загодя, когда и что сеять, как планировать уборку.

Ласточкин, живя в далёком от столбовых дорог селе, можно сказать, в одиночку взялся за трудное дело найти эти взаимосвязи по «приметным» дням, на которые народ давно опирался в своих долгосрочных прогнозах. Погоду будущего июня, к примеру, определяет погода на Модеста (31 декабря), а июля на Илью Печерского (1 января). Вековые наблюдения за погодой открыли крестьянину, что дни с 26 декабря по 7 января указывают наблюдателю на прогноз погоды двенадцати месяцев года. Их Ласточкин и взял за основу. Тридцатилетние наблюдения за явлениями погоды на озерах Пирос, Удомля, реках Березайка и Мста позволяют сейчас говорить ему о взаимосвязанности погодных явлений через определённые отрезки времени. Методом проб и ошибок отсеяно множество неверных примет, определено более сорока приметных дней основополагающего характера. Открылись черты постоянства погод, которые сегодня позволяют автору давать долгосрочные прогнозы с точностью до 83,3 процентов. Каким образом осуществляются взаимосвязи между приметными днями и погодой месяца, сезона и даже года, одному Богу известно. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...»

Я листал его записи, склеенные из тетрадных листов в клеточку многометровые полосы графиков, десятки школьных дневников, в которые он ежедневно вносил записи... Каждый день на тетрадных листочках отмечались точки температуры, атмосферного давления, облачности, потом они соединялись между собой, листы склеивались в полосы. В дневники записывал наблюдения. Под особым контролем приметные дни, тут важно было ничего не упустить из виду: утренний туман, иней, обильную росу, ветер. Эти дни на календаре как акупунктурные точки на теле человека. В результате наблюдений вы-

явил группу верных примет и сформулировал свой метод долгосрочных прогнозов на каждый месяц, сезон. К примеру, примета: «Ранняя весна — признак дождливого лета» подтверждена им лишь на 66 процентов. Для прогнозов она принимается, но с оговоркой: более точный прогноз на лето могут дать другие, более близкие приметы — погода на Дмитриев день (8 ноября), на Сретенье (15 февраля), на Евдокию (15 марта). Только проанализировав их на графиках прихода весны прежних лет, можно сделать верный прогноз. Нередко приметы не сходились, противоречили друг другу: дальняя примета сулила будущему августу ненастье, ближняя обещала вёдро. В механизме погоды открылись межприметные связи, а с ними ещё одна важная закономерность: «Каждое метеоявление имеет свой срок прогнозирования, оно должно созреть внутри механизма природы, прежде чем раскроются хляби небесные».

С 1994 года Ласточкин опубликовал более двухсот тридцати долгосрочных прогнозов в газетах Новгородско-Тверского региона. Он автор метода примето-прогнозов в долгосрочном прогнозировании погоды, лауреат и победитель Всероссийского конкурса долгосрочных прогнозов погоды, проводимых еженедельником «Мир погоды» (Москва) по итогам 2004 года. Спрашиваю, бывают ли неудачи?

— А у кого их нет? Ракеты запускают с компьютерами, и то бывают. Надо работать, главное, не бояться и не мудрствовать. Что касается неудач, то удач значительно больше. Не будь их, разве мои прогнозы стали бы печатать газеты, а читатели ждать на фоне ежедневных научных прогнозов погоды?

С предложением давать долгосрочные прогнозы и метеонаблюдения для центрального региона по своему методу Ласточкин обращался аж в Гидрометцентр. Отказали рукой самого Вильфанда, ответившего, что методы приметоведения ненаучны. Но погодник Ласточкина — это не сонник какой-нибудь, не шаманство, с которым любят сравнивать приметоведение синоптики. Да и сны давно уже стали научными элементами психоанализа. Погода — сложнейший, постоянно изменяющийся механизм, а может быть, и организм, процессы которого напрямую связаны причинно-следственными связями с живым существом. Можно ли такой опыт взаимосвязи субъекта и объекта (человека, перелётной птицы, рыбы и др.) исключить из логической цепи достоверных выводов? Человек без всяких метеоприборов чувствует непогоду, усиление сол-

нечной активности, изменение электростатических параметров. Быть может, мы ощущаем ещё и такое, что не снилось нашим мудрецам. Просто ощущения эти не переведены на язык понятий. Сейчас точность долгосрочных прогнозов от науки около 70 процентов, краткосрочных — на один-два дня — около 90 процентов. Погодник Ласточкина дает 83,3 процента... Да ведь и сам Р. Вильфанд нередко ошибается в долгосрочных прогнозах. Ласточкин достаёт вырезки из газет с прогнозами на нынешнюю зиму: «Первая половина зимы в центральном регионе будет холоднее, чем в прошлом году, а вторая — более тёплой. Нынешний зимний период не будет таким теплым, как зимы в 1990-е годы» (ГМЦ, Р. Вильфанд, 4 октября 2012). «Вы что-нибудь поняли, Михаил Григорьевич? Я — нет». А я понял одно: наукой тут и не пахнет.

Прогнозы нынешней зимы Ласточкин угадал более чем на 90 процентов. В то время как Гидрометцентр пугал нас суровейшей зимой, архихолодным январём, Ласточкин печатал в газетах и посылал мне свои прогнозы, в которых говорил другое: в декабре будут морозы, но не такие лютые и продолжительные, январь же будет теплее обычного, зима ожидается снежной, готовьте лопаты и снегоуборочную технику. Думаю: ах, такого бы нашей Думе и бездумному административному новообразованию! Цены бы ему не было. А он всё издателя ищет.

Хотя ищет — не то слово. Ласточкин редко выезжает из дома: огород, хозяйство, метеонаблюдения. Но дивным образом молва о книге расходилась. Сперва по области, потом докатилась и до Питера. Заезжали краеведы, издатели, листали рукопись, обещали «порешать», исчезали. И вот в конце 2012 года сразу два издательства клюнули. Петербургский «Артек» издал без ISBN, в мягкой обложке, тиражом 300 экземпляров. Тверское издательство Алексея Ушакова отпечатало книгу на частные пожертвования Василия Аксёнова... Жаль и этот тираж невелик, но, верю, это только начало. Такую бы в каждый дом, на каждую дачу. Рядом с Сабанеевым и Аксаковым. Тоже труд всей жизни.

Книга написана живым, разговорным языком. Так мог написать влюблённый в природу философ: ясно, логично, афористично. Читая её, нет-нет да и помянешь «Метеорологику» самого Аристотеля. Ничего лишнего, всё чётко и ясно, как в зимний морозный день. Автор учился стилю, на мой взгляд, и у народных примет, пословиц, поговорок, которые органично вплетены в его раздумья...

Ласточкина хозяйство: дом, им самим построенный, сад, огород, в саду пруд с родником, шаровая ива. В сарае боровишка похрюкивает, стерегут усадьбу гуси, ходят по зелёному двору куры, на веранде млеет кошка Наташка. Всегда рядом с ним преданная супруга Тамара. А на двери, как в старые добрые времена, табличка «Н. А. Ласточкин». Усадьба всегда чисто выкошена, сено сложено, везде порядок. Потому и ласточки у него живут, у каждого они жить не станут. А ласточки птички божьи, хозяина с миром связывают. Он лет двадцать уже далее Твери никуда не ездил, а они вон в Африку из-под его застрехи зимовать летают. Подумать только: такие крохи без всяких навигаторов, ведомые птичьими ветрами, летят и, перезимовав, возвращаются назад. Тысячи сёл, десятки тысяч крыш минуют. Чтобы по весне своё гнёздышко прилепить к стене, будто небесным орденом дом наградить. И тоже, наверное, что-то сказывают хозяину: какая зима его ждёт, когда лето придёт. Также ведь профессиональные погодоведы...

— Скажу честно: очень хотел, чтобы у меня жили ласточки. С детства имею к ним симпатию, люблю их полёт, щебет, оперение. Божья птица. Может, фамилия причиной? Хотел, но облетали мой двор стороной. Завидовал даже тем, у кого ласточки жили. И вот лет семь-восемь назад сподобились, слепили на веранде гнёздышко. Все рады, даже кошка Наташка. Ляжет тут и посматривает. Как они спуют, птенцов кормят... Порядок...

Порядка, предсказуемости ждёт от погоды всякий, кто живёт живой жизнью: лётчик и крестьянин, моряк и атомщик. У них погода всегда местная, та, что вокруг них. Для них она всегда связана с расписанием аэропорта, откуда нет вылетов, с океанским штормом, с полем или огородом, страдающим от мороза или засухи, с атмосферой вокруг самолёта, образующей на крыльях губительную наледь, с несущей смерть волной, что идёт на Фукусиму, Саяно-Шушенскую ГЭС, Крымск. Недаром первым спонсором «Погодника» Ласточкина стал технократ, бывший директор КАЭС В. И. Аксенов. Давно заметил его верные прогнозы в удомельской газете...

Точный прогноз невозможен исключительно по одной примете. Чем больше используется примет, тем точнее прогноз. В иных местностях погоду предсказывают по лунным фазам, по растениям. Там, где растут дубы, делают прогнозы на предстоящую зиму по «галлам», «дубовым шарикам», в которых зимует дубовая галлица. Если в зиму личинка галлицы уходит «червячком» —

жди морозной зимы со снегом, если — «мушкой», жди зимы с оттепелями, сырой. Характер предстоящей зимы определяют даже по внутренностям животных, виду свиной селезёнки, например. Короткая и тонкая — зимы жди тёплой; утолщённая и длинная — жди холодной и долгой.

Нет, недаром метеорологи шутят: «Прогнозы всегда сбываются, только место и даты иногда не совпадают». Ещё шутят, что синоптики всегда дают точные прогнозы, но природа не всегда точно их выполняет. Ласточкину предсказывать тенденцию погоды и её отклонение от сезонной нормы удаётся. И надеется удачу свою развить и закрепить...

Когда я говорю ему о четырёх стихиях, о пустоте, обнимающей нашу планету, о чёрной материи квантовой физики, о хаосе и всеобщей зависимости, которая сдерживает хаос, Ласточкин всякий раз обезоруживает словами:

— Михал Григорьевич, не мудрствуй. Предки оставили нам бесценное наследство, проверенные тысячелетием приметы погодных явлений и циклов. Бери их и пользуйся ими. Нужно только умело распоряжаться народной культурой. Если начнём раздумывать, как иглоукалывание помогает нам справиться с той или иной болезнью, разгадывать тайну взаимозависимости, нам ни лечиться, ни жить некогда будет...

О высоком доверии к народному опыту говорит вся книга. Зовёт свои мысли поверять опытом, бесплодные мудрствования фактами и наблюдениями. В России, где царит Его Величество Случай, а в жизни россиянина знаменитый «авось»; где и сегодня берут зонтик на авось, снимают зимнюю резину и не надевают её на авось, не сбивают сосульки с крыш на авось, не обрабатывают спреем крылья пассажирских лайнеров на авось, надеясь, что пронесёт, судя по прогнозу, обойдётся, это особенно актуально. Ласточкин авось не любит. Не удержусь, чтобы не процитировать:

«Напрасно современные месяцесловы переписывают друг из друга январь как самый холодный месяц. Авторы-переписчики не ведут систематических наблюдений за погодой. А наблюдения показывают, что в январе морозы могут быть весьма бодрящими, но они редки, чередуясь с послаблениями и оттепелями. Февраль держится, как правило, гораздо холоднее января: февральские морозы по абсолютным величинам могут несколько уступать январским, но зато они чаще, гуще, злее, лютее, многодневнее, да и с оттепелями в феврале все в порядке (т. е. меньше их. — М.П.).».

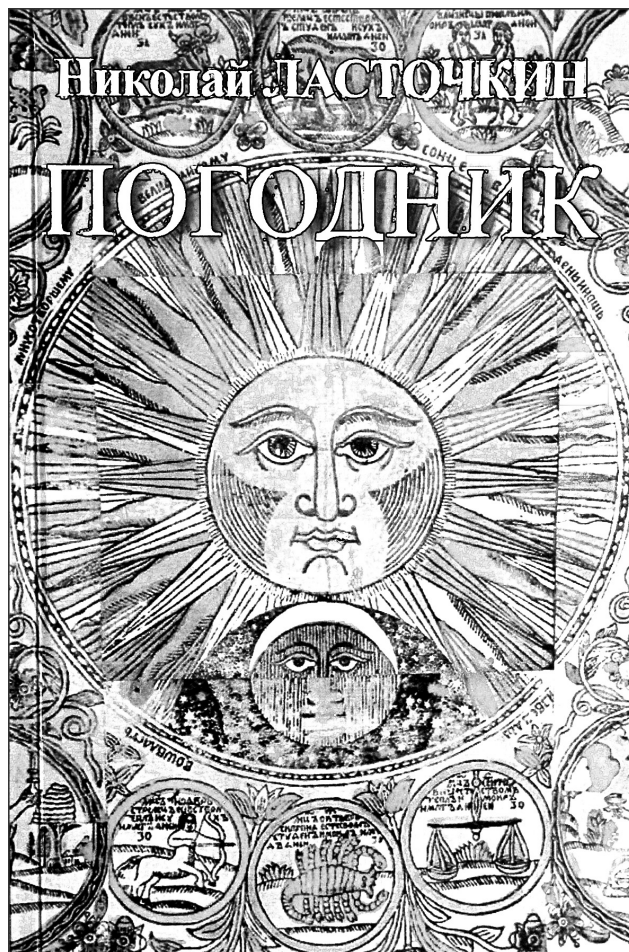
Вот те и февраль-бокогрей. Погреет, погреет да и прижмёт. «Погодник» разрушает многие ложные представления о погоде, даёт уроки нравственности. Читая его, невольно проникаешься их ценностями. Непредсказуемая, балансирующая на грани с непогодой погода разобрана здесь по косточкам. Дорогого стоят приложения и примечания к книге. Здесь мы найдём «Практический календарь народных примет и приметных дней Припиросья», «Продолжительность отдельных фенологических и хозяйственных явлений Припиросья», «Календарь основных православных праздников», список имён святых и приметных дней, имеющих отношение к погоде, по которым любопытный читатель может проверить, как работают приметные дни в его местности, и даже начать собственные наблюдения. А шестая глава — «Полный погодный месяцеслов В. И. Даля», выбранный автором из четырехтомного «Словаря живого великорусского языка» Даля и «частокола» его же пословиц и поговорок. Автор проникательно замечает, что и весь Далев словарь начался с сугубо «погодного» словечка «замолаживает», услышанного от кучера. Бережно и любовно Ласточкин перекопал весь словарь, выбрав из него всё, что народ относил к погоде. Это кладёзь погодных народных терминов, сама поэзия. Тут и дождь-ситничек, и сено-гной, и косохлёт, и всевозможные заледки, зазимки, и снег-лепень, и уброд, и понизовка, всё, на что разом отзывается всякое русское сердце.

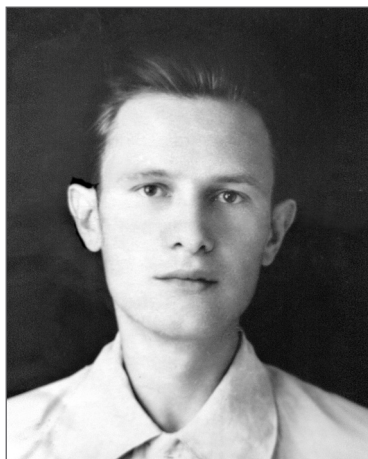
Читателя увлекут диалоги автора с погодоведами и синоптиками, цитаты из древнерусских летописей о необычайных явлениях природы, он узнает, почему русский человек примечал погоду по святцам, и многое, многое другое. Екатерина II, оказавшись в России на престоле, пытаясь понять русскую погоду, пришла к выводу: «В России две зимы: одна белая, другая зелёная...» Да, в России погода явление едва ли не религиозное, сопряжённое с тайной мироздания. Недаром поётся: «Когда весна придёт, не знаю...» Да и придёт ли вообще, может, после зимы сразу наступит лето, а лето перейдёт в осень. Недаром остряки-образованцы шутили в недавние времена: «Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это...» Пошутили, пошутили, а старые замашки ковать указы оставили. Уж и до расписания суток добрались: зимой глянешь в окно в восемь утра — ночь, в девять — ночь, в десять — ещё фонари горят. Без Гулага народ на целый час к Воркуте приблизили.

В России всё проходит: монархии, капитализм, социализм, демократии, олигархии...

Погода остаётся... Быть может, она и есть тот самый незримый Русский Бог, что притулился где-то между Спасителем и Угодником Николаем. У которого просят милости утишить крещенские морозы, подвалить снежка на поле, послать на будущую весну тихое водополье, не наслать на лето заморозков. Молят потушить дождём лесные и торфяные пожары, выделить пару погожих деньков на Петра и Павла да недельку-другую вместе с бабьим летом для уборки урожая... И который вместе с дубиной народного гнева помогает нам выдворять из завьюженных полей окоченелых супостатов.

2013, Тверь





Александр Горст родился в 1924 г. в с. Нижняя Добринка АССР немцев Поволжья. В 1928 г. семья переехала в город Карши Узбекской ССР, затем в город Янгиюль Ташкентской области. В марте 1942-го был мобилизован через военкомат в лагерь Челябметаллургстрой НКВД СССР. В декабре 1946-го вернулся в Самаркандскую область к родителям. Закончил заочно физико-математический факультет Самаркандского университета. Работал (1952–1959) учителем в узбекских школах, а позже до 1984 г. в Самаркандском институте усовершенствования учителей и инспектором Областного отдела народного образования. После выхода на пенсию проработал несколько лет в интернате для глухонемых детей учителем труда и черчения. Отличник народного просвещения Узбекской ССР (1967) и СССР, награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971) и медалями. С января 1998 г. проживал в Германии. Умер в 2007 г. в городе Битигхайм-Биссингейм.

Александр Горст

Годы плена у своих

Ангелы родины! Вы, слепящие взоры людские,
Вы, пред которыми муж, как бы он ни был велик,
Падает ниц, одинок, и только с поддержкою друга
Может снести этот груз, силы дающий ему, —
О всеблагие, примите мою благодарность за близких,
За дорогих мне людей, счастье моё на земле.
Гёльдерлин. Штутгарт. Перевод Е. Эткинда

Посвящаю детям и внукам

Учились мы тогда в десятом классе средней школы № 5 в небольшом городке Янгиюле в Узбекистане под Ташкентом, на железнодорожной станции Кауфманская. Был 1941 год. 22 июня проснулся в три часа дня — после выпускного вечера, продолжавшегося до 6 утра, — и дотоле спокойную мою душу омрачили известия о начале войны, самой жестокой, самой кровопролитной из всех войн.

В это время у меня было два старших брата: Виктор и Леопольд. Виктор со своей семьёй — супругой и двумя дочерьми-школьницами — жил и работал в Андижанской области на строительстве гидроплотины «Кампыраватводстрой», а Леопольд служил в армии сначала в Кушке, а затем в пограничном местечке Фирюза под Ашхабадом.

В конце апреля 1941 года получили телеграмму от Леопольда: «Буду проездом, Красноводским [поездом]». Встречали с отцом. Из вагона вышел стройный, подтянутый красноармеец,

вооружённый револьвером, и доложил после объятий с отцом и со мной, что едет в Ташкент в САВО (Среднеазиатский военный округ), сдаст военные пакеты и на обратном пути на двое суток заедет домой. Двое суток, проведённые в общении со средним братом, 1916 года рождения, оставили много воспоминаний о нём. Это была наша последняя встреча. Предстояла ещё одна последняя встреча — со старшим братом Виктором, 1908 года рождения, в 1942 году. О ней расскажу позже. Я с 1924 года.

Помню 39—40-й, годы подъёма технического творчества молодёжи, увлечённой идеями Циолковского. Мы, ученики седьмых — десятых классов, изучали в детской технической станции (ДТС) радиodelo, фотоделo, авиамоделизм. Ракетные кружки ещё не существовали, но я увлёкся и успешно запускал примитивные бумажные ракеты. Одна из них спикировала в стог сена военрука школы — майора Ляпина, жившего через два двора от нас. Стог сена сгорел, но военрук, узнав через несколько дней, чьих рук это дело, сначала отругал, а под конец похвалил за интересное увлечение. Отец сделал мне внушение, объяснив, чем это могло кончиться. Но майор Ляпин оказался весьма благородным человеком. Он серьёзно относился к начальной военной подготовке школьников. Изучали ПВХО, тактику, геодезию, азбуку Морзе, морскую азбуку, всё практически закрепляли в военных играх. Майор провёл с нами инструкторский семинар, а мы уже готовили значкистов ЮПВХО из числа учеников пятых — седьмых классов.

* Журнальный вариант. Комментарии и биографическая справка подготовлены В. Кригером. Оцифровка рукописи сделана Андреасом Идтом, г. Бургриден, Германия (Andreas Idt, Burgrieden).

Так что к войне против фашизма мы готовились, но были слишком уверены в лёгком её исходе. В окончательной победе Красной армии мы не сомневались ещё в начале войны, когда наши войска отступали в беспорядке. Проходили допризывную подготовку все вместе — русские, украинцы, узбеки и я — немец по происхождению.

Как и все парни нашей школы, я был воспитан комсомолом и всем образом той жизни — в духе советского патриотизма. Особую любовь мы проявляли к легендарной Красной армии. Одухотворённые преданностью Родине и романтикой юности, мечтали о профессии военного командира. Я направил документы в Севастопольское военноморское училище береговой обороны. Пока вопрос моего вызова решался, мы активно участвовали в проводимых военкоматом и школьным комсомолом военных играх, «брали штурмом аэродром». Я с криками «Ура-а-а!» — среди тех, кто впереди всех рвался в «бой». Очередная военная игра проводилась в строгой секретности. Меня, по рекомендации майора Ляпина, назначили командиром взвода. Нам вручили по секретному запечатанному конверту. «Вскрыть в 3 часа, выполнить приказ! За преждевременное вскрытие и невыполнение приказа — трибунал!» В школе я отличался дисциплинированностью. Поставил будильник на 3 часа, положил пакет под подушку, чтобы не узнали ничего родители. Приказ! Проснулся мгновенно от резкого звонка. Вскрываю пакет: «Приказано командиру взвода Горсту А. обеспечить явку к четырём часам в школу следующих бойцов, проживающих по адресам (список фамилий и адресов)». Сначала растерялся — ночь тёмная, из пяти только один адрес мне знаком. Спустя некоторое время сообразил, что сначала надо отправиться по знакомому адресу и с помощью вызванного «бойца» искать других, проживающих в разных концах города и за городом. С трудом, обороняясь от собак, оповестил всех, и к пяти мы собрались в школьном дворе. На ходу принял взвод, выслушав от военрука выговор по поводу опоздания. В составе школьного батальона мы выступили в поход. Игра по обнаружению и уничтожению заранее расставленных огневых точек «противника» прошла увлекательно. В восемь утра колонна маршем под звуки школьного духового оркестра входила в город. Прохожие с удивлением смотрели и не могли понять, откуда мы. Настолько всё было серьёзно и секретно.

Вскоре меня вызвали в военкомат и вручили письмо от начальника военноморского училища в Севастополе с отказом в приёме — как немцу. Я расстался с военной романтикой юности и по-

ступил в индустриальный институт в Ташкенте, сдал экзамены на факультет геологоразведки. Жил в общежитии, занятия приходилось пропускать почти ежедневно, чтобы выстоять очередь за коммерческим хлебом. Наступила осень, студентов мобилизовали убирать хлопок. Сбор на Ташкентском вокзале. Город затемнён. Погрузились в вагоны. Утром прибыли в Гулистан Сырдарьинской области. На полтора месяца продовольственная программа была решена. Кто учился в вузах Узбекистана, знает, что такое хлопковая страда: студенты разных национальностей сплочены в единый дружный рабочий коллектив, зато хотя и скромно, но кормят.

Завершился 1941 год. Мы с Ваней так рассуждали: «Чем глубже проникают фашистские войска на нашу территорию, тем им труднее, тем меньше войск у них остаётся на передовой, а в тылу у них развернётся всё шире партизанское движение». Помню, Ваня сравнил блицкриг противника с погоней льва, у которого на каждый последующий прыжок остаётся всё меньше сил, и в какое-то время они иссякнут.

Пару слов в память о моём друге. Ваня из простой крестьянской семьи, родители — рабочие совхоза. Он был очень одарённым юношей — самородком. Удивлялся я его способностям в учёбе, физической выносливости. Он легко справлялся с грамотой, литературой, играючи осваивал физику, математику, химию, окончил десятый класс с отличием. Когда меня призвали в «армию» через горвоенкомат, провожал меня Ваня, а Юрий Борисенко напутствовал в добрый путь. (С Юрой мы учились в одном классе семилетней школы, потом в разных средних школах, но жили по соседству. Его судьба мне неизвестна.) О судьбе Вани я узнал позже, находясь уже в так называемой трудармии. Его призвали вместе с отцом. По дороге на фронт эшелон бомбили, и они оба погибли. Так ушёл из жизни мой школьный друг Иван Сергеевич Кузенков. Наследников у него нет, он не был женат и был единственным ребёнком в семье. В средней школе № 5 им. Горького нынче стоит памятник погибшим ученикам и учителям, на котором среди других выбиты имена учеников из нашего класса: Борисенко Юрий и Кузенков Иван. В сооружении памятника я и моя сестра оказали, как и многие другие, материальную помощь.

Итак, был конец марта 1942 года. Повесткой горвоенкомата меня и других в возрасте от 15 до 55 лет призвали в ряды Красной армии. Получив в комсомольском комитете запечатан-

ный пакет с личным делом, я явился с вещами и постелью на призывной пункт. Хотя шли слухи, что нас, граждан СССР с отметкой «немец» в паспорте, отправят на работу в трудовую армию, в душе у меня теплилась надежда, что членов ВЛКСМ и ВКП(б) направят в действующую армию, на фронт. Но, увы, надежды не оправдались, нас повезли на Урал для претворения в жизнь идеи Троцкого «О мобилизации населения в трудовую армию» с изуверским практическим её осуществлением Сталиным. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года обвинил всех немцев Поволжья в пособничестве фашистам: «...имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселённых немцами Поволжья». В то время таким указам было принято верить, тем более членам ВКП(б) и ВЛКСМ (их было много среди азиатских немцев). Но всё же сильно сомневались. Разве можно обвинить в измене весь народ республики? И если надо было не допустить контакта советских немцев с наступающими германскими войсками, то можно было население просто эвакуировать, как это делалось по отношению к другим народам. А так это смахивало на геноцид, тем более что высылке подверглось всё немецкое население в любой местности. Позднее, в 1944 году, я узнал, что высланы и финны (из Карело-Финской АССР), мадьяры, австрийцы (военнопленные Первой мировой и их дети). А почему невозможно призвать мужчин в действующую армию и отправить укреплять границу на Дальний Восток, учитывая, что в Первой мировой на стороне русской армии и её союзников участвовало около 100 тысяч немцев из российских поселений? Да и до середины 1942 года сотни тысяч советских немцев находились в рядах действующей армии на фронте, и случаи предательства среди них были единичны. С такими мыслями я ехал на трудовой фронт. С такими думами прошли годы войны.

В Ташкенте — санобработка в бане текстилькомбината, строем до вокзала с вещами и постелью, посадка в телячьи вагоны по сорок человек на две оси, гудок паровоза — и 3 апреля 1942 года мы тронулись в путь...

Куда едем — неизвестно, сопровождающие нас представители НКВД держали это в секрете. Я ехал в двадцатом двухосном вагоне, устроился на втором ярусе. Путь до места назначения длился четырнадцать суток. За всё время нас потчевали горячим питанием только раз, и то по ошибке, приняв наш эшелон за воинский. Это было на

станции Казалинск в Казахстане. Вот здесь мы и встретились в последний раз со старшим братом Виктором. Ему было тогда 34 года. (До мобилизации жил в Андижанской области, участник строительства Большого Ферганского канала.) Я стал просить начальство перевести меня во второй вагон к брату, но мне было отказано под предлогом, что всё равно будем вместе, когда приедем. Увы, ночью в Челябинске эшелон расцепили. Передние вагоны, где был брат, оставили, а нас привезли на станцию Чебаркуль и выгрузили 17 апреля. В пути на каждый двухосный вагон три раза выдавали по две-три буханки хлеба, и всё. В основном мы занимались самообеспечением, на стоянках меняли вещи на муку. Запомнилась трёхдневная стоянка на станции Акбулак Оренбургской области. На базаре выменял на домашнюю новую куртку килограмм муки. Месили тесто, по очереди жарили лепёшки, прилепив их к стенке буржуйки, уголь добывали, набирая понемногу со встречных эшелонов. Одним словом, в пути изрядно наголодались и до начала работы уже потеряли много сил.

В Чебаркуле к концу дня за нами явился представитель лагеря и повёл в лес за 20 км. Была распутица, ночь, несли вещи с трудом. Прошли село Непряхино и в 5 км за ним обосновались в лесу, где башкирскими «трудоармейцами» был подготовлен барак и расставлены две палатки на сто человек каждая. Нас покормили пшённой кашей, и мы уснули в три часа ночи на своих вещах.

Просыпались по-разному. Кто выскакивал из барака обозреть окрестности, кто опасливо выглядывал в окошко, как будто боясь оживающей природы, а кто-то, безразличный ко всему, тоскливо сидел на вещах, опустив голову: дома остались дети, жёны, старики... Надо было умыться и скинуть с себя 15-дневную дорожную неподвижность. Я выскочил из барака, огляделся кругом заворожённо. Я такого ещё никогда не встречал: дымка испарений над голубыми озёрцами и холмами, зеленеющий мох, стройные сосны и берёзы, волны тёплого воздуха... Так и хотелось пройтись быстрым шагом по окрестностям нового жилья и впитать в себя всю эту прелесть. Двинулся к небольшому утёсу, предвкушая прогулку вокруг красивого озера, и вдруг навстречу выскакивает из укрытия с оштыкованной винтовкой наперевес вохровец: «Стои, назад!» Говорю: «Надо по естественным надобностям». Слышу в ответ: «Стои, стрелять буду!» Я ушёл в противоположную сторону — снова охрана. Прошёл по периметру — кругом оцепле-

ние. Вернувшись в барак, рассказал ребятам, они не поверили, а потом сильно расстроились. Так 18 апреля 1942 года мы стали заключёнными.

В тот же день мы узнали, что находимся на территории знаменитого Ильменского заповедника им. Ленина. Специальным постановлением Государственного Военного совета обороны ввиду чрезвычайного положения было разрешено разрушать святыни заповедника. Его мы будем вырубать: уничтожать лучшие сорта могучих мачтовых сосен и снежно-белых строительных берёз. На второй день появилось начальство: Толстов — начальник стройотряда, Полишко — политрук и другие. Стройотряду присвоили номер 11, а само название «стройотряд» скрывало истинную форму положения заключённых концлагеря. Началось формирование подразделений — колонн, бригад и оформление (фотографирование в профиль и анфас, оттиски пальцев, медкомиссия определяла годность к тому или иному по тяжести физическому труду), на заключённых заполнялись анкеты с данными и адресами родственников. Обычно в концлагеря сажали за преступления, придуманные и приписываемые «врагам народа». Все они имели статью. Нас сконцентрировали в лагеря за то, что в паспорте, в метриках в графе национальность было записано «немец». За что? Почему люди должны отвечать за деяния фашистов, если они, советские немцы, не имели никакой связи с Германией, выступали против нацизма, под оккупацией не были? Их даже подозревать в предательстве считаю преступлением.

Стали строить бараки, кухню, вспахивать огневую полосу, ставить вышки, вкапывать по периметру столбы, обтягивать колючей проволокой в два ряда, подобно шёлковому червю, оплетающему себя в коконе. Мы в «безопасности»: наш покой будут «охранять» от населения «Большой земли». По-другому это не объяснить: за колючей проволокой — советские люди, в числе которых — коммунисты и комсомольцы, орденосцы Гражданской войны и пятилеток, без объявления наказания и срока заключения, без суда и следствия. Так начались годы плена у своих.

Когда вначале многие стали возмущаться, нам объяснили, что будем строить лагерь для военнопленных. Но мы уже знали и видели в пути следования на Урал такие лагеря за колючей проволокой, где работали «трудармейцы», мобилизованные раньше нас. Мы не верили, что окажемся в таких же лагерях. Но, увы, случилось то, чего мы не предвидели.

На третий день стали вызывать к начальству лагеря для зондирования и формирования подразделений. Беседа со мной проходила по следующему сценарию:

Толстов (начальник стройотряда):

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать недавно исполнилось, — отвечаю.

— Образование?

— Окончил десять классов. Учусь на первом курсе индустриального института.

— Вы уже не учитесь!

— Мечтаю закончить, когда кончится война.

— До этого надо дожить.

— Постараюсь, — говорю неуверенно.

— Если мы вам дадим такую возможность.

В разговор вмешивается Полишко (политрук):

— Вы комсомолец?

— Да, — отвечаю, — с 1939 года, когда учился в восьмом классе.

— Личное дело и комсомольский билет при себе?

— В нагрудном кармане.

— Покажите!

Достаю билет, пакет с личным делом, запечатанный сургучными печатями горкома комсомола, и подаю политруку. Посоветовавшись между собой, Толстов объявляет:

— Мы назначаем вас бригадиром. Будете возглавлять ответственную бригаду возчиков, на которых лежат обязанности возить воду, дрова, подвозить кругляк к лесопилке, чурочному хозяйству, другие хозяйственные работы, отвечать за состояние лошадей. Бригаду комплектуем из опытных возчиков, работавших раньше на лошадях.

— Навряд ли я справлюсь, — отвечаю. — У меня ещё нет никакого житейского опыта производственного общения с людьми.

— Научитесь, завтра примете бригаду. Вы свободны.

— А можно вопрос?

— Ну, давай! — даёт добро Толстов.

— Почему нас охраняют? Нет доверия? Меня, комсомольца, тоже будут водить под штыком? За что недоверие?

— Ты немец! — разъясняет политрук.

— Но я же советский человек!

Раздаётся дружный хохот начальства:

— А мы чекисты!

Беседа велась относительно корректно, а Толстов и Полишко показались мне людьми доброжелательными. И я принял желаемое за

действительное; но позже почувствовал на себе их волчьих зубы.

К концу третьих суток мы закончили работу по установке колючепроволочного ограждения, вышек, проходной и ворот «рая». На третьи сутки утром команда: «Выходи строиться на плац, на поверку, на развод! Построение побригадно!» И мы вышли строиться, а за зону, во внешнюю часть лагеря, нас выводили под охраной. Там уже вокруг производственного участка (лесничество, чурочное хозяйство, конный парк, склады, административные здания, контора и др.) было выставлено оцепление.

Нарядчик направил мою бригаду на конный парк. Разобрались, за кем закреплена какая лошадь, какое транспортное средство в чьём распоряжении и на какую работу направляется возчик. Все разъехались, а я обязан осуществлять контроль — обходить объекты. Стал передвигаться и почувствовал слабость в ватных ногах (ведь уже три недели как из дома, и фактически кормёжки не было). Через каждые 20—50 метров находил пенёк и присаживался на минутку-две (это в 18-то лет!). Работать требовалось в темпе, за чем следили специальные надзиратели. О конце рабочего дня извещал специальный свисток локомотива, и все дружно собирались по бригадам, выстраивались перед входом в «рай». Все жаждали скорее вкушать вечерней баланды. Спустя дней десять в очереди к окошку кухни я наблюдал такую сцену: отходит очередной доходяга от окошка, на ходу ложкой пытается что-то извлечь из жидкости в котелке, и приговаривает: «Wieder Wasser!» Следующий идёт, произнося: «Immer Wasser! Reines Wasser! Lauter Wasser! Helles Wasser! Wasser! Wasser! Wasser! Wasser!...»

Трагическое творчество проявлялось изоощрённо и непрерывно. Мои ноги продолжали всё так же наполняться «ватой», и не только от «светлой воды». У меня не было котелка — ими нас не обеспечивали. Вместо котелка мне приходилось совать в раздаточное окошко детскую кастрюльку, вмещающую лишь пол-литра жидкости. Что делать? Где взять котелок хотя бы на литр? Подсказали: можно выменять на пайку хлеба у ребят, которые работали в мастерских. Я прикинул: пайка 400 г заменит примерно ведро баланды, если его нальют в числе первых. Получая в свою кастрюльку полнормы, я терял в день 200 г хлеба, в 10 дней — 2 кг. Расчёт меня убедил, и я выменял на хлеб котелок, изготовленный из ржавой жести.

Люди настолько изголодались, что многие опускались нравственно, не брезгуя ничем. Ели

траву, корни, а несколько молодых ребят на моих глазах копались в помойке кухни, находили и ели различные гнилые отбросы. Судьба их закончилась трагично, они скончались от кишечных заболеваний.

Идёт изнурительная «служба». Днём на производстве 12 часов, вечерами выгоняли всех трудиться на объектах по благоустройству: строили бараки, баню, туалет, вошебойку, стелили деревянные тротуары, корчевали пни. А пока спали в палатках и деревянных бараках в ужасной скученности на общих нарах из жердей. Настолько было тесно, что спать приходилось только на боку, а переворачивались по команде кого-либо из мучеников. Срок заключения в лагерь не объявлен. Как мы поняли — «до особого распоряжения».

В конце мая получил первое письмо от сестры Виктории. Она училась в Ташкентском педагогическом институте, жила в общежитии. Пишет, что, как только всех мужчин увезли на Урал, через пять дней старикам, женщинам и детям объявили о 24-часовой готовности к выселению из Янгюля. Помню, до нашей мобилизации в «тудармию» у органов внутренних дел были планы о выселении всех вместе. Но надо же сурово наказать советских немцев за вероломство Гитлера, развязавшего войну против советского народа. Таким образом, когда мужчины ещё ехали на трудовой фронт, их семьи выселили со всей территории Ташкентской области, из городов и районных центров всей республики в колхозы и совхозы. Месть восторжествовала, виноваты даже ещё не родившиеся. Их тоже ждёт наказание, и ещё много лет и после войны, за то, что их будущие родители — немцы. Таким образом, «тудармейцы» и их семьи надолго потеряли связь друг с другом. Расселяли семьи, не допуская скученности в одном месте, по три-четыре вагона на одной железнодорожной станции, разъезде, в Самаркандской и других областях. Расселяли в разные хозяйства: «бдительность» высочайшая. При выселении разрешалось брать с собой ограниченное количество вещей, в основном одежду. Дома, мебель, скот, всё движимое и недвижимое предложили оставить, не возмещая и не компенсируя ничем.

У меня до сих пор не укладывается в голове: что дало стране повсеместное выселение немцев? Допустим, можно оправдать выселение немцев Поволжья, там приближался фронт. Хотя, справедливости ради, можно было просто эвакуировать. Население не ждало оккупантов и даже призывало народ Германии повернуть оружие

против фашистов. Почему-то надо было отрывать органы госбезопасности от настоящих дел, отвлекать транспорт и другие резервы, необходимые фронту, на массовые выселения людей и организацию геноцида. В Первую мировую войну российские немцы участвовали в войне против Германии (на Турецком фронте). Царь доверял?! А вождь народов? Никому...

О студентах-немцах, проживающих в общежитиях Ташкента, в первое время забыли, не учли этот «объект». Их собрали позже на вокзале и отправили вдогонку к местам выселения. Об этом в подробном письме, которое получил от сестры Виктории, я узнал, уже находясь за колючей проволокой. Письмо на десяти страницах первым попало в руки знакомому нашей семьи Андрею Шлюнду, ветеринарному фельдшеру. Вспоминаю: вхожу после рабочего дня в барак-палатку, слышу в полной тишине голос Андрея. Он громко читает письмо, а все мужчины в гробовом молчании слушают рассказ Виктории о пережитом в поисках родителей, когда её выслали в числе студентов из Ташкента. У многих на глазах слёзы. Оказывается, я один из первых получил вести от родных. Письмо было без цензурного сокращения и поэтому так эффективно звучало. Позже письма приходили уже после цензурных трудов с зачёркнутыми чёрными полосами на 2/3 содержания, и порой было трудно узнать правду о родных. Андрея я, конечно, извинил за самовольное вскрытие письма, понимая, что люди получили весточку о семьях.

Я нёс ответственность за выход людей из бригады на сверхурочные работы, которые длились обычно до вечерней поверки. Средний возраст моей бригады был в пределах 40–55 лет, когда людям уже сложно привыкать к голоду, холоду, изнурительному труду. Мне их было очень жалко. Отдельным членам бригады, более ослабленным и старым, я разрешал не выходить на сверхурочные работы, но просил не показываться в бараке. Значит, прятаться по углам. А меня за это начальник колонны поднимал после 3 часов ночи и «накачивал» почти до утра, угрожая изолятором, штрафной бригадой, и утром я шёл на развод, не выспавшись, голодный, в сопровождении вохровцев. Тогда я ещё не понимал, что в условиях войны не может быть жалости, ослабления дисциплины среди «трудармейцев». Это расценивалось как подрывная деятельность, и я должен был быть в ответе. Но я в глубине души был доволен, что жалел людей.

Нам не выдавали никакой одежды, обуви. Работали кто в чём приехал, всё быстро обмывалось. Жалобы расценивались как бунт, «недовольных» судили, «особые совещания» приговаривали к десяти годам за «контрреволюционную деятельность», этапировали в северные лагеря на растерзание уголовникам. Жуткие бытовые, санитарные условия, голод начал косить людей. Спали на общих нарах впритирку, только на боку. Бани два месяца не было, появились вши, накидывались на скелеты кровожадные клопы, блохи. Вшей развелось настолько много, что ползали по белью косяками. Особенно тревожили ночью, скопляясь в основном под мышками. Приходилось пригоршнями выскрёбывать их на пол. У меня было в запасе две пары белья из дома. Дошёл до того, что снимал с себя бельё вместе со вшами и выбрасывал. Оставалась одна пара, которую не выбросишь. Начальство командовало выходить на территорию лагеря, организованно снимать с себя бельё и давить вшей ногтями. Мера временная, вши размножались быстрее, необходимо было думать об организации бани, вошебоек, проведении массовых санитарных мероприятий. Жутко, когда тебя грызут вши, а ты не в состоянии от них освободиться, и это вспоминается очень часто как самые страшные и неприятные эпизоды лагерной жизни. И только через семьдесят дней были построены баня и вошебойки.

Проведя такую ночь, едва поев, терпя оскорбления лагерного начальства, obsługi и охраны, как могли «трудармейцы» выполнить производственную норму, которая рассчитывалась на здоровых откормленных рабочих? Нам говорили, что не выполняем норм, не хотим хорошо работать, поэтому и приходится работать по двенадцать часов на производстве. Сами, мол, виноваты. Логично. Отвечать нечем, подымай молча. Разговоры о плохом питании и прочие недовольства приравнивались к саботажу, как контрреволюционная пропаганда.

Ужасную картину представляли сам лагерь и его заключённые. Два ряда колючей проволоки, вскопанная огневая полоса, вышки с прожекторами, «попки» с автоматами и ручными пулемётами. По внешнему оцеплению на цепях по проволоке носились с яростным лаем злые овчарки. Кстати, в их довольствие, кроме всего прочего, входило качественное свиное мясо, сало. Мы часто вечерами, стоя группами на холоде в ломотях у колючей оград, наблюдали, как вохровцы, дразня собак, бросали им куски мяса на

ярко освещённой электричеством площадке вне зоны. Визг, вой, грызня раздавались вокруг. О, как мы мечтали быть на месте собак!

Характерно, что принадлежность к партии, комсомолу не давала никому из нас никаких привилегий, никакого доверия, свободы. Коммунистов и комсомольцев из отдельных колонн привозили на собрания в центральный лагерь и отвозили обратно на бортовых машинах в сопровождении двух вохровцев и собак. Какое кощунственное отношение к самой партии, Союзу молодёжи.

Выжить в тех условиях было большой редкостью. Люди сначала превращались в живые скелеты, затем наступала дистрофия, опухали ноги, и — смерть — тихая, кроткая. Большинство исхудали настолько, что исчезали ягодичы вообще, были только скелеты, обтянутые бледной кожей. Больных лазарет не принимал: некуда. Умиравших велено брать под руки и выводить на работу при разводе. Их оставляли за проходной, а вечером заносили трупы на территорию лагеря.

За ослабление требовательности к лагерникам своей бригады я с большими унижениями был разжалован и направлен в бригаду трелёвщиков. Впервые в жизни я осваиваю профессию лошадиника. На первых порах мне повезло, вместе с лошадей по утрам питался овсом: порой горсть мне перепадала, её я украдкой воровал у лошади. После неудачной попытки «сдружиться» с дикой «монголкой» (так называли одну из пород), которая резким движением сорвала дугу от оглоблей волокуши и убежала в лес, мне вывели из конюшни другую лошадь, помогли запрячь, и я отправился на трелёвку на территорию охраняемого квадрата, образованного просеками. На пересечении просек стояли вохровцы с карабинами. Перед началом работы нас предупредили: выходить на просеку запрещено. В противном случае — стреляют без предупреждения, прицельно. Так как силы были на исходе, я воспользовался запрещённым способом передвигаться и сел на лошадь верхом, чтобы добраться до очередного бревна. Лошадь мне попала упрямая, медлительная, но, почувствовав седока, она стремительно вынесла меня на просеку. Грянул выстрел, и пуля просвистела над головой. Мгновенно я сполз с лошади и понял: сейчас будут бить, что незамедлительно последовало. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий, а пуля пожалела меня.

Как-то выдалось тёплое солнечное утро, я вышел на трелёвку в одной рубаше. Начало ра-

боты в хорошую погоду было даже радостным. Но не прошло и часа, нагрянули чёрные свинцовые тучи, полил холодный ливень. Я на дальнем участке, на видимом расстоянии ни одного укрытия. Залез под лошадь, но это не спасло, потому что вода стекала вниз по её животу струями прямо на меня. Единственным спасением было прислониться к сосновому стволу, что я и сделал. Потом, чтобы согреться, я из последних сил стал активно двигаться, работать.

В другой раз меня направили на заготовку оглоблей для волокуш в лес, за зону оцепления. Погода была тёплой, безветренной. Я пробирался с топором по чаще и, выглядывая стройные сосенки, срубал их и отволакивал на тропу. Неожиданно вышел на красивую полянку. Потянуло поваляться, вспомнить детство. Лёг на спину в траву, стал изучать голубое небо, по которому медленно проплывали редкие прозрачные облака. Так было приятно лежать на солнышке. Забыл о неволе, о голоде. Размечтался, вспомнил родных. Как они там, что с ними? Незаметно уснул. Не знаю, сколько я спал, но вдруг услышал лай приближающейся собаки. В сознании мысль: меня ищут. Вохровец еле успевал за ищейкой на поводке, но меня ещё не видел. Я вскочил и с топором направился к ближайшей группе деревьев. Раздалась команда: «Стой! Стрелять буду!» Я резко повернулся, вохровец остановился и приказал: «Бросай топор!» Я бросил. Он отвёл меня на конный парк, где я с трудом доказал, что не собирался бежать. Начальник парка Синяков подтвердил, что я выполнял его поручение по заготовке оглоблей.

Вскоре после этого я как-то на волокуше тянул бревно на лесопилку. В это время недалеко на площадке выстроили группу прибывших новобранцев. Кто-то сказал, что они из Киргизии. Я присмотрелся и увидел парня в красной кожанке, в котором безошибочно признал Сашу Гренца. Он был нашим ближайшим соседом, а в 1940 году переехал во Фрунзе. «Киргизцы» выглядели справно, за плечами увесистые рюкзаки-котомки, свежая одежда. Из разговоров родителей, ещё до войны, мы знали, что «киргизцы» богаче, чем немцы из других регионов, у них крепкие хозяйства. Вечером после работы я разыскал в одном из бараков Сашу. Он отказался от баланды и ужинал своими припасами: окорок, домашний хлеб. С трудом узнав меня и заметив обильное выделение у меня слюны, он предложил мне отведать кусочек сала. «А что вы такие заморенные?» — спросил он. «Скоро вы будете такими же», — ответил я.

Через три дня я снова навестил его, и у него было удручённое настроение после труда на лесоповале. Он предложил мне кусок шкуры от копчёного сала и по секрету признался, что не будет терпеть унижений и голода и собирается бежать. Я отсоветовал, зная, какая участь постигла беглецов после поимки. Их добивали. «Я буду пробираться на фронт», — уверенно заявил он. Вскоре он исчез бесследно, и до сегодняшнего дня неизвестно, что с ним стало. Родители его вели безуспешные поиски. Нашёл я на территории лагеря яму от выкорчеванного пня, раздул маленький костёр и сварил в котелке шкуру. С каким аппетитом я её ел! Вот такая у меня осталась память от Саши Гренца. А ведь ему было всего 16 лет.

В который раз, вспоминая тяжёлые годы и общаясь с бывшими солагерниками, я прихожу к выводу, что выжить мне и многим другим удалось только благодаря молодости и помощи благородных людей. А вообще-то мне просто повезло.

На конный двор подбирали кандидатуру на должность статистика. Меня рекомендовал ветфельдшер Шлюнд, знакомый моего отца по Янгиюлю. Моё среднее образование способствовало назначению. Работа несложная, я составлял сведения о выходе на разные объекты лошадей и возчиков, сводки относил в штаб.

Однажды, идя в штаб, я наблюдал прибытие в лагерь нового контингента. Перед входом в лагерьный «рай» выстроили группу людей в военной форме — рядовых и командиров. Это были снятые с фронта советские немцы. Меня разоблало любопытство, и я пристально наблюдал за происходящим на площадке. Группа вохровцев с командиром во главе обыскивала прибывших. Стройный капитан из группы возмутился: «На каком основании обыск?» Последовал ответ: «Ты не капитан уже, ты разжалован и находишься в распоряжении охраны НКВД. Снять петлицы!» — «Не вы их вешали, звание присваивало командование». Командир взвода вохровцев даёт команду подчинённым сорвать со всех прибывших петлицы, снять боевые награды. Эта позорная расправа над людьми, побывавшими уже в боях на фронте, — а многие из них участвовали в боях за оборону Москвы — в моей памяти запечатлелась навсегда как акт вандализма и жестокости сталинщины.

Через два дня к нам на конный парк на должность ветеринарного врача прибыл мужчина лет тридцати пяти в военной форме без петлиц и со следами наград на кителе. Это был тот самый капитан Красной армии Штрассберг (имя не помню).

Нормировщиком на конном парке был Буш, имел опыт работы на Сталинградском тракторном заводе по специальности, а также производственные и технологические навыки. Приобщил меня к изготовлению стёкол для часов из тонкого оконного стекла. Где ещё начальство, администрация, инженерно-технический персонал в лесу могли заменить стёкла на часах? Для этого достаточно было иметь паяльную лампу, плоскогубцы, кусачки, чугунную форму по выпуклости стекла. Я грубо откусывал по форме кусок стекла, грубо шлифовал, а Буш, разогревая его паяльной лампой, вдавливал в форму, окончательно пришлифовывал и вправлял в обод. Зарабатывал в виде пайки хлеба, а порой и буханки (мы делили между фельдшерами и нами). Фельдшера создавали нам условия для работы, предупреждали о приближающейся опасности. Но вскоре Буша забрали в ПТО. Мы снова сели на баланду.

ИТРовские работники питались на кухне не в составе бригады, а по талонам. Получали талоны вечером на поверке. Нормы питания были более чем скромные. Велико было искушение получить лишнюю порцию баланды, и я вызвался рисовать самодельные талоны. На грубой обёрточной бумаге, такой же, как и типографская, я стал тренироваться выводить буквы шрифта и наконец изготовил три талона: себе, новому нормировщику и фельдшеру. Бросили жребий, кому первому реализовать самодельный талон. Он пал на меня. Разоблачение грозило, при смягчающих обстоятельствах, переводом в штрафную бригаду с ограниченным питанием на тяжёлых работах.

Голод подталкивал, и пришлось рискнуть. Было темно. Я взял свой закопчённый на косяках котелок и, держа крепко рукой, поставил на край раздаточного окошка, передал талон в руки упитанного рыжего повара. Он повертел талон перед висящей над головой электрической лампочкой и вдруг резко вскинул левую руку к моему котелку с намерением схватить его и вырвать. Но я был готов к такому повороту дел и рванул от кухни в сторону барачных, в темноту, к дальнему жилью. Оглядываясь, заметил стремительное приближение рыжего. Мысли сработали молниеносно. Поняв, что мне не уйти, я резко повернулся и врезал закопчённым днищем котелка по крупному лицу повара. Удар пришёлся между глаз и в нос. Воспользовавшись его замешательством, я рванул вокруг барака и скрылся в дверях соседнего. Незаметно

в полумраке надел телогрейку, лёг на своё место, сделал вид, что сплю. Минут через десять в барак входят начальник колонны, Иван Иванович Моор, и повар, раздаётся команда: «Встать, построиться в проходе!» Я первым встал в проходе. Вокруг меня вправо и влево стали выстраиваться другие. В полумраке, начав с левого края, поочередно указывая пальцем на выстроившихся людей, Моор спрашивал повара: «Он?» Тот отрицал всех, в том числе и меня.

Что случилось? — думаю. Он не мог меня не узнать, хотя через раздаточное окно проходили тысячи серых людей с котелками, а вечером снаружи темно.

Позже всё разъяснилось. Оказывается, когда нас выстраивали в проходе, здоровенный детина, конюх, с кулаком, напоминающим кувалду, сжал руку повара и шепнул: «Убью!» Угроза возымела действие.

Лагерники, доведённые до иступления голодом, унижениями, каторжным трудом, не находя выхода, порой кончали с собой, умирали в большом количестве. Трагичный случай произошёл в одну из осенних ночей. Туалет был на почтительном расстоянии от бараков. К нему был проложен деревянный тротуар, по которому лагерники гремели в «барачных» деревянных шлёпанцах. Утром прошёл слух, что ночью в туалете произошла драка. Один из лагерников, доведённый до отчаяния, решил кончить жизнь самоубийством. Найдя кусок верёвки и затащив в туалет пенёк, он накинул петлю на шею. В этот момент в туалет забежал другой лагерник. Увидев человека с петлёй на шее, решив, что висит, он предпринял попытку ограбить его, засунув руки в карман куртки. Самоубийца не вынес такого оскорбления и снял с шеи петлю. Завязалась драка, на шум прибежал дежурный. Виновников наказали. Самоубийца получил 10 лет северных лагерей, его грабитель 10-дневное пребывание в штрафной бригаде.

Среди немцев были «трудармейцы», которые до войны работали в органах внутренних дел, пожарных и пограничных частях. Таким оказывали полудоверие. Так, например, бывший командир пограничников Иван Иванович Моор стал начальником колонны, к которой был приписан в числе других и я. Бывший начальник среднеазиатской школы пожарной охраны К. А. Бамбергер стал начальником колонны контингента ИТР и хозобслуги. Два брата Горсты (мои однофамильцы) считались пожарными. Работа у них была «не бей лежащего». Моор был само-

дурствующим, безжалостным, с садистскими наклонностями, выслуживался перед начальством лагеря. Это он поднимал меня ночами, угрожал, не давал спать до утра. «Трудармейцы» его ненавидели. Когда он позже стал начальником штрафной колонны, штрафники предприняли попытку ликвидировать его. Но Моора спасли, перевели в другую колонну.

Кабина начальника колонны была в противоположном конце барака у входа. Рядом с кабиной Моора на первом ярусе в середине с края было место хлебoreза Шульмана, в противоположном конце у выхода — место дневального Шмидта.

Раздаётся голос Моора: «Дневальный!» Шмидт через весь барак бежит к кабине, на ходу выкрикивая: «Слушаюсь!» и докладывая: «По вашему приказанию прибыл!»

— Позови мне Шульмана!

— Слушаюсь, товарищ начальник!

Открывается дверь кабины, и Шмидт обращается к лежащему рядом с кабиной хлебoreзу:

— Шульман, тебя вызывает товарищ начальник.

Единственным преимуществом «трудармейцев» перед заключёнными было то, что к ним обращались «товарищ трудармеец», а они обязаны были обращаться «товарищ начальник».

Настоящим пугалом и унижительными операциями были проводимые неожиданно ночные шмоны, в ночь на праздничные дни — обязательно — и текущие, приблизительно два-три шмона в месяц. Когда все спали крепким сном, вдруг раздавалась команда пронзительным голосом (это командир взвода вохровцев): «Подъём! Быстро на выход! Шмон!» Все не мешкая бежали на площадку около кабины начальника колонны, зимой и летом на выход в нижнем белье, ничего не беря с собой. Бежали быстро — медлительные получали «пинкаря», порой растягиваясь на полу. Вохровцы направлялись к нарам, всё переворачивали, швыряли в проход, забирая письма, записи, книги, съестное, фотографии, принадлежности для бритья и, конечно же, деньги и другие ценности, лишнюю одежду, обувь и прочее. Шмоны мне и по сей день сняты на ночам, в ужасе просыпаюсь от такого сна, чтобы бежать на выход.

Ещё одним унижительным действием были периодические медосмотры. Предлагали раздеться догола и пройти мимо стола комиссии в составе начальника и политрука лагеря, начальника колонны, главного врача, медсестёр лазарета. Если у тебя есть ягоды, тебя записывают

в список категории ТФТ (тяжёлый физический труд), нет ягодиц — к ЛФТ (лёгкий физический труд). Если ты поправился на работе в конторе, в лагерной обслуге, тебя могут перевести на лесоповал. Так что не поправляйся, ходи в доходягах. Настроение «армейцев» с каждым днём ухудшалось, становилось всё больше дистрофиков. По опухающим лицам и вялой походке было видно, как люди таяли на глазах. Оседали, присаживались, ложились, не имея силы подняться с земли. Одних приподнимали, сообщали «инерцию движения», и они шли дальше; тех, у кого уже не было сил, относили в лазарет, оттуда дорога была прямо в морг. Панику приносили и письма от семей, не из дома — дома уже ни у кого не было, всех выселили: многие старики и дети умирали в новых, подготовленных для этого условиях.

Как-то один из членов бригады пересказал мне письмо от тринадцатилетней дочери. Их выселили из местечка Кибрай Ташкентской области. Ехали в эшелоне из двадцати пяти товарных вагонов в сторону Самарканда. На разъездах в Голодной степи стали отцеплять по одному вагону. Семьи выгружались, и на подводах их развозили в дальние колхозы. Дочь, трёхлетнего сына и мать, у которой был туберкулёз, отвезли в самую дальнюю бригаду, не оказав никакой помощи. «Мама через неделю умерла, — пишет дочь, — и я осталась одна с братиком, не зная, как и на какие средства её похоронить. Нашла кетмень, вырыла канаву, отволокла и закопала туда маму». Я впервые видел, как рыдал рослый, уже немолодой мужчина: «Выживут ли дочь и сынишка там, в Голодной степи?» Не знаю, выжили ли его дети, но он уже через месяц ушёл из числа живых.

Ещё одной мучительной экзекуцией были проводимые ежевечерние поверки. В десять вечера вся серая масса (несколько тысяч усталых, голодных, оборванных людей, а ты в ней мелкая пылинка) выстраивается по колоннам, побригадно на плацу независимо от погоды. Держали до иступления, накачивая, оскорбляя, угрожая. И никому нет дела до твоей души, до твоих переживаний, как ты одет, на чём спишь, как себя чувствуешь. Ты раб системы, ты должен работать, выполнять нормы здоровых сильных мужчин. Возвращаясь в бараки, валились на соломенные постели. Но порой не могли уснуть: оскорблением звучали в ушах слова о пособничестве фашистам из-за невыполнения заданий по заготовке леса, о снижении трудовой способности голодающих «армейцев». Соседи по нарам

перекидываются возмущёнными репликами, и вдруг один из голосистых где-то в середине на верхних нарах выкрикивает пронзительным голосом: «За что?!» Через несколько секунд весь барак (200 человек) уже скандирует: «За что?! За что?! За что-о-о?!»

От такого хора дребезжат стёкла, не выдерживает начальник колонны, выскакивает из своей кабины с криком «Молчать!». Но успокоить взбудораженных людей удавалось не сразу. Надо им объяснить, «за что». За что за колючей проволокой в основном — честные, лояльные люди, среди которых много комсомольцев и коммунистов, инженерно-технических работников? За что оскорбляли, называя пособниками?! Объяснять это никто не собирался. Ответ был краткий: «Уже за то, что вы немцы».

Не всегда люди засыпали с таким настроением. Бывало, кто-нибудь из весельчаков расскажет старый анекдот, а запедала после этого затянет известную немецкую песню: «Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr...» Эта песня настолько мелодична, что не оставляла никого равнодушным, и пели её даже те, кто не знал немецкого языка.

Опять начальник колонны вынужден выйти из своей кабины: «Прекратить! Нельзя петь на немецком языке! Пойте русские песни!» И заводили «По тихим степям Забайкалья...».

Баланда! Трудно описать эту жидкую похлёбку, в которой едва различимы отдельные крупинцы пшена, а на поверхности ни жиринки, хотя жир полагалось опускать в котёл.

Бригады старались «откормиться» раньше других. В этом случае была маленькая надежда увидеть в котелке чуть больше крупинок, капельку жира. Последним доставалась *Lauter Wasser*. Однажды из рациона исчезла соль. Хлеб стал мякнее и бескалорийнее.

Строили мы тогда железную дорогу, которая проходила через село Непряхино. Я подвозил на лошадях жерди. Лагерники их переносили, укладывали мостовую. Отдельные жители села — добрые русские женщины, у которых наверняка на фронте были сыновья, отцы, — узнав, что строители дороги — тоже советские люди, не пленные, стали выносить, кто что мог (варёную картошку, кружку молока, лук, свежий огурец). Но хлеба, сала, масла у самих не было. Некоторые опустившиеся лагерники передвигались вдоль трассы с протянутой рукой. Им и доставалась милостыня. Охрана старалась не замечать этой акции милосердия. У меня они вызывали чувство брезгли-

вости, как всякие немцы с протянутой рукой, встречавшиеся мне в жизни. Появилось твёрдое решение тогда (да и всегда было): «Умру, но руку никогда не протяну!» Просить вообще не умею.

Через месяц-полтора в лагерном рационе опять появилась соль и одновременно селёдка, из которой в перемолотом виде вместе с кишками, чешуёй, жабрами варили пересоленную баланду. Прошёл слух о вредительстве. И действительно, был устроен судебный процесс — «Особое совещание», — и группу снабжения (вольнонаёмных) за хищение, присвоение продуктов отправили отбывать 10-летний срок по ст. 58 УК.

12-часовой трудовой день без выходных, на изнурительной каторжной работе, на пересоленной баланде стал косить людей. Умирали десятками в день. Лазарет не мог принимать всех, умирали прямо на нарах рядом с живыми, на работе. Не было места в морге, чтоб собирать трупы-скелеты. В срочном порядке ночами увозили их в лес, где закапывали во рвы. Зимой в лесу из скелетов росли штабеля, а «хоронили» весной, когда оттаивал грунт. Конечно, никаких памятных знаков не ставили, и неизвестно, кто, когда и где закопан. Представляю, каким способом «похоронены» два моих старших брата в Норильлаге и Карлаге.

Был у меня один способ уйти от верной смерти: по приглашению врача лазарета Штибена ночью выносить трупы и грузить на сани. Умиравший больной с утра получал пайку хлеба 200 г, но он был равнодушен к хлебу. По две такие пайки получал тот, кто в ночь отработал два часа, носил трупы и грузил на сани. Мне захотелось заработать лишний кусок хлеба, но духу хватило только на пять выходов.

В один из этих дней у меня произошло знакомство с Мейером Гергардом, посыльным у начальства. После лесной работы я лежал на нарах, приходил в себя. Ноги мои торчали в проходе. Он своими сапогами постучал по моим ногам: «Горст, на комсомольское собрание!» Я не прореагировал. Он пришёл снова: «Горст, вызывает секретарь комсомольской организации!» Я разозлился: «Отстань, гад, я устал!» Но после его ухода я моментально вскочил и отправился в красный уголок на собрание, опередив Мейера. Так произошло наше первое знакомство.

Среди контингента «трудармейцев» были не только немцы, но и другие национальности, приравненные к ним. Было время до Октябрьской

революции, когда устраивались различные погромы и преследования людей по национальным признакам. К таким национальностям можно отнести евреев. Чтобы уйти от этих преследований, многие из них с течением времени «устраивали» себе другие национальности. Это было несложно при схожести фамилий немецких и еврейских. Теперь же, когда условия рабства советских немцев ставили на карту жизнь, часть евреев решила вернуть свою настоящую национальность, чтобы освободиться от лагеря. Так, например, под предлогом отказа работать вместе с немцами молодые ребята Фридман, Гаузер и несколько других предприняли попытку не выходить на работу и просили о восстановлении национальности. Им приписали саботаж, и «Особое совещание» присудило по 10 лет северных лагерей. Михаил Рейх — профессиональный художник из Ташкента — не стал доказывать еврейское происхождение и избежал ужасной участи. В это же время многие из лагерников, родившиеся от смешанных браков, ставили вопрос об изменении национальности на любую другую и писали рапорты об отправке их на фронт. Рапорты оставляли без внимания.

Ряды лесозаготовщиков резко таяли, присылаемые пополнения не приносили покрытия расходов (умирало больше, чем прибывало), планы заготовок и вывоза леса срывались. Улучшить калорийность питания было невозможно, шёл самый трудный и голодный год войны — 1942-й. Большая территория страны была оккупирована. Нужно было спасать положение. Начали придумывать и приняли ряд мер.

В срочном порядке достроили баню, вошебойки. Почти избавились от вшей. Но клопы и блохи продолжали терзать людей. Стали применять противочинготные средства. Специальные бригады заготавливали крапиву и готовили хвойный отвар. С листом крапивы баланда стала гуще, а перед завтраком каждый «армеец» в принудительном порядке выпивал литр хвойной горечи. Таким образом цингу предупредили и ликвидировали, но голод остался. Летом многие «лесные» рабочие могли найти грибы, появились ягоды. А зимой?!

Однажды, работая ещё на лошади, я отпра- сился на один день остаться в лагере, чтобы постираться, подавить вшей и подлатать рваную одежду. Казённого нам не выдавали. Снабжали в исключительных случаях, если одежда сгорела при санобработке или во время пожара. Такого случая у меня не было, и поэтому я все пять лет

ходил в латаных-штопаных домашних лохмотьях.

Выпросил я в бане лоханку, постирал бельё с помощью мелкого песка и глины (мыла не было) и повесил сушить на кусты. Сам пошёл на разводку поближе к кухне. Выскакивает оттуда дежурный и поручает отнести два ведра с остатками утренней баланды в барак ИТР, в кабину начальника колонны. Пошёл выполнять поручение. «Товарищ начальник, велено вам передать!» — докладываю. «Заходи! — говорит. — Поставь ведра на пол». Выполнив приказание, я собирался ретироваться, но он меня задержал. «Останься. Сейчас будем улучшать качество». Берёт ведро с баландой и сливает жидкость в свободное помойное ведро. Осталось на дне примерно полкотелка пшённой жижи.

— Принеси свой котелок!

Я исполнил.

— Иди, кушай!

Я ушёл в барак. Устроился у себя на нарах и только начал хлебать деревянной ложкой пшённую жижу, как ворвался начальник Шовгун, откормленный верзила в гимнастёрке, галифе и сапогах, в сопровождении вохровца с криком:

— Встать! Вот он! Обыскать!

Перевернули все мои вещи и нашли мешочек размером с табакерку, наполовину наполненный овсом. Повторный обыск ничего не дал, и я сразу понял, какую совершил ошибку: овёс взят у лошади. В сознании мелькнула мысль: «Буду наказан! Как?» Оказывается, в этот день с кухни исчезла банка тушёнки, на которую рассчитывал начальник отдела снабжения Шовгун (тот верзила в сапогах); как выяснилось позже, банку «разыграли» между собой повара. А когда захотелось полакомиться Шовгуну, они свалили на «вора». И тут подвернулся я. До сих пор «благодарен» ему. По его личному распоряжению я отсидел трое суток, вместо назначенных семи, на воде и 200 граммах хлеба. Напиши он рапорт начальнику отряда, наказание было бы суровым.

Устроили санитарный день. Так как баня и вошебойка могли обслужить ограниченное количество лагерников, составили скользящий график, мы (работники конного парка) в числе первых прошли с утра санобработку, и выставили нас на штабелёвку берёзового леса для чурочного хозяйства (берёзовые чурки использовались как горючее для газогенераторных автомобилей). Была ветреная, солнечная погода, работа не нормированная. Вокруг штабеля собралась

группа работников ИТР. Все из Узбекистана. В такую погоду невольно вспомнились тёплые края. На столбе висел репродуктор. Древесными углями мы писали на брёвнах различные благодарные слова в адрес Узбекистана, где нам было так уютно и тепло. Вдруг репродуктор известил, что умер председатель ЦИК республики Юлдаш Ахунбабаев. Он считался очень уважаемым человеком, выходец из декхан, бывший арбакеш — из простых людей. Все окаменели, скорбной естественной минутой молчания мы простились с нашим Юлдашем.

Лето в этих краях пролетает быстро. Август — уже осень, а с середины октября, считай, зима.

В начале ноября меня вызывает в отдел (ПТО) старший нормировщик Пузырёв, знакомится со мной, проверяет мое математическое мышление и вдруг предлагает новое место работы — нормировщиком на ПРУ (погрузо-разгрузочный участок) на станции Чебаркуль. Пузырёв был весьма благодушным, мягким человеком. Он не настаивал, не торопил. «Подумай! — сказал. — Завтра дашь ответ». Тревога вселилась в меня. Голова — кругом, я не знал, что решить. Здесь я уже начал привыкать (голод не в счёт), начальник конного парка Андрей Синяков (ему было в то время лет 28—30, еврей) ко мне относился с доверием, старался не давать меня в обиду. Окружающие меня работники ветеринарной службы в случае чего оказывали помощь.

Я решил посоветоваться со Шлюндом. Он в растерянности помолчал и сказал, что надо поговорить с другими, а можно и с Синяковым, он порядочный человек. И вот к концу рабочего дня в ветеринарной лечебнице на совет, как быть со мной, собрались человек пятнадцать, в их числе несколько конюхов и бывший армейский капитан ветеринарный врач Штрассберг. Советы давали разноречивые, больше склонялись к тому, чтобы оставить меня на конном парке. Здесь мы жили дружно, да и работа была не из трудных. От правильного решения зависела вся моя дальнейшая судьба, моя жизнь (это я понял гораздо позже). Синяков не хотел отпускать — я был добросовестным работником. Неожиданно взял слово дотоле молчавший Шлюнд: «Шурик, ты в лесу, даже имея деньги, на них ничего не купишь. Тебя посылают на станцию Чебаркуль. Хотя там будешь тоже в лагере за колючей проволокой, но ты услышишь гудки паровозов, увидишь вольных людей. А среди них ты встретишь добрых, порядочных, которые тебе помогут». Его поддержал Штрассберг: «Я бы на твоём месте выбрался из леса!» Синяков, поняв, что все склоняются к

моему отъезду, что я уже принимаю решение, сам подошёл, обнял меня: «Ни пуха ни пера!» Я на всю жизнь в долгу у этих людей: наверняка благодаря им я остался в числе живых.

На следующее утро, когда относил сводку о выходе лошадей на работу по объектам, я зашел к Пузырёву, сел и молча стал ждать его вопроса. А вдруг он раздумал меня представлять? По моему выражению лица он уже понял, что я пришёл дать согласие.

— Ну как? — вымолвил он наконец.

Я говорю:

— Да! Но меня надо подучить. Я же никогда не работал нормировщиком.

— Это несложно. Вот выпиши нормы и расценки. — Он дал мне три сборника ЕНР по лесозаготовительным и погрузочным работам. — Что нужно выписать, там подчёркнуто.

Дал мне около тридцати бланков нарядов и показал, как заполнить.

— Считать будешь на счётах и арифмометре, которого там нет. Попросишь начальника участка Шигорина, он тебе поможет найти и научит работать на нём. Иди пока на работу в конный парк. На днях тебя вызовут и переправят на ПРУ. С начальником ПТО Холмогоровым уже согласовано, осталось получить согласие от начальника лагеря. Он что-то тебе не доверяет.

В личном деле фиксируются все наказания, и там на меня уже есть два доноса: разжалован как бригадир и штрафной изолятор. Теперь только ждать решения начальника отряда Толстова.

Ожидание этапирования из центрального лагеря на ПРУ совпало с ноябрьскими праздниками, и поэтому произошла задержка. Накануне первого дня праздника на вечерней поверке нас поздравляли с Октябрём и объявили его нерабочим днём на производстве. Работать будем в лагере. Пожелав друг другу спокойной ночи, вспомнив, как отмечали праздник дома, в школе, как шагали восторженно в колоннах демонстрации, мы уснули безмятежным сном.

И вдруг среди ночи в бараке раздаётся пронзительное, в несколько голосов: «Подъём!» Обычно мы привыкли по утрам вставать на «Подъём!» дневального, но тут было что-то тревожное, необычное. Объявили шмон. Скупились по двум концам барачных в нижнем белье. Вся наша убогая постель — рваньё (всё домашнее) и личные вещи летели с нар в проходы барака. Всё запретное забиралось и уносилось. Я успел схватить пакет с комсомольским билетом и замешкался, за что получил «пинкаря» и был отведён на личный обыск.

Утро 12 ноября 1942 года выдалось снежное, с холодным ветром. Ещё до завтрака дневальный пригласил меня к начальнику колонны Моору:

— Тебя тут просят отпустить на ПРУ. Начальник отряда ждёт от меня характеристики. Как ты думаешь, какую дать?

— Положительную! — уверенно отвечаю.

— А отрицательную не хочешь?

Я осёкся. Чувствую, судьба моя в руках этого негодяя, садиста. Говорю себе: «Будь осторожен в выражениях!»

— Так хочешь или не хочешь отрицательную? За что только тебе дал хорошую характеристику Синяков?

— За работу. Я старался. И ещё буду стараться.

— Если подведёшь, вернём сюда и сразу на лесоповал. Это поближе к моргу.

Такой диалог продолжался примерно час, и, когда я вышел, развод на работы завершился, и я остался без завтрака. Сил не прибавлялось.

Пошёл на проходную и стал ждать сопровождающего меня вохровца. Наступил обед. На просьбу накормить меня ответили, что я с довольствия снят и разбираться со мной будут в колонне ПРУ. Тонительно и грустно ждать на голодный желудок, и неизвестно, когда я его чем-то заправлю, страшно сосёт под ложечкой. В 4 часа вечера появился мой сопровождающий, упитанный крепкий мужичок лет сорока пяти в военном полушубке. Смерил меня взглядом и сквозь зубы злобно бросил: «У-у, доходяга! Из-за тебя меня вытащили из тёплой квартиры! Помёрзнешь у меня сегодня!»

Расписавшись в какой-то ведомости за меня, за пакет, перекинув карабин с плеча на руку, он зарычал:

— Встань, бери своё барахло! Вперёд.

Уткнул карабин мне в спину, и мы прошли через проходную за колючую проволоку на «волю».

— Шевелись живее! Вперёд! Не забывай, винтовка заряжена. — Щёлкнул затвором. — Шаг в сторону — стреляю без предупреждения! Понял?

— Ещё бы!

В этот момент раздался гул мотора приближающейся машины. Он заторопился:

— А ну быстрее!

Я рванул, поскользнулся. Мой мешок полетел в одну сторону, я в другую.

— Я тебя предупреждал, стрелять буду! — И он приставил холодное дуло к моему виску.

Я лежал неподвижно. Подъехала высокогружённая машина и остановилась. Может, это меня спасло? Не знаю. Охранник открыл резким движением дверцу кабины и громко сказал:

— А ну вылазь, старуха! Я сяду в кабину!

В кабине сидела женщина-почтальон лет пятидесяти, она ехала в Чебаркуль на станцию.

— Да ты что, твой пленный сбежит.

— Доходяга, не сбежит.

Долго он размахивал карабином перед носом почтальона и наконец выгнал её.

В кузов она полезла первая. С трудом и я взобрался на макушку груза, шофёр забросил наверх мой мешок, и мы тронулись. Ехали медленно, была метель, кругом снежные заносы. Меня продувало насквозь через дыры в рваной ватной телогрейке и ватных штанах. Съёжился как мог, прижался к бабке в меховой шубе. Чтобы скоротать время, она стала меня расспрашивать:

— Ты где попал в плен?

— В Ташкенте, — говорю.

— Как? Немцы уже там?

— Нет — это я там был.

Она никак не понимала:

— А где ты научился говорить по-русски?

Пришлось мне разъяснить старушке, кто мы такие, откуда и зачем здесь.

— Господи, что творится! А мы думали, что вы фашисты. Нам так говорят, подходить не разрешают.

— Тётянька, — отвечаю, — у меня в кармане комсомольский билет. Как бы его ветром не выдуло. Прикройте мои косточки чем-нибудь, да и холодно что-то.

Она достала из саквояжа мешок, накинула на меня, подоткнув его по краям. Мне стало уютнее.

— Небось голодный? — спрашивает потом.

— Сегодня не ел.

— Ироды! — вздохнула она. — И у меня ничего нет с собой.

Ехали мы так часа четыре с остановками, заносами машины. Уже в темноте приехали в Чебаркуль. Шофёр остановил около железнодорожной станции. Женщина слезла и стала со мной прощаться. А напоследок сказала:

— Парень, а когда я тебя теперь увижу?

— Убирайся, пока не поздно, — вмешался в разговор вохровец, — за проволоку захотела?

На этом мы расстались навсегда с доброй русской женщиной.

Сдал меня конвоир на проходной колонны командиру взвода охраны и остался ночевать у тёплой печурки. А мне было велено идти в один из барачков и ждать начальника колонны. В бараке пустота, никого нет. Все на ночной погрузке вагонов. Делать нечего, пошёл в поисках живой души обходить владения ГУЛАГа. В соседнем

бараке на входной площадке, присев на корточках, стирал нижнее бельё в тазике юноша в белой мохнатой шапке, чуть старше меня. Поздоровались, представились. Я спросил:

— Что, кухня уже того?

— Все поужинали в пять, и их повели на погрузку. «Кольцовку» сунули в тупик.

— Какую «кольцовку»? — любопытничаю я.

— Это состав вагонов 20—25 под уголь из «хопперов» или «гондол», дорожной линии. В Копейске грузят уголь, на Бакале разгружают и подают сюда. Здесь загружаем лесом, и везут на ЧМС, а там гонят в Еманжелинск под уголь, а потом снова подают сюда или в другой пункт под загрузку леса. У нас ненормированное рабочее время. Работаем, когда подают «кольцовки» или платформы. А бывает, подают подряд несколько «кольцовок», тогда работаем по трое-четверо суток непрерывно без отдыха, а иногда сутками отсыпаясь, но это редко. Одна-две бригады постоянно на разгрузке автомобилей и штабелёвке леса, а когда вагоны — все грузят, даже обслуга лагеря.

Так меня посвятил в рабочий ритм ПРУ грузчик Яша. Я понял, что до утра мне не поесть. А кишки были совсем пустые. Появилось вдруг такое чувство бесстрашия, вызванное голодом, — где бы что-нибудь украсть и съесть, пусть убивают, лишь бы за это время наесться. Мне представилась такая картина: двумя руками засовываю в рот сразу полбуханки тёплого мягкого хлеба, не разжёвывая, глотаю, чтобы быстрее заполнить пустоту в желудке. Не знаю, что со мной тогда было: то ли голодная галлюцинация, то ли бред.

Дальнейшие мои действия стали бесконтрольными. Я вышел из барака, обошёл вокруг кухни, никого не заметив. Постоял около раздаточного окошка, вдыхая запахи баланды, сырой картошки, крапивы. Почему-то вспомнил анекдот про Ходжу Насреддина о звоне монет и аромате плова и подумал, чем буду рассчитываться, ведь я даже не смогу воспроизвести звон монет. Невольно засунул руку в карман и нащупал что-то металлическое. Это был ключ от внутреннего замка, случайно увезённого ещё из дома. О, как я молил Бога, чтобы он подошёл! Ведь что-то должно сохраниться от ужина. Но, увы, там висел замок, не подходящий к моему ключу.

Дальше в стороне был расположен вещевой склад, хлебозерка. Проходя мимо, я почувствовал, как пахнет хлебом. Меня потянуло к двери. На ощупь вставил ключ в скважину, повернул. О чудо, как в сказке! Я оглянулся, но никого во-

круг не было. Повернул второй раз — дверь открылась. Не вытаскивая ключа, я заскочил, схватил пайку хлеба и мигом засунул в рот: «Никак не глотается, надо жевать». Внезапно я пришёл в себя, выскочил наружу, закрыл дверь на замок и забросил ключ как можно дальше за колючую проволоку в снег. Всю ночь меня бросало в дрожь: я совершил преступление и не мог этого простить себе. В то же время я не мог понять, как могло случиться такое.

На следующее утро меня вызвали к начальнику ПРУ Шигорину. Контора находилась на территории внешней зоны оцепления.

Я представился:

— В ваше распоряжение прибыл нормировщиком.

— Давно тебя ждём. Толстов долго не хотел давать согласия на твой переезд на станцию. За что сняли с бригадиров?

— За жалость к людям.

— Ладно. Потом дорасскажешь. Принимай дела и запомни: работа тяжёлая, требует выносливости, поэтому я и попросил Холмогорова (начальника ПТО) прислать молодого, грамотного парня. На чём умеешь считать?

— На пальцах, на счётах.

— Вон в том столе дела твоего предшественника. Он был квалифицированным нормировщиком, но физически не выдержал суточную непрерывную работу.

— А почему вы о нём в прошедшем времени?

— Его забрали на лесоповал. Ему уже 55, и он долго не вытянет. В твои обязанности входит выписывать и оформлять наряды по бригадам, объектам; оформлять реестры по приёму древесины, оформлять реестры на отправляемый лес по железной дороге на ЧМС, в разрезе каждого грузчика, рабочего; составлять ведомости на выполнение сменных норм для оформления «котловки»; участвовать на авралах при погрузке вагонов в качестве бурлака. Это основное. Забывал?

— Последний раз вчера.

— А сегодня?

— Нет ещё.

Скрыл о съеденной ночью уворованной пайке хлеба.

— Иди вставай на довольствие, позавтракай и срочно обратно сюда, на подходе «кольцовка».

Пошёл я к начальнику колонны Самойленко оформляться на довольствие. Выслушав униженные нотации по поводу того, что не ему первому доложил о прибытии, а Шигорину, наконец получил и проглотил 200 г хлеба, черпак балан-

ды и скоренько вернулся в контору ПРУ. Там уже за столами сидели и щёлкали костяшками счётов старший бухгалтер Христиан Кнауэр, точковальщики Вася Вегнер, финн Вильгельд. Заходили и выходили люди, суетясь, сообщая какие-то сведения, передавая какие-то списки. Когда мы остались наедине с Кнауэром, я представился:

— Направлен из леса к вам нормировщиком.

Он, мужчина лет 45—50, заворчал:

— Долго ждали, сколько тут за тебя работали, могли бы и здесь, в колонне, найти замену. Мы слышали, что ты на подозрении у Толстова. Будь осторожен с начальником колонны Самойленко. Хитрая лиса, мягко стелет. Меньше болтай, не жалуйся на судьбу, не поддавайся на провокации, не сочувствуй плачущим, прежде чем что-либо сказать, сто раз обдумай и проанализируй, что может получиться из непродуманного ответа. Запомни, каждый третий здесь стукач.

— А стукач — это кто? — поинтересовался я.

Он мне доступно пояснил, и я на всю жизнь это запомнил, понял позже, куда деваются люди, которых ночью вызывали к оперу.

— А теперь к бою. Бригады, точковальщики на погрузочной площадке, «кольцовку» уже сунули в тупик. Считать будешь вместе с учётом диаметра вершины каждого бревна, общее количество штук и кубометров. Твоё дело ещё подготовить в двух экземплярах вот такие реестры, оперативно заполнить их в разрезе каждого вагона и не спускать глаз с листов подсчёта нагруженного леса. Бригады стараются быть в союзе с точковальщиками, чтобы приписать по два-три лишних бревна в вагон и тем самым получить хорошую выработку, а значит, и улучшенное питание. А на складе будут создаваться резервы для сбыта. Если и ты пойдёшь на поводу, то загруженная «кольцовка» будет иметь приписку около 40 брёвен, — это почти целый вагон леса. При погрузке вагонов на стройке обнаружат недостачу этого количества, поднимут страшную шумиху и доложат руководству, а в итоге ты будешь стрелочником и загремишь, в лучшем случае, в штрафную бригаду на лесоповал, оттуда не будет возврата.

Такой краткий и ценный урок я получил в самом начале освоения профессии нормировщика от квалифицированного старшего бухгалтера ПРУ Христиана Кнауэра. Спасибо, дорогой мой человек! Этот урок мне пригодился.

Трудоёмкая работа точковальщиков весьма сложна и требует большого физического и психологического напряжения, особенно зимой.

На руках vareжки, на левой руке по локоть навешивают фонарь «летучая мышь» (электрофонариков не было), на ладони фанерная тетрадь, зачищенная стёклышками и разграфлённая по стандартным размерам вершин брёвен, в правой руке кусок мела или древесного угля и карандаш (в кармане запасные). Как только начиналась загрузка и обвязка верхнего слоя проволокой, точковальщики с ловкостью обезьяны забирались на корму вагона со всем этим снаряжением, то с одной стороны, то с другой. Отмечали мелом в определённом порядке вершину, как бы ставя точку, подсчитывали общее количество брёвен, через вагон дощечка заменялась, и он перебирался на следующий вагон. Обычно «кольцовку» таким образом обрабатывали два точковальщика. Особенно им доставалось, когда погрузка шла ночью зимой при сильных морозах, ветрах (*Jedem das seine!*), да ещё вытянут и сразу подадут ещё одну, а то две «кольцовки» — напряжение было неимоверным.

Старались работать сноровисто, железная дорога торопит, угрожает большими штрафами, а время-то военное, в ответе каждый.

Меня всегда держали в резерве и бросали то на помощь точковальщикам, то на погрузку вагонов в качестве «бурлака». Как-то декабрьской ночью была ужасная стужа, в тупик загнали сразу две «кольцовки» по 20 коробок. Объявили аврал, который по жуткости и дикости своей запомнился навсегда.

Внешняя зона погрузочной площадки состояла из цепи примерно 50—60 вохровцев, вооружённых ручными пулемётами и винтовками со штыками, кольцо зоны замыкали собаководы с овчарками. На ночь включали мощный прожектор. Колея рельс железнодорожного тупика была как бы на возвышенности, а штабеля леса формировались вдоль рельс, во впадине, которая образовалась от выемки грунта для насыпи. Если считать высоту вагона от рельса до борта коробки 4—5 м и глубину впадины 4—5 м, то, чтобы забросить бревно в коробку, его необходимо накатить на высоту около 10 м. Для этого сооружают из длинномерного леса покаты с промежуточными опорами. Бригады часто разбиваются на подразделения: подкатчики, захватчики, бурлаки, рихтовщики, корректировщики. Один конец верёвки с запасом прочности перекидывается от штабеля через «коробку» на противоположную сторону, другой привязывается к верхнему концу борта, образуя петлю. Погрузка происходит в такой последовательности: подкат-

чики подкатывают брёвна из штабеля к краю, захватчики накидывают на концы по петле верёвки и докладывают: «Готово!» Один из корректировщиков маячит на борту вагона и отдаёт команду бурлакам: «Тяни!» На каждом конце верёвки по 5—7 бурлаков-доходяг, тянут равномерно, все внимательно следят за командами корректировщика, ускоряя или замедляя тягу, чтобы бревно накатывалось и попадало в коробку параллельно оси вагона.

Итак, меня подключили к группе бурлаков, работающих в левом ряду. Был мороз около 30 градусов с ветром. Одежда моя — рваная телогрейка и рваные ватные штаны, ботинки; руки то и дело приходилось отрывать от оледенелого каната и греть под мышками; ноги, особенно пальцы, кололо иголками от холода. Бревно попало массивное, которое мы с трудом перекатывали наверх, а порой оно нас тянуло вперёд, опускаясь. Наконец оно с грохотом завалилось в «коробку». Я окончательно замёрз, окаменели пальцы рук, ног, бросился бежать в обогревалку (землянка с буржуйкой), грустно напевая давно приставший отрывок мелодии из известной песни, переделанной на лесной лад: «Саша, ты помнишь наши встречи на конном парке, в Ильменском лесу?»

Вдруг вдогонку с места погрузки вагонов раздался ужасный крик погибающего человека и шум голосов грузчиков. Как я позже узнал, там почти на дне слегка загруженной коробки придавило падающим массивным бревном одного из корректировщиков, залезшего с ломом подправить укладку леса. Его труп так и остался лежать под слоем кругляка, загруженного в вагон. Его уже извлекут на лесопильном заводе при выгрузке. В эту ночь произошло три таких несчастных случая. Вытаскивать погибших не разрешалось: задержится погрузка. Смерть констатировал врач, а всем разъясняли, что здесь тоже опасно, как на фронте.

Забегал в обогревалку, снял ботинки — из солидных дырок протёртых портянок торчат побелевшие обмороженные пальцы. Один из грузчиков выскочил наружу, принёс охапку снега, начал растирать мне ноги. В это время зашёл начальник участка Шигорин и, убедившись в обморожении, разрешил мне остаться, а остальных выпроводил на «фронт». Я вскоре перешёл в контору оформлять документы на вагоны. А на погрузочной площадке набралось пятнадцать обмороженных «трудоармейцев», которых отправили потом в лазарет.

Питание в колоне ПРУ было весьма скудное — баланда та же, что и в лесу, и хлеб — 700 г. Привоз-

или хлеб в замороженном виде, непечённый, неизвестно что входило в его состав. Явно проглядывались овсяная, ячменная мука, опилки, а при оттаивании буханка распадалась в бесформенную массу, калорийности никакой. Я стал ещё более слабеть и вдруг, при очередном выходе на работу в ночь, перестал видеть — куриная слепота началась от голода. Выходя из освещённого электрической лампой барака, проваливался в абсолютную темноту. Пришлось ходить с поводырём. Мою беду заметила приставленная ко мне в помощь Капитолина, вольнонаёмная девушка; рассказала о моей болезни маме. Они достали на свой скудный заработок печень. Капа ежедневно приносила кусочек, который я «вынужден» был съедать в сыром виде. Через месяц куриная слепота отступила. Но и Капа куда-то исчезла, перестала приходить на работу. Не знаю, по какой причине, может быть за запрещённую помощь, её изгнали, только доброй чебаркульской девушки Капитолины я больше не встречал, а её мамы не видел вообще. Но память об их благородстве осталась со мной навсегда.

Вспоминая события тех тяжёлых лет, я понимаю, что мне и многим другим очень помогла поддержка и доброе участие вольнонаёмных людей, благородство которых незабываемо.

Бригадир грузчиков Даниил Менгель был старше меня лет на семь, но жизненного опыта у него хватало на пятерых. Умело лавируя, он вводил свою бригаду вместе с охраной на разгрузку вагонов Заготзерна. А там расплачивались по 2 кг каждому (муки или пшена). Однажды я пристроился в его бригаду, направляющуюся в Заготзерно. Мне, ослабевшему, трудно было бежать с мешком на плечах и забрасывать его в штабель на складе. Но разгрузку одного вагона выдержал и был вознаграждён двумя кило муки, хотя набил мозоли на пятках. Члены бригады Менгеля физически были крепкими, карманы брюк у каждого были почти до пят, куда загружались из разорванного специально для этого мешка мука или зерно. В бараке стояла печь из железной бочки, её, на зависть другим, часто окружали грузчики Менгеля, которые готовили себе лепёшки, со всех сторон облепивая ими печь.

Как-то после перерыва я вернулся к своему столу. Выдвинув ящик, обнаружил подложенную белую булку-батон. Я задвинул ящик и взялся за работу с документами. Вдруг сзади подошёл кто-то и обнял меня своими крепкими «лапами». Это был Даниил. Он спросил:

— Кушал?

Делаю вид, что не понял.

— Булку в столе.

— А чья она?

— Я положил.

— За мои некрасивые глаза?

— Нет. Ты можешь нам помочь, и мы тебе.

Мои ребята здоровые и работают лучше других. Выполняют нормы выработки. Но бывают сбои. Когда вовремя не подвозят лес, из-за невыполнения норм переводят на скудное питание, а заготзерно не всегда в моём распоряжении. Нельзя, чтобы ребята ослабли. Если ты в эти дни припишешь кое-какую работу, чтобы дотянуть до нормы, у нас всё будет в порядке, а мы тебя подкормим за счёт избытков заготзерна. По рукам?

Так мы заключили договор: «ты мне — я тебе». Что делать? Умирать не хотелось.

Наступил январь 1943 года. Лежневую дорогу из леса к станции Чебаркуль разбушевавшиеся метели основательно замели. Вывоз древесины приостановился, и нас, 400 «тудармейцев», точнее, заключённых колонны ПРУ, вывели в центральный лагерь, в лес, чтобы занять «делом».

Шли по бездорожью, выше колен проваливаясь в снег, при тридцатиградусном морозе и ветре, несли на себе свой жалкий скарб. Ползли весь день с коротким привалом в пути, к вечеру ввалились в переполненные бараки центрального лагеря, где размещались лесорубы, самый массовый и самый жалкий контингент. Утром нас рассовали по пять человек в бригады — наскоро проглотили баланду, хлеба по 400 г — и построили «на развод», в лес, «играть на скрипке» (пилить). Охрана была надёжная, на каждую бригаду по два вооружённых уральских казака и овчарка. Снова строгие предупреждения: «шаг влево, шаг вправо — стреляем без предупреждения и без промаха!» Шли гуськом по заснеженной тропе 7—10 км до места вырубki. Работа лесоруба самая изнурительная. Пилили лучковой пилой вдвоём. Пенёк разрешалось оставлять не выше 15 см, приходилось или гнуть спину, или вставать на колени в снег. Норма 8 кубометров на человека, да ещё обрубь сучья и сложи костром. Охранники разжигали огонь и грелись, не беспокоясь за охраняемых, — бежать невозможно, да и желания нет ни у кого. Работали по 10—12 часов, вернувшись по темноте, валились на нары, чтобы прийти в себя. Только потом шли за баландой. Сушить ботинки, одежду негде, снова утром надевали и сушили на себе.

На девятнадцатый день пребывания в лесном лагере я свалился на нары в бреду, отказался от

вечерней баланды (не было сил идти за ней) и унул. Мою баланду и пайку хлеба разыграли, посчитав меня не жильцом. Утром я пришёл в себя в лазарете, зашевелился и попытался встать. Пошёл медбрат:

— Мы думали, что на тебе пайку заработали, а ты живучий оказался.

Помог перебраться на свободное место на нарах, принёс горячей баланды, дал пайку хлеба 400 г, и я пришёл в себя. Полез в нагрудный карман куртки за перочинным ножом и обнаружил исчезновение комсомольского билета, блокнота с адресами и домашними фотографиями. Видно, сочтя меня за труп, кто-то забрал содержимое моих карманов.

На двадцатый день пришло спасение — нам объявили о возвращении на ПРУ. Я только успел передать заявление в комитет комсомола об исчезновении билета, и нас снова погнали в обратный путь.

В эту зиму умерло более 50% состава «трудармейцев» от голода, холода и унижений.

Вернулись мы в лагерь колонны ПРУ. За это время сменилось начальство, и я в первое время попал на работу в хозобслужбу: то банщиком, то в вошебойку, то истопником. Но, разобравшись в кадрах, новое начальство вернуло меня в нормировщики.

Начальником участка стал Григорий Кузьмич Костюченко, которому и ныне отдаю дань благодарности, доброй памяти дорогого мне человека.

Начальник колонны Самойленко дал мне общественное поручение готовить к выпуску «Боевой листок» к знаменательным событиям на фронте и в тылу, стал доверять наконец. Все приказы Верховного Главнокомандующего о крупных победах на фронте я излагал более-менее точно, слушая сообщения по радио вечером, а утром рано «Боевой листок» вывешивал рядом с кабиной начальника. До конца 1946 года я был бессменным редактором «Боевого листка». Все победы на фронте были в нашу, «трудармейцев», пользу. Режим становился менее строгим. Как только на каком-то фронте наши войска отступали, отношение к нам ожесточалось. И мы молили Бога о скорейшем разгроме фашистов и представляли, что бы с нами сделали в случае поражения наших войск. Нас бы всех перестреляли так же, как уничтожили поляков в лагерях. Так что мы были заложниками, пленниками у своих.

При новом начальнике ПРУ Костюченко началась и за короткий срок закончилась реконструкция разгрузочно-погрузочной эстакады.

Лесовозы заезжали наверх и разгружались в штабеля, которые формировались на уровне бортов вагонов-коробок. Погрузка производилась уже более рационально и меньшими силами. Уже 2—3 человека могли загружать один вагон.

В один из мартовских дней вызвали партийцев и комсомольцев на собрание в центральный лагерь, в лес. Прислали бортовую автомашину. Нас было человек пятнадцать. Загружались мы на полкузова сидя, спереди вооружённый карабином охранник, сзади на борту второй, с пистолетом и собакой. Такое доверие имели коммунисты и комсомольцы. Отдельно проводились партийные и комсомольские собрания. Одним из вопросов был разбор моего заявления о пропаже комсомольского билета. Постановили: объявить строгий выговор и восстановить членство в ВЛКСМ.

На обратном пути через озеро ночью наша автомашина стала проваливаться под лёд. Не успели мы вскочить на ноги, как были уже по пояс в ледяной воде. Выбравшись на лёд, направились в сторону леса. Намокшая наша одежда отвердела тут же от мороза, но, к счастью, у кого-то были сухие спички в нагрудном кармане, и нам удалось разжечь хороший костёр примерно через час после происшествия. Часа в три ночи за нами прислали другую машину с новой охраной — было предположение у вохровцев, что мы бежали, перебив охранников. Так плохо думало лагерное начальство о партийных людях, которые безропотно отдавали свои силы, добросовестно работая, чтобы приблизить победу. Какое кощунство!

Был у меня школьный друг, одноклассник — Геннадий Пушкарёв. В 1942 году он был направлен в военно-лётную школу в Магнитогорск. Каким-то образом он разыскал мой адрес и прислал мне письмо, содержание которого меня подбодрило и поддержало. Я понял, что школьные товарищи не все отвернулись от меня, живущего с клеймом «немец». Мы переписывались примерно три месяца, и в очередном своём письме он сообщил, что оно последнее, завтра улетают на фронт бить фашистов. После войны, в 1987 году, мне удалось напасть на след Пушкарёва, и я посетил его в Сергелях под Ташкентом. Он работал в аэроклубе, вернулся с войны невредимым. Нынче мы с ним переписываемся.

А мы в 1943 году продолжали трудиться добросовестно, наш новый начальник участка Г. К. Костюченко умело руководил производством, людьми, пользовался большим уважением со стороны «трудармейцев», создавал условия

для получения улучшенного питания. Часто поправлял беззлобно мои ошибки и называл «сынком». Он был лет на двадцать старше, и у нас установились дружеские отношения. Часто зазывал меня к себе в кабинет и угощал чем-то принесённым из дома, заставлял тут же при нём съесть.

Однажды мы с Даниилом бежали из зоны оцепления ПРУ, прошли через Чебаркульский базар, зашли в фотографию, сфотографировались. При выходе из фотоателье обнаружили «хвост». За нами следил командир взвода вохровцев. Петляя по многолюдному базару, мы неожиданно выскочили на дорогу перед самым носом проезжавшего гружёного лесовоза. За рулём сидел шофёр, финн Эйно. Он понял наши знаки, замедлил движение, а мы на ходу запрыгнули на подножку и в кабину. Командир взвода нас потерял, а мы, не доезжая шлагбаума зоны, спрыгнули на ходу и пробрались через потайной лаз эстакады и тут же были на своих рабочих местах. Никто не заметил нашего отсутствия. Через час на погрузочной эстакаде появился командир взвода. Допрос Даниила ничего не дал. Все члены бригады единодушно заверили, что бригадир был с ними безотлучно. Всё это я наблюдал через окно конторы. «Сейчас он подойдёт ко мне». Я знал, что меня может выручить только Григорий Кузьмич. Я — к нему в кабинет, коротко объяснил ситуацию. Он закрыл дверь и приказал сесть за чертёжный стол. Приходит командир взвода, видит, что меня нет за рабочим столом, предвкушая разоблачение, вваливается в кабинет к начальнику участка и обнаруживает меня за одним столом с Костюченко.

— Трудармейцы Горст и Менгель только что были в бегах, на базаре. Я их видел, — докладывает он.

Григорий Кузьмич отругал его, заявив, что я здесь у него уже два часа выполняю спецзадание. Так ни с чем и ушёл комвзвода.

Вскоре начальник участка вызвал в кабинет Менгеля, как мог строго нас отругал и заявил, что если нам в следующий раз захочется побаловаться на «воле», чтобы обратились к нему, он нам всё устроит. Но надо было ещё ликвидировать вещественное доказательство нашего отсутствия — фотографии. Эту операцию Григорий Кузьмич взял на себя. Утром следующего дня четыре фото и негатив были у него на столе. Эта фотоминиатюра до сих пор цела и подклеена в альбом.

Своим поступком мы рисковали отбыть наказание в штрафной колонне на лесоповале или, в

худшем случае, 10 лет северных лагерей за попытку бегства.

Проходило лето 1943 года, наступила осень, холода, дождь, снег. Мокрую одежду, обувь грузчикам негде сушить. Становилось неуютно, жутко. Проснулся как-то утром рано, до подъёма, и обнаружил труп слева от меня и труп справа. Прощаться с умершими никому не разрешалось. Всех срочно выставили на развод и вывели на работу. Никому не известно, где умерших закопали. А вечером после всё той же баланды, но уже с крапивой, устроившись на нарах, стали вспоминать вполголоса, что дома, в краях Узбекистана. Ведь когда-то ели шашлык из баранины, и копчёный окорок, и домашнюю колбасу, и галушки, и сметану, и фрукты, и овощи, и рыбу, — казалось, перечислениям не будет конца, — а сейчас от баланды люди («Мы ведь тоже люди!» — вставляет кто-то) умирают. И вдруг кто-то с верхнего яруса срывающимся голосом крикнул громко:

— За что-о-о-о?

Тут же весь барак подхватил хором. Выскочил начальник из своей кабины:

— Замолчите! А то устроим сейчас шмон.

Никому не хотелось быть свидетелем и участником этой унижительной процедуры, и постепенно скандирование стало угасать, пока не стихло. Кто-то сверху, со второго яруса, возмущённо сказал:

— Почему не дали нам проститься с умершими? Они не виноваты в своей смерти!

Это был молодой учитель Роберт Мартенс.

— Солдаты на фронте идут в бой, а не собираются вокруг убитых. Вы находитесь на трудовом фронте, и поэтому вас вывели на работу, — парировал Самойленко.

Наступил декабрь. Пошли упорные слухи, что лесоразработки в знаменитом Ильменском заповеднике прекращаются и нас этапируют в другое место. Сначала вывозили лесорубов из центрального лагеря. Они грузились в подаваемые в наш тупик уже «оборудованные» крытые вагоны с зарешёченными окнами. Вагоны вытаскивал маневренный паровоз, и на станции сформировали два эшелона. Как потом мне стало известно, один эшелон направили на станцию Сатка, другой на станцию Верхний Уфалей для пополнения лесозаготовительных стройотрядов.

К концу месяца и нам подали вагоны для этапирования. Была вторая половина декабря, стужа с ветром нас всё больше донимали. Только вернулись часов в восемь в лагерь после утомительного трудо-

вого дня, загрузив лесом две «кольцовки» подряд без перерыва, как нам объявили: «Всем готовиться к этапу. Через два часа посадка в тупике».

И началось! Кто с сожалением готовится расстаться с уже насиженным «гнездом», кто представляет себе переезд на новое место с тайной мечтой о лучших временах. Перебираем жалкий скарб: что-то идёт в истрёпанные вещмешки, с чем-то прощаемся навсегда: куски истрёпанной портянки, книга, случайно подхваченная у местных жителей, кусок верёвки, проволока, ветхое тряпье для латания одежды, банки-склянки, а у кого даже кусок уздечки лошадиной. А вот у немолодого уже грузчика оказалась палка-трость, тонированная на костре, с удивительно красивой, тонкой резьбой.

— Думал, на новом месте новую сделаю, но лучше возьму с собой, авось пригодится в дороге, ноги у меня уже «требуют ремонта». — Так он рассуждал вслух и сунул трость в свой аккумуляторный мешок.

Многие, уложив вещи, достали нитки, иголки, куски тряпок, овчины и принялись приводить в порядок одежду, головные уборы, рукавицы, обувь, всё то, в чём привезли их из дома на каторжный труд.

И вдруг примерно в полночь подошёл усиленный наряд охраны с собаками. Дали команду: «Выходить на проверку! Строиться побригадно! Хозобслуга отдельно! Сухой паёк получите в пути!»

Строились долго, тщательно, не торопясь. Куда же торопиться одетому в полушубки, валенки, шапки начальству. Им не страшна надрывавшаяся в ту ночь метель с морозом. Бесконечные переключки, рапорты бригадиров доводили людей до отчаяния.

— Скорее бы в вагоны! — Так мечтали многие, чтобы укрыться от морозного ветра, который студил кровь в венах.

Но увы, в вагонах не было спасения. Сквозь щели щедро проникал ветер. Это мы почувствовали, когда в три часа ночи загрузились и простояли на колёсах до восьми утра. Считалось, что нас за одни сутки перевезут на новое место, в вагонах не были установлены печи, но были решётки. Трое суток ничто не могло нас согреть. Люди жались друг к другу, образуя сплошной комок еле живых тел, голодных, холодных, больных. И вот мы на новом месте. Станция Верхний Уфалей — между Челябинском и Свердловском. Загнали наш небольшой эшелон в тупик никельзавода, позже переданного Уфалейскому лесозаготовительному району ЧМС НКВД СССР, к которому мы были

приписаны в системе ГУЛАГа. Ровно в три часа ночи, на третьи сутки этапа, нас отконвоировали в зону, приготовленную для ПРУ.

Каково было наше удивление, когда встретились в бараках с земляками — узбеками, работавшими на никельзаводе. Невольно вспомнились дни грусти и печали в связи с недавней кончиной Юлдаша Ахунбабаева.

Большинство наших владели разговорной речью, так как долгое время проживали в Узбекистане бок о бок с этим добрым народом. Трудармейцы-узбеки, разбуженные нашим появлением, шумно вскакивали со своих нар — и пошло братание земляков, речь перешла на их язык:

— Салам алейкум! Яхшимисиз? Сиз каердан? Мен Паргандан! Мен Ташкендан! Мен Самарканддан! Ахвол кандай? Каерда ишляпсиз? Хотин борми? Болалар чакками? Уйда сигир борми? Сут беряптими?

В бараке было тепло, и мы стали согреваться, а гостеприимные узбеки уплотнились в одной стороне барака, уступив нам место в другой стороне. И уснули мы беспробудным сном. Спали почти сутки, не заметив, как нас покинули наши земляки.

Они жили тоже в зоне за колючей проволокой и также выполняли принудительные работы. Тогда я не задумывался: кто они? Почему под охраной? Мы только знали одно: мы виноваты, что родились в СССР, а наши предки — люди с клеймом в паспорте «немец». А им за что недоверие? На этот вопрос я тогда не искал ответа, но болела душа — страна превратилась в сплошной концлагерь.

И только в 60-е годы, уже работая в Самаркандском областном отделе народного образования, я случайно разговорился с нашим заместителем заведующего Али Махмудовым, моим ровесником, случайно спросил, где он воевал. Он ответил, что был в трудармии.

— Где?

— В городе Верхний Уфалей.

— Как? Где жили, работали?

— В зоне, на берегу пруда, работали на никельзаводе. Нас списали всех по состоянию здоровья и в начале 1944-го распустили по домам и реабилитировали.

Оказывается, в ту памятную встречу мы несколько часов спали с Махмудовым в одном бараке. А были они в основном узбеки иранского происхождения. Среди узбеков-трудармейцев были и члены семей репрессированных, раскулаченных, вернувшихся из мест ссылки с оккупированных территорий.

Али Махмудов был умным, обаятельным человеком, прекрасным руководителем и наставником молодых. Он долгое время работал директором школ Самарканда (№ 13, 7, 28). Несколько лет подряд мы работали в облоно. К сожалению, он скончался в начале 80-х годов от сердечной недостаточности. Память о нём храню.

Готовя тексты сводок «Боевого листка», я часто вспоминал о судьбе моих двух старших братьев. Я ещё не знал, что средний брат Лёва умер в одном из лагерей Карагандинской области, на шахтах. Мои родители решили не огорчать меня печальными известиями. Но я знал, что в приказе начальника строительства «Челябметаллургстроя» НКВД СССР генерал-майора инженерно-технической службы Комаровского от 24 апреля 1943 г. отмечалось решение «особого совещания» приговорить группу «трудармейцев» ЧМС к 10 годам лишения свободы по статье 58-10, 58-11. Среди без вины наказанных была фамилия старшего брата. Я был удивлён, как могли осудить Виктора? Он был очень осторожным, неразговорчивым человеком. Часто внушал мне: «Не поддавайся на провокации, не возмущайся, живи в себе». И вдруг? Не мог я тогда, да и сейчас не могу поверить, что брат замешан в контрреволюционной деятельности. Я понял, что он попал под очередную кампанию по доносу одного из тысяч стукачей-provокаторов для устрашения десятков тысяч других. На моё письмо в КГБ Челябинской области и заявление мне сообщили в 1990 году: он реабилитирован посмертно ещё в 1963 году в связи с отсутствием состава преступления, а умер 17 сентября 1943 года в Норильлаге от энтероколита, пеллагры, сердечной недостаточности, похоронен на 2-м участке «Саман» совхоза Таёжный Сухобузимского района Красноярского края. А Комаровскому поставили памятник на Новодевичьем кладбище. Судьбу Виктора я тогда усиленно скрывал. Никто не должен был знать, что мой брат осуждён «особым совещанием». В противном случае меня бы освободили от «престижной» работы и направили на лесоповал, где мало кто выживал.

Печаль и тоска воцарились в уголках моего сердца от потери братьев. «Вы жертвою пали...», не с кем поделиться переживаниями — у всех своя тяжесть на душе, у кого семья голодает, умерли родные, нет писем, у кого-то судьба схожа с моей, кому-то написали соседи, что жена живёт с другим. И заглушить ту боль можно было, только отдаваясь полностью работе.

Мы проживали в зоне города Верхний Уфалей, на берегу пруда, а ПРУ находился недалеко от никелевого завода на расстоянии около 3 км от лагеря. Нас конвоировали на работу через весь город в сопровождении вохровцев, вооружённых карабинами, и офицеров с пистолетами, на виду у населения. Многие сперва принимали нас за военнопленных, за преступников, выкрикивали оскорбительные слова. Но однажды оскорбителей окружили молодые люди, выскочившие организованно из строя с протянутыми комсомольскими билетами в руках. Нас стали приветствовать взмахами рук, из окон домов улыбались молодые лица, особенно девичьи. Но общение с жителями запрещалось, неудачники из наших отправлялись на лесоповал в штрафную колонну. Местным жителям связь с нами внушалась как пособничество врагам, и принимались меры по партийной, комсомольской и иной линиям. С них брали подпisku.

Кипела работа трудармейцев на погрузочно-разгрузочном участке. Возможности приёма порожних «кольцовок» на Уфалейском ПРУ были значительно большими, чем на Чебаркульском — в железнодорожный тупик вмещалось до 30 вагонов, эстакады вмещали леса в полтора раза больше, но состав бригад грузчиков и другого обслуживающего персонала не увеличивался. Вполне естественно, физическая нагрузка стала непомерной. Работали порой по трое суток непрерывно. Баланду привозили из лагеря прямо на рабочие места. На подходе к станции Уфалей бывало по 4—5 «кольцовок», их принимали круглосуточно. Один за другим выходили из строя грузчики, не выдерживая физической и психологической нагрузок. Дав поспать пару часов в обогревалке, их снова выводили на рабочие места. Простой вагонов обходился дорого, за него не только штрафовали, но и «били» нас.

Однажды Григорий Кузьмич дал задание написать из городской библиотеки книги французских писателей для своей супруги Жормен, тогда не работавшей и скучавшей дома. К тому времени мне прислали из дому вельветовую коричневую кофту и тёмные полушерстяные брюки. Весь этот «гардероб» я хранил в тумбе рабочего стола и надевал, когда предстоял выход по заданию начальника участка в городские учреждения. В других случаях в зоне лесосклада я имел право показываться только в своей рабочей верхней одежде. К тому времени удалось частично избежать очередной стрижки под «нулёвку», и у меня вырос небольшой «ёжик». В библиотеке я познакомился с заведующей Надеждой Серге-

евной и библиотекарем Ниной Лапотышкиной, девушкой моего возраста. Она выложила на стол «Мадам Бовари», «Собор Парижской Богоматери», «Виконта де Бражелона», «Шагреневую кожу», «Консуэло». Пока она подбирала литературу, я, опершись пальцами рук о перегородку, наблюдал пристально за лёгкими нежными движениями. Вручая книги, она одарила меня комплиментом, пристально посмотрев мне в глаза: «Какие у вас красивые пальцы!» Покраснев, я поблагодарил и исчез в дверях. Позже я стал частым гостем не только библиотеки, но и дома Лапотышкиных. Нина жила с мамой, а отец к тому времени уже погиб на фронте. Несколько охладели наши отношения, когда я раскрыл своё происхождение, но дружба наша продолжалась ещё долго, благодаря Нине я прочёл много книг известных писателей.

Как-то Нину направили в командировку в Челябинск — пополнить библиотеку. Ещё имея пропуск, я провожал её до ступенек вагона. Скоро она вернулась к двери и говорит:

— Саша, там на нижней полке растянулся во весь рост узбек и не пускает сесть.

Надо сказать, что в то военное время пассажирские вагоны не имели лежащих мест. Я поднялся по ступеням и вместе с Ниной вошёл в вагон. Подойдя к полке, где лежал «возмутитель спокойствия», я понял, что лежит больной человек. У нас начался такой разговор:

— Салам алейкум! — произношу, стараясь выдержать акцент.

— Алейкум асалам! — отвечает «возмутитель».

— Сиз каслми? Шунинг учун утириш жой кизга бермайсизми?

— Ха! — отвечает он, опуская ноги на пол.

— Шу кизга жой берасизми? — спрашиваю

— Ха, келинг, утиринг! Каерга борасиз?

— Мен хеч каерга бормайман. Киз — Челябинскгача.

Дальше разговор шёл попеременно на узбекском и русском языках, уточнялась степень землячества. А звали его Каримом, он из Ферганы, отбывал трудовую на Урале в Свердловской области. За какие грехи, я выяснять не стал. Так произошла ещё одна редкая встреча с узбек-земляком. Вернувшись из командировки, Нина рассказала, как благодаря знакомству и нашему разговору на узбекском языке попутчик всю дорогу оказывал ей внимание, на станции бегал за кипятком и угощал чаем. Место уступил только ей, в связи с чем ехала с комфортом.

В 1944 году руководство лесозаготовительно-го района во главе с начальником Ефимом Моисеевичем Липским переехало из Нижнего Уфалея в Верхний. К нам в колонну влились Герхард Мейер и Арсик [Арсений] Фрей, дневальные штаба. С Герой у нас завязалась крепкая дружба, почти всегда были рядом — штаб и ПРУ в одном доме, который арендовали у женщины-польки весьма общительного склада. Теперь в связи с переездом на ПРУ штаба района у нас стало теснее и веселее. Организовывали и заправку, и ремонтный пункт автомобилей. Стали частыми посетителями шофёры-финны. В памяти сохранились такие фамилии: Корка, Сало, Кекконен, Пегонен и др. Эти и другие были репрессированные трудармейцы из Карело-Финской АССР. Были у нас и венгры-мадьяры, австрийцы — дети бывших военнопленных со времён Первой мировой войны, стали появляться интернированные румынские немки в цыганской одежде. В нашем регионе были и лагеря военнопленных. Кстати, пленные жили в лучших условиях: одеты справно, пользовались увольнительными на вольнохождение, кормили их, на зависть нам, гораздо сытнее. А мы были пленные у своих с 1942 года по 1945-й. Но с 1944 года несколько улучшились наши условия рабского труда в «трудармейских» концлагерях для советских немцев. В баланде чуть увеличилась концентрация круп, периодически она дополнялась такими белковыми продуктами, как кишки, сычуги, желудки — всё-таки появлялся мясной запах от этих отходов; сократилась численность конвоя, на работу и обратно нас стали сопровождать сержантский и офицерский состав, вооружённые уже не винтовками, автоматами, а пистолетами. Стали поступать с фронта одежда, обувь, головные уборы, простреленные пулями, осколками, в кровавых пятнах, с убитых фашистов. Так как вагоны с этими вещами поступали в наш железнодорожный тупик, нам порой кое-что перепало. Мне, например, достались неподшитые валенки, солдатская шапка, гимнастёрка в сносном состоянии. Так что в 1945 год я вступил в «обнове», кровавые пятна с которой смыл.

Крепла наша дружба с Григорием Кузьмичом. У нас с ним была мечта: договорились ровно через год после победы встретиться в 6 часов вечера в Москве в ресторане гостиницы «Метрополь». На досуге часто обсуждали детали встречи. А я — наивный молодой человек — очень ждал этого дня. Но, увы, послевоенное время стало для меня, как и для других советских

немцев, ещё более унижительным и жестоким. Через год после общей Победы я всё ещё был на Урале, в «трудармии». А Григория Кузьмича направили возглавлять один из ответственных участков на строительство Камышинского атомного завода.

Шёл 1944 год. Наш ЧМЗ вступил в строй, стал плавить высококачественную сталь, из которой изготавливали тяжёлые танки ИС и СУ — самоходные установки. Требовалось наращивать темпы на всех участках ЧМС НКВД СССР, в том числе и в лесозаготовительных районах строительства, и у нас. Всё больше и больше требовалось леса, и наш Уфалейский район работал не только на ЧМС, но мы также получали заказы на заготовку длинномерной деловой мачтовой древесины для авиационной и судостроительной промышленности. Напряжение с каждым днём росло, прибавлялось работы и лагерному начальству, и оперативным работникам, которых возглавлял опер Авилович. Он никому не давал покоя, участились ночные вызовы по навету стукачей, многие не возвращались.

«Трудармейцы» с трудом выдерживали кааторжную работу, и незначительное улучшение питания в лагере не могло восполнить затрачиваемой энергии на выполнение и без того раздутых производственных норм и заданий. Смертность среди работающих на лесоповале сократилась незначительно, и со стороны руководства всех подразделений ГУЛАГа не спадала подозрительность к лагерникам. Болеют — значит, не хотят работать, умирают — значит, задерживают темпы. Обвинять мёртвых нет смысла. Но больные ведь живые, с них и спрос.

Вот мы с Герой Мейером находили способы добычи дополнительного питания. Нам уже

было по 19-20 лет, юность в разгаре. Хотя самое трудное и коварное голодное время несколько отступило, но на баланде мяса на костях наших не нарастишь. Наш лагерь ПРУ был расположен на берегу городского пруда. Напротив лагеря, с другой стороны, был городской стадион — зелёное поле, а также танцплощадка под открытым небом. В ясную сухую погоду там танцевали под духовой оркестр воинской части, играли в футбол. Как-то мы с Герой уговорили охрану выпустить нас на танцы, обещая вернуться вовремя и с подарком. Для этого мероприятия у нас были нелатанные брюки и жакеты, которые заранее прятали неподалёку от танцплощадки вместе с рюкзаком в зарослях. После окончания танцев один из нас шёл за рюкзаком. Проводили девушек по домам, распрощались.

— А что охране принесём? — говорю.

— В рюкзак наберём картошки, — ответил Гера.

Нашли побогаче участок, надёргали вместе с кустами плоды, уложили в рюкзак и бодро зашагали к лагерю. Охрана из трёх человек нас радостно встречала, совместно начистили картошку, отдали на кухню, где Андрюша Кнадт поджарил её в противне на воде. Такую операцию мы проводили ещё два раза, пока не заменили нашу охрану из молодых солдат. Вероятно, поступил сигнал к командиру ВОХР, и нас больше не отпускали. Снова, в связи с некоторыми неудачами на фронте, усилилась подозрительность, чаще нас стали навещать Авилович со своим бессменным цензором Зальцманом и политруком Шмидтом. Обработывали, приписывали всякие небылицы о дисциплине, о провокационных разговорах. Всё это выдумка, и мы, уже настроенные на победу советских войск на фронте, отвергали её с возмущением.



Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, очеркист, публицист. Автор нескольких книг, множества публикаций в журналах, антологиях, альманахах. Родился в 1959 г. и живёт в Харькове.

Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club.

Лауреат Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев — Москва, 2008), Всероссийской премии имени братьев Киреевских «Отчий дом» (Москва — Калуга, 2009) и других литературных и журналистских премий России и Украины.

Станислав Минаков

Паскаль, Тютчев и «Ропщущий тростник» Юрия Кабанкова

Чем явственнее и внятнее современный русский писатель наследует традиции, которую Томас Манн высоко поименовал святой, тем менее у него шансов попасть в поле зрения современных российских СМИ (особенно ТВ), не говоря уж о спонсорах и издателях. Разместить свои сочинения в Интернете автор, конечно, может. Но — снова-таки: нынешнему слегка-влёт-почитывающему человеку челом напрягаться — «сильно в лом», как выражаются наши телевизорно-компьютерные дети. Потому-то нынешние русские писатели, которых в предбывшие времена, быть может, поименовали бы без всякой иронии властителями дум, живут, как правило, почти катакомбной жизнью, их книги если изредка издаются, то катастрофически малыми тиражами, и попадают к коллегам эти почти уже раритетные издания при посредстве нашей терпеливой и неспешной почты (или дарятся друзьям-соратникам на редких «творческих встречах»). В масштабах большой страны и всего Русского Мира эти писатели «запросто» существуют без всевозможных внешних эффектов и кликов, привлекающих внимание публики. Тем более если таковой писатель живёт на «самом краю географии», как, например, поэт и сполна православ-

ный мыслитель Юрий Кабанков. Тем более если он, почти как тот, старцем родившийся, Лао-цзы, «светел и не желает блеснуть». Близость русского града Владивостока к Китаю, Корее, Японии бросает особый отсвет на возможное любомудрие здешних читателей и возможных писателей, которое (любомудрие) Кабанков как уроженец града сего нам и представляет.

Кабанков памятен некоторым пристальным читателям как поэт «кузнецовского призыва», ярко стартовавший в середине 1980-х поэтическими книгами в издательствах «Молодая гвардия» и «Современник», много тогда публиковавшийся в столичных журналах и альманахах. Потом, уже во Владивостоке, вышла его мощная поэтическая книга *«Камни преткновенные»*¹, включившая в себя помимо стихов — в качестве некоего стержня — цикл так называемых «Псалмов», то есть *«Отреченную псалтырь Епифания Пустынника»*, написанную им еще в тульской Черни десятилетием ранее. Уже в этой книге мы столкнулись с текстами, которые сам автор впоследствии поименует как трактаты.

Скажем, что после выхода в 2004 году переводов с белорусского стихотворений Леонида Дранько-Мойсюка *«Белая Вежа»*² кумулятивным зарядом этой своеобразной, сложной, неповторимой эссеистики стали последующие книги Ю. Кабанкова: *«Исход. Эпистолярный роман со временем»*³, *«Одухотворение текста. Литература в контексте религиозного сознания»*⁴, *«Последний византиец русской книжности. Преподобный Максим Грек»*⁵, выходившие скромными университетскими тиражами по 200—300 экзем-

¹ Юрий Кабанков. Камни преткновенные. — Владивосток: Уссури; Лавка языков, 1999. — 256 с.

² Леонид Дранько-Мойсюк, Юрий Кабанков. Белая Вежа. Стихотворения. Разговор (выбранные места из переписки...). — Владивосток: Издательство Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского, 2004. — 122 с.

³ Юрий Кабанков. Исход. Эпистолярный роман со временем. — Хабаровск. «Дальний Восток». № 1—3. 2004.

⁴ Юрий Кабанков. Одухотворение текста. Литература в контексте религиозного сознания. Избранные статьи, трактаты, эссе. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2006. — 238 с.

⁵ Юрий Кабанков. Последний византиец русской книжности. Преподобный Максим Грек. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2007. — 200 с.

пляров. Прочитать критику, размышления о сочинениях Кабанкова, некие «пояснения» к ним можно было бы в «био-библиографической» книге *«Энхиридион»*⁶, где составителем Людмилой Качанюк собраны статьи весьма разных исследователей творчества Ю. Кабанкова (ширь — от Владивостока до Варшавы), но кто ж на просторах России ту книгу видел или мог бы увидеть? (тираж 350 экз.), даром что Кабанков — лауреат всяческих — каких-никаких — литературных премий и человек не только в Приморье достаточно заметный. Воистину, «велика Россия, да отступать некуда».

«Поэзия — страстно поднятый перст», — сказал некогда Достоевский. Поднятый перст (или два их) весьма памятен нам хотя бы по полотну Сурикова *«Боярыня Морозова»*. В сущности, троперстный Кабанков отчётливо несёт в себе черты духовной нестигаемости протопопа Аввакума. Это ведь он, Кабанков, ещё в 1983 году смиренно-уничижительно воскликнул в стихотворении *«Перед грозой»*:

Не стихи нам писать — а лудить самовары!
Злую цену ломить за шальные товары,
шапку лихо ломать перед каждым кустом —
пустоцветом родившись на поле пустом!

А заканчивалось стихотворение двумя весьма знаменательными строчками:

Что там слово — когда и делА не сберечь?!
Вот когда пробуждается русская речь...

Взыскательный к себе, он потом, в золотой перспективе, стихи писать практически перестал, однако мощь его самовзыскания и самонепримирения вылилась в его «прозу», он, как говорится, «пересел на другого коня». Жанр его писаний я затрудняюсь определить, ибо она, проза Кабанкова, соединяет в себе признаки поэзии, духовного письма, публицистики, критики, эпистолярности, философических античных диалогов.

Назовём это для начала «страстные письма Юрия Кабанкова». И не следует заблуждаться: если Кабанков направляет их пафос по какому-то определённом адресу, всё равно он тем самым взыскивает с самого себя, вина во всех бедах мира «себя любимого» прежде всего.

Стихотворение *«Иосиф и его братья»*, отражившее и — в какой-то степени — вобравшее в себя тягучую горечь судьбы и творчества столь ценного им Осипа Мандельштама, который, по слову

Ахматовой, «всех победил», Кабанков завершает горестным выдохом:

...и лишь за мною как публичная проказа
влачила тень свою бессмысленная фраза,
дичком возросшая из падшего зерна:
«Зачем свеча Твоя, о Боже, так черна?!»

Потому-то и свои по-державински тяжелоступные, давно ставшие знаменитыми «Камни преткновенные» (их и в Варшавском университете изучают — с лёгкой руки профессора Людмилы Луцевич⁷) он включает в свои и не-стихотворные книги, как включил и ныне в первый том издания, о котором у нас речь:

...Черна в стенах души мирская копоть:
вдруг вскинется в ночи крылами хлопать
иль запоёт, как молодой петух...

Или паче того:

6. Беспутный сын, гордынею томимый,
я отвернулся от родного дыма,
скитаясь — легче пустоты — по городам.
7. И всюду тьмы людские шумно ликовали,
покуда ангелы ключи для них ковали —
во имя счастья и вечного труда;
8. и, как дитя с фонариком бумажным,
я всюду вопрошал неутомимых граждан:
Куда грядут сии плачевные стада,
9. не ведая ни пастыря, ни броду?
И никли долу возмущённые народы,
и слёзы их струились — как вода.

«При огромной сегодняшней христианской литературе, которая числом уже почти не уступает светской (загляните в хорошую церковную лавку — только вздохнёшь: за жизнь не прочитаешь), книга Кабанкова⁸ всё-таки явление редкое. Может быть, тем, что путь, истина и жизнь соединены в ней с живой личной напряжённостью», — пишет в послесловии к двухтомнику В. Я. Курбатов⁹.

Курбатов весомо цитирует Кабанкова периода его сельского учительствования — и на станции Чернь Тульской области, что в нескольких километрах от знаменитого тургеневского Бежина луга, и — впоследствии — в дальневосточном селе Вострецове.

Цитата: «С первых шагов «на ниве просвещения» я оказался в тупике. Подлинную историю России можно было с лёгкостью перечеркнуть, а классическая литература представляла набором эстетически-обличительных сюжетов, направлен-

⁶ Энхиридион. Юрий Кабанков: Библиографический, литературно-критический и биографический index. — Владивосток: Издательство Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского, 2009. — 178 с.

⁷ Людмила Луцевич. Псаломная поэзия новейшего времени: Отреченная псалтырь Юрия Кабанкова // Людмила Луцевич. Память о псалме (sacrum / profanum в современной русской поэзии). — Варшава: Варшавский университет, 2009. — С. 267—312.

⁸ Юрий Кабанков. «...и ропщет мыслящий тростник». Слово как фрагмент религиозного самосознания. Выбранные статьи, трактаты, эссе. — В 2 т. — Издательство Дальневосточного федерального университета. — Владивосток, 2012. — 665 с.

⁹ Валентин Курбатов. Изречённое безмолвие // Там же. Т. 2. — Апология искупления. — С. 614—619.

ных против «воинствующих угнетателей и мракобесов». Мне пришлось в рамках школьной программы ввести некий курс религиозного ликбеза. История и литература тут соприкасались. Ну, действительно: для чего равноапостольные братья Кирилл и Мефодий одарили нас (славян) возможностью читать? Для того, чтобы мы читали Священное Писание. Что это за концепция «Москва — Третий Рим»? Изъять этот стержневой вопрос — рухнет вся наша история. А с Пушкиным? Почему он для выпускного лицейского экзамена пишет стихотворение «Безверие», а в одном из последних своих стихотворений перелагает на поэтический язык Великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...»? Почему Раскольников заставляет Сонечку Мармеладову читать вслух евангельскую главу о воскрешении Лазаря Иисусом Христом, а Лев Толстой изымает из своего переложения Евангельской истории всё, что касается феномена чуда?»¹⁰

Вернёмся, однако, к тексту В. Я. Курбатова: «Я почему и говорю о единичности этой книги в потоке христианской литературы. Это только со стороны может почудиться, что поэт (а тут, повторю, подлинно в каждом и самом прозаическом, и академическом слове — первичен поэт) учит, делится «готовым», утверждает «систему», «читает курс», а по беспокойству сердца при чтении легко увидеть, что это — борьба с собой, с собой, Иакова с Богом. Так страстно заговаривают своё колебание, свою бездну. <...> Тогда станет понятен и горячий тон книги, её проповеднический пламень, её ильинский огонь, когда попадает не одним лишь современникам, но не даётся спуску ни Горькому, ни Толстому. <...> Книга неуклонна, как стрела, — от первого тома, посвящённого во многом современной поэзии, впервые последовательно прочитанной православным сердцем, ко второму, где так же, православным сердцем, читаются история, политическая ситуация, богословие и философия, где в десяти строках могут сойтись для полноты доказательств Аристотель и Паскаль, Ориген и отец Георгий Флоровский, Дэвид Бом и отец Павел Флоренский, Стивен Хокинг и Бэззий».

Аннотация рассказывает нам, что в книге представлены религиозно-философские исследования русской словесности в рамках истории христианства от Кирилла и Мефодия до наших дней, слагавшиеся автором на протяжении последних двадцати пяти лет, «и это позволяет в определённой степени проследить процесс возрождения религиозного сознания (и противление сему) в наши

дни. Много места автор оставляет для исследования религиозно-философического феномена поэзии — как классической, так и современной. Автор проведёт читателя через анфиладу истории литературы и религиозной мысли, где мы встретимся с такими именами, как Максим Грек, Пушкин, Тургенев; узнаем о первой русской песне в Японии, о ключевой теме — судьбы — в русском фольклоре, о свободе греха и грехе свободы как апологии зла в современном мире...».

Добавим, что движение Кабанкова через многие его alter ego — Гарика Надеждинского, Егора Беломазы, Епифания Пустынника, богослова Халяву (нужное — подчеркнуть) — к собственно Юрию Кабанкову, но уже на новом витке, представляется путём нелёгким, а потому достойнейшим. Обратим внимание, что на этом пути писатель не только и не столько занимался самоуглублением и «самосовершенствованием». Он обращал свой взор на близ- и даль-лежащее пространство, прежде всего духовное. А сердцу, как некая философическая заноза, не давала покоя тютчевская фраза, которую он и поместил эпиграфом к каждой из книг двухтомника, взяв последнюю строку названием книги, памятуя вслед за Тютчевым горькое паскалевское определение человека как «мыслящий тростник»:

...Невозмутимый строй во всём,
Согласье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаём.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поёт, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Ведь писательство для Кабанкова не есть привычная публике художественно-интеллектуальная игра, но прежде всего некое духовное делание — огненным кустом вспыхивающее и разрастающееся из традиционно пушкинских «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». И в этом он наследует самому трудному, то есть подлинному, в русском писательстве. Снова вспомню «упёртого» протопопа Аввакума, а потом и Николая Гоголя, нетривиально (для обыденного сознания) поступившего со вторым томом «Мёртвых душ» и написавшего «под занавес» своё «Размышление о Божественной литургии». А следом назову и Льва Толстого, также устыдившегося в конце концов своего пристрастия к художественному сочинительству. К чему клоню? А к тому, что каждый нормальный сочинитель (по Кабанкову, а я его ох как поддержу!), осознав греховность художественного пустословия, должен в

¹⁰ Юрий Кабанков. Религиозный ликбез. О «Религиозном нравственном смысле основных сюжетов Библии» // Там же. Т. 2. — Апология искупления. — С. 654.

пределе замолчать. И разлеплять уста лишь по очень важному поводу.

Дабы помочь читателю (и, быть может, самому себе) прояснить то, что называется «творческий метод», которым Кабанков пользуется «почти не задумываясь», он, автор (ещё и как редактор книги), — в качестве некоего «Приложения» — завершает свой «двустворчатый складень» статьёй «Глазами лингвиста», где исследователь, хабаровский филолог Олег Копытов, так размышляет о возможностях лингвистического обоснования кредо автора¹¹: «Публицистику Кабанкова зачастую называют «мирской проповедью». И всё-таки, «мирская проповедь» не совсем точное определение. Публицистика его — это, скорее, *метапублицистика*, критика — скорее, *метакритика*. Одна из главных составляющих и метода, и кредо Кабанкова в любого типа писательстве — собирание целостности, в том числе своей собственной». Каков же этот «научный метод» Кабанкова? Олег Копытов делает, на наш взгляд, весьма точное замечание: «...одним из главных составляющих метода как в публицистических, так и в научных текстах Ю. Н. Кабанкова является попытка описывать объект, становясь этим объектом, точнее — попытка проникнуть в объект так, чтобы самому стать субъектом, хотя бы «сыграть роль» описываемого объекта как субъекта. Лаконично Кабанков, наверное, мог бы записать свою творческую и научную программу так: «Выразить самого себя — это значит сделать себя объектом для другого и для самого себя», — если бы это задолго до него не сказал М. М. Бахтин...»

Вот-вот, именно обвиняя прежде всего самого себя, именно с болевой всемирной русской отзывчивостью — Кабанков сам становится частью осмысливаемого-оцувствованного им объекта, словно растворяясь в нём. А это — больно.

Попробуем согласиться с лингвистом Копытовым: «Кабанков относится к тому типу авторов, которые не навязывают своё кредо, что бывает слишком часто в современном дискурсе, особенно в публицистической и научной сфере, и даже не убеждает, — *он всё время стремится к Истине*».

Полнота же правоты, на наш взгляд, состоит в том, что Кабанков, «не навязывая своего кредо», — теперь и впредь — стоит на своём: на смерть, как скала, несгибаемо и несдвигаемо, словно на последнем рубеже. Как и не скрывает нигде имени этого «рубежа» — Иисус Христос. И словно пылающую хоругвь воздвигает Кабанков в страстном эссе «*Живые мощи и мёртвые души*

православного атеизма (Об отрицании религии как о религии отрицания, сюда же о мельничном жёрнове)»¹², приводя слова Гоголя из его «Духовного завещания»: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник!»

Остановимся на тексте «Живые мощи» чуть подробнее, поскольку это, на наш взгляд, сочинение показательное и неминуемое. Ю. Кабанков напоминает нам о ростках нигилизма и диссидентства «в неокрепших, но ищущих правды» умах XIX в., горько разумея, к чему в конце концов они привели Россию в начале XX столетия. Кабанков говорит о ереси — «в широком понимании — «как рассудочной односторонности, утверждающей себя как всё» (П. Флоренский), то есть идеологии, неистово отстаивающей некие преимущественные права индивида в пику долженствованию трезвого сознания ответственности и обязанностей части перед Целым (см., напр., статью А. С. Пушкина «Об обязанностях человека»)). И мы вслед за Кабанковым с ужасом вглядываемся мыслью своею в ход и результаты русской истории последних полутора лет — страшной, жестокой, всё более и более норовившей, как и ныне норовящей, отвратить наши сердца от Бога.

Кабанков в этом же трактате, датированном 27 (14) сентября 2008 года, днём Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, напоминает, что в неотправленном ответе Белинскому у Гоголя есть такие слова об «отважной самонадеянности» его оппонента: «Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежество!.. Нельзя, получа лёгкое журнальное образование, судить о таких предметах... Журнальные занятия выветривают душу... Вспомните, что вы учились кое-как... Начните учение...»

И этот гоголевский вскрик, метнувшись по странице кабанковского трактата, раскалывается вдруг «*округлым рыком сверхзвукового истребителя*», опадает сдавленным эхом на сегодняшние грады и веси пребывающего в рассеянии Государства Российского, вернее, всего того, что от него осталось после последнего разлома 1991 года, и скачет, как мячик, по Тверскому бульвару, куда-то не то на Болотную площадь, не то к подножию памятника Абаю, где, как на пикнике, ночуя гуртом на газонах в спальных мешках и палатках, вполне комфортно «протестуют» наши нынешние «не согласные ни с чем». Не зря ведь в этом же трактате Кабанков утверждает, что «русская ин-

¹¹ Олег Копытов. Глазами лингвиста. О возможностях лингвистического обоснования кредо автора. Модусный аспект // Там же. Т. 2. — Апология испуления. — С. 648—658. Статья является фрагментом докторской диссертации автора.

¹² Юрий Кабанков. «...и рошчет мыслящий тростник». — С. 572—584.

теллигенция начала XX века оказалась той заква-ской, без которой невозможны были бы обе револю-ции, как невозможно было бы «утверждение в бытии» носителей нового нигилизма — большеви-ков». И не случайно «сам» Антон Павлович Чехов, не очень-то жаловавший, скажем так, «иерархи-ческие структуры» и столь чтимый нашей «обра-зованной» интеллигенцией (а ведь есть ещё — в большинстве своём — и необразованная!), писал в частном письме (И. Орлову): «Я не верю в нашу ин-теллигенцию, лицемерную, фальшивую, истерич-ную, невоспитанную, лживую, не верю даже когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители вы-ходят из её же недр...»

Но вернёмся, однако, к «Живым мощам и мёртвым душам...» Ю. Кабанкова и приведём до-вольно пространную цитату: «В сопроводитель-ном письме И. С. Тургенева к Я. П. Полонскому от 25 января 1874 г., напечатанном в «Складчи-не» в качестве предисловия и автокомментария к рассказу «Живые мощи», говорится: «Всех их (рассказов. — Ю. К.) напечатано двадцать два, но заготовлено было около тридцати. Иные очер-ки оказались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит; другие — потому, что показались мне не довольно интересными или не идущими к делу (? —). К числу последних при-надлежит и набросок «Живые мощи». (Где уже, заметим, содержалось то, что мы можем по праву назвать апологией Православия. — Ю. К.).

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдох-нув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Госпо-ду Богу наскучать? О чем я Его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит. Так нам ве-лено это понимать (подчёркнуто мною. — Ю. К.). Прочту «Отче наш», «Богородицу», акафист «Всем скорбящим» — да и опять полёживаю себе безо всякой думочки. И ничего! —

Замечательное русское восклицание «**ничего**», восклицает вслед за тургеневской Лукерьей Ка-банков, — которое, по преданию, заставило Бис-марка сомневаться в целесообразности любого «Drang nach Osten». Это когда после его визита в Петербург на его кибитку среди российских снегов напали волки, и русский возница, истово погоняя лошадей, приговаривал, повторяя это странное, ничего не означающее русское слово «**nitchevo!**»: «Ничего, барин, ничего!» Это восклицание, содер-жащее в себе надежду на заступничество Свыше, веру в Промысел Божий, в сознании православ-ного человека означало, в конце концов, свою противоположность, то есть «**всё**», «кафолон»,

некую полноту, целостность, Божественный По-кров, Омофор; это слово, переосмысленное мёрт-вой душой, сиречь новым, прогрессистским созна-нием, стало означать в линейной своей парадигме именно то, что оно для нас, нынешних, и означает: «**nihil**», «**ничто**»».

Конец цитаты, которую мы прерываем с нема-лым сожалением. Ибо всё здесь, как сказал бы из-вестный русский демон, «архиважно».

Префикс мета- употребляет по отношению к сочинениям Кабанкова и доцент кафедры исто-рии музыки Красноярской государственной академии музыки и театра, кандидат искусство-ведения Валентина Чайкина, пристальный не только читатель, но и слушатель произведений Кабанкова, обнародованных также в виде боль-шого цикла аудиолекций: «Всё, что написано Ю. Н. Кабанковым в разные годы и в разных жан-рах (монография, трактаты, эссе, статьи, рецен-зии, эпистолярный, поэтическое творчество), можно осознать как единый, очень значимый для совре-менной русской мысли метатекст, в котором во-площена концепция Апологии Православия. Суть этой концепции образно отражена в поэтических строках иеромонаха Романа: «Белые церкви — твердыни Вселенныя, не устоите — развалит-ся мир». В кабанковском метатексте проводятся несколько сквозных фундаментальных идей, каса-ющихся соотношения духовной вертикали и куль-турной горизонтали, а также — центробежных и центроостремительных тенденций в разных аспек-тах их проявления (в мироощущении, культуре, самосознании и т. д.), «матрёшечности» феноме-нов цивилизации, культуры и религии (что «обво-лакивается» чем), необходимости одухотворения текста материального бытия, восстановления це-лостности этого текста (исцеления как преодоле-ния разорванности во всех её проявлениях)».

Строго говоря, все тексты Кабанкова, стихи это или статьи-трактаты-эссе, — начиная с «лю-бого первого» — есть свидетельства глубинного вглядывания в Космос, говорение с Создателем. Налицествует ли гордыня в полагании такой (ка-кой угодно) собственной соотнесённости с Богом? Безусловно. За что писатель и расплачивается всю жизнь. Быть может, за то ещё, что дан ему крест труднейший из возможных — Слово. Логос, если уточнить греками.

А ведь именно греками и следует делать уточне-ние в случае с Юрием Кабанковым, соединяющим то, что пора бы уже человекам начать соединять: Восток (Дальний через Ближний) и Запад (антич-ную культуру, оплодотворённую христианством). С географических-то мест они, по Кипплингу, не

сойдут, а вот в духовном претворении — воедино сплавятся. По крайней мере, творчество Кабанкова — значительная попытка такого претворения. Здесь становится понятным и появление в кабанковских текстах преподобного Максима Грека с его православной апологией искупления. О нём, преподобном Максиме Святогорце, Кабанков много размышлял, писал, защитил диссертацию, вот уже более десятка лет преподавая на кафедре теологии и религиоведения ДВГУ; и во втором томе «Тростника» найдём пять-шесть статей-трактатов, тематически связанных с этим его духовным — в веках — собеседником; Кабанков аргументированно и настоятельно именует Максима Грека и «первым русским филологом», и «последним византийцем русской книжности». И здесь-то необходимо вспомнить, что для недавно изданной и стремительно, на удивление, разошедшейся и уже переиздающейся огромной двухтомной антологии «Молитвы русских поэтов» (М.: Вече, 2010, 2012, сост. В. Калугин) тексты молитв Иоанна Грозного и преподобного Максима Грека, так же, как и комментарии к ним, подготовил Юрий Кабанков.

О духовном векторе («стреле», как верно увидено Курбатовым) двухтомника Кабанкова красноречиво говорят сами названия статей — яркие, образные, развёрнутые, полемически заострённые. Даже в содержании-оглавлении книги некоторые из этих названий и поясняющих подзаголовков (всего шесть десятков сочинений на два тома) читаются как самодостаточные поэмы: «О поэтах и канарейках, или Новый Геродот», «О поэтическом камине и душевной мембране», «Возможность одухотворения и анимация стихотворного текста» — это в первом томе, где собраны статьи-тексты, в большинстве своём посвящённые творчеству русских поэтов — от Арсения Тарковского и Юрия Кузнецова до Вечеслава Казакевича (или «Новейшего homo simplicissimus'a» как повсеместно печального явления); и во втором — ««Не увидет мудрость в душу злохудожну» (Пушкин: поэтический путь духовного служения)», «Нестяжательство и вопрос апологии Православия в русле концепции "Москва — Третий Рим"», «О свободе греха и грехе свободы (Вариации на тему апологии зла)» и т. д. и т. п.

Собирающим же в фокус всё наиченнейшее для писателя Юрия Кабанкова мне представляется длинное поименование кабанковского сочинения «Слово о Православии как причине единственно возможной живой целостности мира видимого, сказанное по случаю дня памяти первоучителей и просветителей славянства святых и равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-

дия», в коем все слова — значащие, хоть начини перечислять их через запятую — от первого до последнего. Уместно и мощно сведенные воедино «Слово», «Православие», «единственно», «живой», «целостность», «мир», «память», «первоучители», «славянство». Перечень этот и составляет в единой сущностной совокупности ядро того духовного пространства, которое мы и назовём сочинениями Кабанкова. Одухотворяющего текст — как продолжение единого Писания.

Наблюдатели неизменно отмечают, что Кабанков многие свои сочинения завершает подробной православной датировкой, объясняющей, в какой именно день христианской истории автор отправляет своё детище в мир. Так Церковь празднует дни святых по дате их кончины, то есть перехода в иной мир. Так у Кабанкова датировка является сущностнообразующей, значащей частью произведений, помещающей и автора, и текст, и читателя в живой хронос Всемирной Священной Истории.

Тенденциозно и концептуально каждую книгу двухтомника завершает *Покаянная молитва, «юже чтоша в церквах России во дни смуты»*, в которой непреходящей болевой кульминацией для Юрия Кабанкова на протяжении всей его христианской, православной жизни остаются слова: «... но премилостивый и человеколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй нас недостойных, исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери разточенные, соедини разсеянные, подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю от всяких бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом учения Евангельского, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоя и направи я к деланию заповедей Твоих».

Думается, что здесь-то и следует завершить нашу не вполне краткую реплику о писателе Юрии Кабанкове, чья новая книга представляется эталонным двустворчатым складнем, довольно редким в нашем литературном обиходе, но весьма важным и сугубо значительным явлением в русле современной русской мысли.

17—18 июля 2012 г.,

Память святых страстотерпцев —

Царя Николая, Царицы Александры,

Царевича Алексея,

Царевен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии,

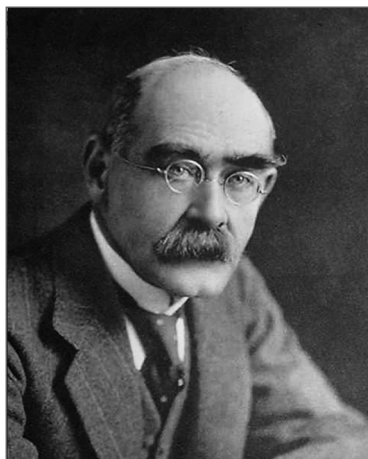
Память преподобномученицы

Вел. кн. Елисаветы Романовой

и инокини Варвары (Яковлевой),

Празднование обретения мощей

преп. Сергия Радонежского



Есть ли нужда напоминать русскому читателю, кто такой Редьярд Киплинг? Ведь его писательская судьба в России сложилась, пожалуй, более счастливо, чем даже у него на родине. К перипетиям его прижизненной литературной карьеры исследователи обращались не раз: невероятной быстроты взлёт, известность в Индии, затем в Англии, возмущение либеральной общественности — за “проимперские” стихи и поддержку бурской войны; мировая известность, Нобелевская премия в 1907 году (между прочим, получив ее в 42 года, он до сих пор остаётся самым молодым лауреатом), почти мгновенное забвение после Первой мировой, Вестминстерское аббатство, «уголок поэтов» — последний приют. Не гладкий путь, не правда ли?

Ещё несколько фактов достойны упоминания. Детишки и взрослые, зачитываясь его сказками, как правило, не знают (впрочем, никто знать не обязан), что сочинялись они для старшей дочки, не дожившей до восьми лет. Вторая потеря — смерть единственного сына, восемнадцатилетнего мальчика, где-то на полях Франции в 1915 году.

«...Убитыми официально числятся не более 25 человек, что, вероятнее всего, является заниженной цифрой. Из них офицеры: второй лейтенант Пакенхем-Ло умер от ран; вторые лейтенанты Клиффорд и Киплинг пропали без вести. Капитан и Адьютант Хон. Т. Е. Вэси, капитан Уинтер, лейтенант Стивенс и вторые лейтенанты Сассун и Грейсон ранены, последний разрывом снаряда...»

Хроника «Ирландская гвардия во время Великой войны» (1923) задумана как памятник погибшему сыну. Имя Джона Киплинга упомянуто четырежды: впервые — в начале 2 тома при описании одной из стычек с немцами, второй отрывок процитирован; еще два раза — в списках погибших и пропавших без вести.

Основным материалом Киплингу служили солдатские дневники и письма. Хроника создана с огромным тщанием: карты с прочерченными маршрутами батальона, портреты командиров, тяготы окопной войны, мелочи, детали, подробности... Досужему взгляду они кажутся излишними и утомительными. Но это последний земной путь его сына — имеет ли он право что-то упустить? Что-то, что окажется самым важным?.. Ведь он не знал, как — и это обстоятельство мучило его, кажется, более всего.

«Всё ли, Господи, с ним хорошо?»

Материнский голос дрожит.

«Ибо я не знаю, как он ушёл,

И не знаю я, где он лежит».

Редьярд Киплинг, писатель с мировым именем, делает всё, что может, в память о сыне и тех, кто прошёл страшный путь бок о бок с ним.

Конечно, война не раз ещё возникнет в поздних сборниках, где едва ли половина останется от прежнего Киплинга, — в картинах страха, ненависти, мести и горечи. Один из послевоенных сюжетов, тем не менее, резко отличается от остальных и по настроению, и по акцентам, как правило, определявшим отношение Киплинга к теме войны.

Это рассказ «Садовники», завершающий книгу «Подведение итогов» (*Debits and Credits*, 1926). Книга, вяло откомментированная критикой, и по сей день не пользуется особенным вниманием публики.

Когда-то в стихотворении «Дети Марфы» Киплинг решительно встал на сторону тех, кто торит земные пути сыновьям Марии — впрочем, он всегда был на их стороне. В «Садовнике», как и в Хронике Ирландской гвардии, его «я», его личное горе предельно дистанцированы, несмотря на множество деталей биографического характера. Однако здесь ясно ощущим взгляд с другой стороны, неожиданное обретение той «благой части», которая «не отнимется» (Лк, 10: 42). Хроника — заботы о многих. Рассказ — обо всех и каждом, навсегда.

Как ему это удалось? Как он это сделал? Груз какого отчаяния нужно выдержать, чтобы так написать? Завершающая рассказ фраза, в которую естественным образом вплетается евангельский текст (Ин, 20: 15), сколь бы тихо произнесённой ни казалась, не звучала бы столь — я осмелюсь на это слово — победно, не будь её появление подготовлено безысходностью, беспредельностью предшествующего переживания. Как по кладбищенским ступеням, героиня Киплинга поднимается от невозможного к ещё более невозможному, немыслимому в жизни: смерть её мальчика, нелепая женщина с кодаком, наконец, встреча на кладбище... Каждый раз — этого не может быть! Однако Киплинг убеждает нас, что это правда; но правда о смерти — ещё не всё.

Джозеф Редьярд Киплинг

Садовник

Был дан мне гроб — и плакать
 На нём до Судного дня;
 Но Тот, Кто видит все слёзы, —
 Он пожалел меня.

Один лишь день сквозь годы,
 В том дне лишь час один,
 Где Ангел, встав от гроба,
 Мне камень отвалил.

Все в деревне знали, что Хелен Таррел безупречна по отношению к окружающим, и более всего — к несчастному ребёнку своего единственного брата. Деревня также знала, что Джордж Таррел жестоко искушал терпение семьи с младых ногтей, и никто не удивился, когда выяснилось, что после многих неудачных попыток исправиться и начать новую жизнь он — инспектор индийской полиции! — связался, подумайте, с дочкой отставного сержанта и разбился, упав с лошади, за несколько недель до рождения ребёнка. Благодаренье Богу, отца и матери Джорджа к тому времени давным-давно не было на свете, и хотя Хелен, тридцатипятилетняя и независимая, вполне могла умыть руки и не впутываться во весь этот позор, она благороднейшим образом взяла заботы на себя, несмотря на то, что ей самой тогда угрожало заболевание лёгких, вынудившее её отправиться на юг Франции. Она распорядилась относительно переезда ребёнка и няни из Бомбея, встретила их в Марселе, выходила малыша от приступа детской дизентерии, схваченной из-за небрежности няньки, которую она тут же рассчитала, и, наконец, исхудавшая и осунувшаяся, но торжествующая, поздней осенью привезла мальчика, уже совершенно здоровенького, домой в Хэмпшир.

Подробности эти были достоянием всех и каждого, ибо Хелен была ясна как божий день и придерживалась мнения, что скандалы тем слышней, чем тише шепчешься. Она признавала, что Джордж, в общем-то, всегда был паршивой овцой в семье, но дело обернулось бы куда хуже, если бы на своих правах стала настаивать мать. К счастью, люди этого класса, похоже, готовы почти на всё ради денег, и так как Джордж неизменно обращался к ней в любой передрыге, она чувствовала, что права, разрывая всяческие отношения с

семейством отставного сержанта и принимая на себя попечение о малыше; друзья с ней соглашались. Первым шагом было крещение, совершённое ректором*, — мальчика назвали Майклом. Насколько Хелен знала себя, она никогда не была наседкой; но она была нежно привязана к Джорджу, несмотря на все его выходки, и отмечала, что маленький Майкл очертаниями рта был вылитый отец, а на таком фундаменте уже можно кое-что построить.

Говоря по правде, Майкл скорее унаследовал тарреловский лоб, широкий, низкий, хорошо вылепленный, и широко посаженные глаза. Рот его был даже чуточку лучше очерчен, нежели диктовало фамильное сходство. Но Хелен, не уступившая бы материнской родне ни единой милой чёрточки, торжественно клялась, что он вылитый Таррел с головы до пят, и поскольку возразить ей было некому, сходство было, таким образом, установлено.

Через несколько лет Майкл стал таким, как мечтала о том и какой всегда была сама Хелен — бесстрашным, задумчивым и ясно привлекательным. Шести лет отроду он пожелал узнать, отчего он не может звать её «мамочкой», как другие дети зовут своих матерей. Она объяснила, что она ему только тётя, и что тётя это не то же самое, что мамы, но что он может называть её «мамочкой» в кровати, перед тем как идти спать, если ему так нравится — пусть это будет их маленьким секретом. Майкл рыцарски хранил тайну, однако Хелен, по обыкновению, не скрыла ничего от друзей; и когда Майкл узнал, разразилась буря.

— Зачем ты сказала? Зачем ты сказала? — бушевал шторм.

— Затем, что всегда самое лучшее — говорить правду, — отвечала Хелен, обнимая рыдавшего в кровати мальчика.

— Гадкая твоя плавда, и я так не думаю!

— В самом деле, милый?

— Да, и, — она почувствовала, как напряглось маленькое тельце, — лас ты всем сказала, я больше не стану звать тебя «мамой» — даже в кровати.

— Но разве это так уж хорошо? — мягко возразила Хелен.

— Мне всё лавно! Всё лавно! Ты меня так обидела внутли, что я тоже тебя обижу!.. Я всю жизнь буду тебя обижать!

— Не надо, пожалуйста, не надо, милый! Ты не знаешь, что —

— Буду! А когда я умлу, я обижу тебя ещё больше!

* Приходский священник в англиканской или протестантской церкви.

— Слава Богу, я умру задолго до тебя, милый.

— Ха! Эмма считает, — «никто не знает своей судьбы» (Майкл часто беседовал с пожилой плосколицей служанкой Хелен). Многие маленькие мальчики умиляют очень рано. И я умлу. Вот увидишь тогда!

Сдерживая дыхание, Хелен пошла к двери, но отчаянный крик «Мама! Мамочка!» вернул её вспять, и они зарыдали вместе.

Когда Майклу исполнилось десять, после двух семестров в подготовительном, что-то или кто-то подтолкнул его к мысли о необычности его гражданского статуса. Он атаковал Хелен, с фамильной прямоотой в пух и прах разбивая её оборонительные усилия.

— Не верю ни единому слову, — бодро сказал он под конец. — Не было бы толков, если б родители были женаты. Но ты не тревожься, тётя. Я тут выяснил насчёт моей родни — в английских хрониках и у Шекспира. Сначала, естественно, Вильгельм Завоеватель, а дальше — да полно других, и все самые достойные. А тебе всё равно, что я, ну-у, такой — правда?

— Если что-нибудь и могло бы... — начала она.

— Хорошо, не будем больше об этом говорить, чтоб ты не плакала. — Сам он не вспоминал о разговоре, но два года спустя, ухитрившись в каникулы подхватить корь и лёжа с температурой под 104, он только о том и бормотал, пока голос Хелен, прорвавшийся сквозь его бред, не убедил его, что ничто ни на земле, ни выше не способно их разлучить.

Школьные семестры сменяли чудесные рождественские, пасхальные и летние каникулы, время славное и весёлое, как нитка жемчуга; и словно драгоценности, берегла их Хелен. Увлечения Майкла с годами менялись, взрослея вместе с ним; но его любовь к Хелен только крепла. Она платила всей силой своей привязанности, а если могла — советом или деньгами; и поскольку Майкл был не глуп, Война застала его как раз на пороге того, что могло бы стать самой заманчивой карьерой.

В октябре он должен был поступить стипендиатом в Оксфорд. В конце августа с первым эшелонном выпускников частных школ он чуть было не ушёл на Линию — мальчишки рвались в бой, а попадали в бойню; однако же капитан Корпуса военной подготовки, где он почти год был сержантом, помешал ему, быстренько направив его лейтенантом в новый с иголки батальон, — половина личного состава щеголяла в старой красной армейской форме, а вторая половина вы-

сиживала менингит в переполненных сырых палатках. Хелен пришла в ужас при мысли о немедленном призыве.

— Но это же в семейных традициях, — смеялся Майкл.

— Ты хочешь сказать, что всё это время верил рассказам? (Эмма уже несколько лет как умерла.) — Я дала тебе честное слово — и даю опять, что — что всё в порядке. Правда.

— О, это меня не тревожит. И никогда не тревожило, — храбро ответил он. — Я просто имел в виду, что если бы меня призвали, мне следовало бы попасть в заварушку раньше других, — как деду.

— Не говори так! Ты что, боишься, что всё вот-вот кончится?

— Если бы вот-вот! Ты же знаешь, что говорит К.

— Да. Но мой банкир сказал мне в понедельник, что дольше Рождества это просто не может продолжаться — по финансовым соображениям.

— Надеюсь, что он прав, но наш полковник — а он из кадровых! — говорит, что, похоже, дело надолго.

Батальону Майкла повезло — по какой-то случайности, которая означала в том числе и несколько «увольнительных», призывников использовали на береговой обороне в мелких окопах норфолкского побережья; оттуда послали охранять вход в один из шотландских эстуариев, развлекая в довершение всего безосновательными слухами о тыловой службе. Но в тот самый день, когда Майкл должен был встретиться с Хелен, чтобы вместе провести целых четыре часа на железнодорожном узле выше по линии, их, чтобы как-то справиться с потерями, бросили к Лоо, и он успел только послать ей прощальную телеграмму.

Во Франции удача вновь сопутствовала батальону. Он был расквартирован возле Сальен, где вёл похвально необременительную жизнь, покуда обделывались дела на Сомме, и наслаждался миром в секторах Армантьер-Лаванти, когда начались настоящие бои. Находя, что батальон держится трезвых взглядов относительно защиты флангов и умело окапывается, осторожный Командующий выкрал его из собственной дивизии, под предлогом помощи в прокладке телеграфа, и использовал главным образом в окрестностях Ипра.

Месяц спустя, как раз после того как Майкл сообщил Хелен, что дел особенных нет и тревожиться не о чем, осколок снаряда, выпавший из рассветной сырости, убил его наповал. Следующий снаряд поднял из земли и положил поверх тела то, что было когда-то основанием амбарной

стены, так аккуратно, что только эксперт догадался бы, что произошла какая-то неприятность.

К тому времени деревня давно уже узнала, что такое известия с фронта и, по английскому обычаю, установила ритуал встречи с ними. Вручив семилетней дочке официальную телеграмму для передачи мисс Таррел, почтальонша заметила, обращаясь к садовнику ректора: «Вот и мисс Хелен очередь пришла». Тот отвечал, думая о собственном сыне: «Что ж, он продержался дольше других». Сама девочка подошла к парадной двери, громко всхлипывая, потому что мастер Майкл частенько баловал её конфетами. Хелен, опомнившись, обнаружила, что методично спускает одну за другой шторы затемнения в доме и честно говорит каждой: «Без вести пропавший значит погиб». Затем она заняла своё место в мрачной процессии, которая вынужденно двигалась сквозь бессмысленный строй бесполезных эмоций. Ректор, разумеется, говорил о надежде и предсказывал скорые вести из лагеря для военнопленных. Также и друзья поведали ей несколько совершенно достоверных историй, правда, всегда о других женщинах, которым, после месяцев и месяцев молчания, чудесным образом возвращались их без вести пропавшие. Кто-то убеждал её обратиться к надёжным людям в организациях, которые имели ходы к дружественным нейтралам, которые могли добыть точную информацию, которая хранилась у самого секретного немецкого лагерного начальства. Хелен делала, и обращалась, и подписывала всё, что бы ей ни советовали и что бы ни ложилось перед нею на стол.

Как-то в один из отпусков Майкл провёл её по оружейному заводу, где она увидела, как производят снаряд — от железного бруска до почти готового изделия. Её поразило тогда, что проклятую штуку ни на секунду не оставят в покое. «Из меня производят неутешную ближайшую родственницу», — повторяла она, готова свои бумаги.

В должное время, когда все организации должным образом выразили глубокое или искреннее сожаление относительно того, что не могут проследить и т. д., что-то отпустило её внутри, и все чувства — исключая благодарность за облегчение — наконец блаженно оцепенели. Майкл умер, и её мир остановился, и она была единственной, кто вполне испытал потрясение от остановки. Теперь она была недвижна, а мир двигался дальше, но это её нимало не заботило — не трогало никак и не касалось. Она отмечала это по лёгкости, с какой слетало в разговоре с её губ имя Майкла, и по тому, как под надлежащим углом опускала она

голову, выслушивая надлежаще сочувственный шёпот.

Блаженно лелея пришедший покой, она не заметила, как звоном колоколов разразилось над ней и прошло Перемирие. Ещё через год она превозмогла физическое отвращение к юным — живым и вернувшимся, — так что даже брала их за руку и почти искренне желала добра. Она была равнодушна к последствиям войны, относились ли они ко всей нации или к каждому в отдельности; тем не менее, проезжая для того огромные расстояния, заседала в разнообразных утешительных комитетах, держась твёрдых взглядов — она даже слышала, как излагает их — относительно места будущего деревенского Мемориала.

Затем ей, как ближайшей родственнице, пришлось — вместе с листком письма к ней, испи-санным химическим карандашом, серебряным идентификационным диском и часами, — официальное уведомление в том, что тело лейтенанта Майкла Таррела найдено, опознано и перезахоронено на Третьем воинском кладбище Хагензееле — письмо с должным указанием ряда и номера могилы в ряду.

Так Хелен перекатилась к следующей операции в производстве — в мир безутешно ликующих родственников, обретших уверенность в том, что есть на земле алтарь, куда они могут возложить свою любовь. Они ей вскоре и рассказали, — уточнив с помощью железнодорожного расписания, — как просто это сделать и как мало посещение могилы нарушит привычное течение жизни.

— Совсем другое дело, — говорила жена ректора, — если бы его убили в Месопотамии или даже в Галлиполи.

Агония исхода к чему-то вроде второй жизни перенесла Хелен через Пролив, где, в новом мире сокращений, она узнала, что до Хагензееле Три можно удобно доехать дневным поездом, к которому как раз подходит утренний паром, и что менее чем в трёх километрах от самого Хагензееле есть удобный маленький отель, где удобно переночевать, а утром идти на могилу. Всё это ей сообщил главный уполномоченный, обитавший в дощатом, покрытом толем сарайчике, на окраине разрушенного до основания города, среди клубов известковой пыли и разлетевшихся бумаг.

— Кстати, — сказал он, — вы, конечно, знаете вашу могилу?

— Да, спасибо, — сказала Хелен и показала свой ряд и номер, отпечатанные на собственной маленькой пишущей машинке Майкла. Чиновник начал было сверять, открыв одну из амбарных книг; но тут между ними влезла толстуха из

Ланкашира, умоляя сказать ей, где она может найти сына, который был капралом в Армейском штабном колледже. Его настоящее имя, всхлипывала она, Андерсон, но, будучи из уважаемой семьи, он, разумеется, прошёл в списки под именем Смит; убит в Дикибуше, в начале пятнадцатого. У неё не было его номера; также не знала она, каким из двух имён называли его товарищи; но её «турист-Кук» истекает к концу пасхальной недели, и если к тому времени она не найдёт своего мальчика, она сойдёт с ума — после чего она упала прямо на грудь к Хелен; из маленькой спальни за офисом быстро вышла жена чиновника, и они втроём уложили женщину на кровать.

— Они часто вот так, — говорила жена чиновника, развязывая тугие ленты на шляпке женщины. — Вчера она утверждала, что он убит в Хоогге. Вы уверены, что знаете вашу могилу? Это такая разница.

— Да, благодарю вас, — сказала Хелен и поспешила прочь, не дожидаясь, пока женщина на кровати начнёт причитать снова.

Чай в переполненном, коричневом с голубыми полосами деревянном строении с фальшивыми потугами на респектабельность унёс её дальше в кошмар. Расплачиваясь по счёту, она справилась о поезде на Хагензееле; сидевшая рядом крупная, некрасивая англичанка вызвалась её проводить.

— Я сама еду в Хагензееле, — объяснила она. — Не в Хагензееле Три; мне на сахарозавод, теперь это называется Ля Розьер. Чуть южнее Хагензееле Три. У вас заказан номер в гостинице?

— О да, спасибо. Я телеграфировала.

— Так спокойнее. Иногда там полно, а когда и нет никого. Но в старом «Золотом Льве» — это на западной стороне завода — поставили ванны, и теперь многие едут туда.

— Я не знала об этом. Я впервые выбралась.

— В самом деле! А я девятый раз. Не по собственным делам — слава Богу, я никого не потеряла — но вот многих из друзей не обошло. Я часто езжу, и, знаете ли, для них утешение, что есть кто-то, кто может взглянуть — ну, на место, и потом рассказать им. Можно и сфотографировать. У меня целый список поручений. — Она нервно рассмеялась и постучала по висящему через плечо кодаку. — Нынче два-три поручения на сахарозаводе, и полным-полно на окрестных кладбищах. Знаете ли, я всё собираю и систематизирую. А когда поручений в одно место набирается достаточно, чтоб оправдать дорогу, я быстренько всё объезжаю. Это реально утешает людей.

— Наверное, — вздрогнув, ответила Хелен; они садились в маленький поезд.

— Конечно, а как же? (Правда, чудесно, что наши места возле окна?) Должно утешать, иначе зачем бы им кого-то просить? Вот здесь в списке целых двенадцать или пятнадцать поручений, — она снова постучала по кодаку, — вечером буду сортировать. Простите, забыла... У вас кто?

— Племянник, — сказала Хелен. — Но я очень любила его.

— Ах, ну конечно! Я иногда спрашиваю себя, знают ли *они* после смерти? Вы как думаете?

— Я н-не — я как-то не пыталась о таких вещах, — сказала Хелен, почти закрывшись от неё руками.

— Может, это и к лучшему, — рассудила женщина. — Чувства потери, должно быть, уже достаточно, надо полагать. Что ж, не буду вас больше тревожить.

Хелен исполнилась благодарности, но, когда они добрались до отеля, миссис Скарсворт (они познакомились) настояла, чтобы они пообедали за одним столом, а после обеда в маленькой, мрачного вида гостиной, полной приглушённых голосов родственников, она перебрала свои «поручения», пускаясь в биографии умерших, если она их знала, или же описывая их ближайшую родню. Хелен терпела до половины десятого, после чего спаслась бегством к себе в номер.

Почти сразу же в дверь её комнаты постучали, и вошла миссис Скарсворт, судорожно сжимая в руке ужасный список.

— Да — да — я знаю, — начала она. — Я надоела вам, но я хочу вам что-то сказать. Вы — вы не замужем, так ведь? Тогда, наверное, вы не... А, не имеет значения. Я должна кому-то сказать. Я так больше не могу.

— Но, пожалуйста... Однако миссис Скарсворт уже прислонилась спиной к закрытой двери.

— Минуту, — сказала она, сглотнув пересохшим ртом. — Вы — вы знаете об этих моих могилах, про которые я вам говорила внизу, но что ж из того? Это действительно поручения. По крайней мере, некоторые из них. — Взгляд её блуждал по комнате. — Что за удивительные обои у них здесь, в Бельгии, вы не находите?... Да. Я клянусь, что это — поручения. Но есть ещё одно, понимаете, и — и — он был для меня больше, чем что-либо в мире. Вы понимаете?

Хелен кивнула.

— Больше, чем кто-либо ещё. И конечно, ему нельзя было этим быть. Он не должен был вообще чем-то быть для меня. Но он был. Он есть. Потому я и выполняю поручения, понимаете? Вот и всё.

— Но зачем вам рассказывать мне? — в отчаянии взмолилась Хелен.

— Потому что я устала врать — вечно врать — из года в год. А если не вру, то притворяюсь — и ведь помню, что притворяюсь! Вам не понять, что это значит. Он был для меня всем, чем ему не следовало быть — единственной реальностью — единственным настоящим, что со мной случилось в этой жизни; а я должна следить за каждым своим словом, и думать, какую байку расскажу в следующий раз — много лет!

— Сколько? — спросила Хелен.

— Шесть лет четыре месяца до и почти три после. С тех пор я была у него восемь раз. Завтра пойду в девятый, и я не могу — не могу опять идти туда, и чтобы никто в целом мире не знал. Я хочу быть честной хоть с кем-то, прежде чем идти. Понимаете? Для меня это не имеет значения. Я вечно врала, даже в детстве. Но это недостойно его. Поэтому — поэтому я должна рассказать вам. Я не могу так больше — не могу!

Она прижала стиснутые ладони к губам, затем резким рывком, не разжимая, уронила их. Хелен подалась вперёд, схватив её руки, склонившись к ним лицом и шепча: «Милая моя! Милая моя!» Миссис Скарсворт отстранилась, лицо её пошло пятнами.

— Боже мой! — сказала она. — Вы *так* это принимаете?

Хелен ничего не ответила, и женщина вышла; но Хелен долго ещё не могла заснуть.

На следующее утро миссис Скарсворт спозаранку уехала по своим поручениям, и Хелен одна отправилась в Хагензееле Три. Кладбище обустраивалось, поднимаясь на пять или шесть футов над покрытой щебёнкой дорогой, вдоль которой оно тянулось на сотни и сотни ярдов. Кульверты, проложенные поперёк глубокой канавы, служили проходами сквозь незаконченную ограду. Она сделала несколько шагов по земляным, с положенными на них досками, ступеням, и на одном сдавленном вдохе оказалась вровень

со всем переполненным пространством. Она не знала, что Хагензееле Три приняло уже двадцать одну тысячу мертвецов. Она видела только безжалостное море чёрных крестов, на лицевых сторонах которых под разными углами крепились штампованные оловянные полосы. Она не различала ни устройства, ни порядка в их массе: в пояс вставшее безжизненное пространство словно скошенной насмерть травы устремлялось к ней. Она пошла вперёд, в отчаянии сворачивая влево и вправо, пытаясь сообразить, какие силы выведут её на нужное место. В отдалении виднелась белая линия. Она оказалась массивом из двухсот или трёхсот могил, на которых были уже установлены надгробья, высажены цветы и выглядывала прозеленью трава. Она различила ясно вырезанные буквы в окончаниях рядов и, сверившись с запиской, поняла, что искать она должна была не здесь.

Какой-то человек стоял, опустившись на колени, позади линии надгробий — очевидно садовник, потому что он укреплял рассаду в рыхлой земле. Она пошла к нему, держа в руке свою бумагу. Он поднялся при её приближении и без каких-либо вступлений или приветствий спросил: «Кого вы ищите?»

— Лейтенанта Майкла Таррела — моего племянника, — медленно, слово за словом, произнесла Хелен, как произносила в жизни много тысяч раз.

Человек поднял глаза и взглянул на неё с бесконечным состраданием, потом повернулся от свежевысеянной травы к голым чёрным крестам.

— Идём со мной, — сказал он, — я покажу тебе, где лежит твой сын

Выходя с кладбища, Хелен оглянулась напоследок. В отдалении она увидела человека, склонившегося над рассадой; и она пошла прочь, думая, что это садовник.

Предисловие и перевод Татьяны Сургановой
1999, 2013



Милых Иван Кузьмич, Джанкой—Керчь, Крым, Украина. 1965 г.р. Закончил Керченский морской технологический институт (КМТИ, теперь КГМТУ). e-mail: ivanmylyh@list.ru

В 2009 г. издание «Литературная газета + Курьер культуры», выходящее в Севастополе как филиал московской ЛГ, опубликовало большой цикл Ивана Милых «Орфоэпия Орфея», с такой преамбулой: «Этот автор сразу обратил на себя внимание литературной общественности, что в наши дни, когда пишут все, а читают лишь немногие, само по себе является поводом к пристальному рассмотрению».

После VI Международного литературного Волошинского фестиваля, прошедшего по традиции в сентябрьском Коктебеле, цикл «Коктебельские строки. 2008» И. Милых вызвал живое обсуждение на страницах Живого журнала в Интернете. Литераторы интересовались: кто он? И спорили: он шутит или пишет всерьёз? Профессионализм нового литературного лица, кажется, ни у кого не вызвал сомнений. Нам представляется справедливым вывод одного из участников Интернет-дискуссии: Милых «предстает своеобразным новым К. Прутковым, поскольку и в его сочинениях не всегда разделишь иронию, самоиронию, сарказм и серьёз».

Часть упомянутого цикла вышла в финал конкурсной программы Волошинского фестиваля 2009 г. Примерно то же случилось и в 2010 г. Фрагменты «Коктебельские строки 2009» прошли в лонг-лист Волошинского конкурса, где их более не оценили, однако весь цикл был опубликован в той же внимательной газете «ЛГ+Курьер культуры Крыма».

И. Милых — победитель фестиваля поэзии «Пушкинское кольцо. 2009» (Украина) в конкурсе «Басенные герои И. А. Крылова вокруг нас», публиковался в литературных альманахах и газетах Украины. Подготовил к изданию рукопись книги «Немыслимо вхожу в ваш кабинет», но издателя пока нет. Единственная публикация в «толстяке» — подборка стихотворений «Мы жизнь вкушаем не без боли» в № 40 за 2011 г. «Иерусалимского журнала». <http://magazines.russ.ru/ier/2011/40/m21.html>

Иван Милых

Рысь моя, иль ты прыснилась мне?..

Трактат об образе и подобию рыси в русской и мировой поэзии

Мы решились, может быть и дерзновенно, озаглавить наши записки известной строкой знаменитого поэта Сергея Рысенина. В последнее время звучат реплики, что образ рыси в отечественной литературе, мол, уже забыт, сброшен с корабля истории и т.п., к тому ж, де, он стирается и сам по себе, редко встречаясь (как и сама рысь в природе). Частичная справедливость в этих утверждениях имеется, именно поэтому хочется дать достойный ответ рысефобам, замолвив несколько слов в защиту рыси.

Известно, что рысь — это крупная лесная кошка с приятным выражением «лица». Рысь всё время как будто улыбается —удовлетворённой улыбкой существа, знающего нечто, недоступное нам. Не случайно в мистических традициях американских индейцев рысь считается хранительницей тайн, прозревающей скрытое, и ассоциируется с глубинными истинами и ясновидением.

Хотелось бы восполнить несправедливое отсутствие таких необыкновенных существ, как рысь, и в нашей жизни. Животное заслуживает самого пристального внимания: множество народных пословиц, поговорок, детских сказок и стихов (не говоря уже о «взрослых» частушках) и любовной лирике профессиональных авторов разных народов мира, посвящены раскрытию темы рысей — всеобъемлющих и загадочных представителей животного (и не только) мира...

Ещё в древлерысских былинах, в частности, об Илье Муль-мулевце, с невыразимой силой и красотой неведомый нам автор находил берущие за душу слова:

С той поры стоит Рысь великая,
Прославляет Рысича светлого.
Не забудьте, потомки, этого,
Чтоб цвела в веках Рысь-красавица!

Да, не следует нам забывать славных отеческих традиций.

Ведь и Николай Окрасов в нашумевшей поэме «Железная да рога» изрёк с необъятной любовью:

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Рысь узнаю...

О сильных, страстных, но несколько настораживающих читателя отношениях с лирической героиней пишет на переломе эпох, на рубеже столетий Александр Клок — пожалуй, самый знаменитый поэт периода Серебряного Меха: «О, Рысь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь...» И дальше, очень глубоко и по-рысьски убедительно:

Наш путь — лесной, наш путь
— в тоске безбрежной —
В твоей тоске, о, Рысь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Ты не боись.

В этих строчках чувствуется дыхание приближающейся страшной эпохи, предвосхищённой и В. Хлебниковым («Некто 1917»), и даже драма последующей эмиграции.

Напомним и другие строки того же С. Рысенина: «О Рысь, взмахни крылами...» И действительно верится, что образ рыси не забудется, не канет в небытие в нашей литературе.

Характерны строфы и других поэтов круга Рысенина. Например, С. Клычков прозорливо, с пониманием народных глубин, замечая «Я видел, как убог и хлибок, / Как чёрен русский человек», писал о русском же человеке:

Уклад принёс он из берлоги,
В привычках перенял он рысь,
И долго думал он о Боге,
По вечеру нахмурясь ввысь.

А вот малоизвестный поэт Самуил Киссин (1885—1916):

Гляжу во тьму глазами рыси.
В усталом теле зябкий страх.
Достигну ли заветной выси
Иль упаду на крутизнах?

И — Борис Пастернак:

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Тёмной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

Тут находим и неожиданный для нас, жителей начала ХХI века, одёжный «котик», тем паче, гм, странноватый на современный слух «котик лайкой», но главное в нашем скромном исследовании, безусловно, — «тёмной рысью».

А Андрей Белый уже в 1922 г. на многие года вперёд предугадал самые распространённые рифмы «высь» и «брысь», которые рысьские поэты будут всегда прилагать к рыси, всякий раз надеясь на первопроходчество.

Слышу жёлтые хохоты рыси.
Подползёт и окрысится: «Брысь!»
И проискрится в хмурые
Выси
Жёлто-чёрною шкурою
Рысь.

Серьёзней некуда. Византийское царство рыси

Упоминание свойств этого необычного зверя мы встречаем ещё в Ветхом Завете. В Книге пророка Даниила, занимающей в греко-славянской Библии четвертое место в ряду пророческих книг Ветхого Завета, читаем: «И видех, и се зверь ин аки рысь: тому же крила четыре и четыре главы, и власть дадеся ему».

Преподобный Ефрем Сирин считает, что речь идёт о царстве персидском. Он так истолковывает появление образа рыси в Библии: «Как в теле, которое видел Навуходоносор, царство сие представляется под образом твёрдой меди, так и здесь представляется под образом лёгкой и быстрой рыси. А тем, что рысь имеет четыре крыла и четыре головы, означает, что царство сие распространит своё владычество по четырём ветрам небесным...»

Ещё один толкователь этого же места из Книги Даниила (А. П. Лопухин) склонен видеть в рыси (в другом переводе — в барсе) — греко-македонское царство: «Кровожадность этого зве-

ря, его необыкновенная быстрота при захвате добычи довольно точно характеризуют стремительную в завоеваниях греко-македонскую империю. Распространение македонской империи по всем четырём странам света, её господство «над областями и народами и властителями», «над всею землёю» (1 Мак, 1:3—4) обозначается в видении четырьмя крыльями, а распадение после смерти Александра Македонского на четыре части — государства Фракийское, Македонское, Сирийское и Египетское».

Несомненно, именно эта библейская рысь возникает и в сложной образной системе русского поэта XX в. Н. Клюева:

Изба — криница без дна и выси —
Семью питает сосцами рыси.

Это «рысье молоко» в клюевской «Погорельщине», а также — «мёд от сладких пасек Византии» (в «Песни о Великой Матери») равнозначны, так как на языке древлеправославной традиции Рысью означалось царство Греческое. Таким образом, Рысь-питательница, кормилица (вскармливающая семью) обеспечивает кровную связь с древневизантийским духовным началом.

Но вернёмся в седую и холодную северную древность, где гораздо ранее Клюева образом рыси пользовались скальды. Один из них, наш исторический родственник по жене — норвежский король Харальд Сигурдарсон (т. е. сын Сигурда), по прозвищу Суровый (1015—1066), в молодости был предводителем варяжской дружины византийского (привет Рыси-Византии!) императора. Король Харальд ходил тогда со своей дружиной в походы по Средиземному морю. А женат он был на княжне Елизавете Ярославне, дочери Ярослава Мудрого, при дворе которого довольно долго проживал. В своём произведении «Висы радости», переведившемся на русский, в частности Н. А. Львовым, К. Н. Батюшковым, Н. М. Карамзиным, А. К. Толстым, Харальд упоминает и русскую жену («Нанна ниток», то есть богиня ниток) и, что нам ещё ближе, — рысь! В «рысиной» висе говорится о личном участии в битве при Стикластадире, в которой погиб король Олав Святой. Тренды — это жители Трандхейма, а «дубовый конь» и «морская рысь» — корабли.

Трёндов было втрое
В бранном поле боле,
Но мы в буре битвы
Били их, рубили.

Смерть владыка смелый,
Молод принял Олав.
Мне от Нанны ниток
Несть из Руси вести.

Конь скакал дубовый
Килем круг Сикилии,
Рыжая и ражая
Рысь морская рыскала...

Саннаях, неуголимая любовь и рысиные рыфмочки

Мы знаем, что рысь всегда была любима народом. Порой эта неуголимая любовь (зверь всё-таки яростный и к человеческим ласкам не расположен) выливалась в самые неожиданные формы. Так, например, люди старались носить рысь с собой хотя бы в виде меха, который особенно ценился в Китае, Монголии и у народов Восточной Сибири: эвенов, якутов, юкагиров. В начале XIX в. богатые якутские семьи считали зазорным выдавать замуж дочь без входящего в приданое рысьего «саннаяха» — шубы мехом наружу. Эти мудрые люди отождествляли с рысью самое дорогое, что было в семье, — родную дочь!

Ещё одна необычная форма проявления приязни к рыси — печальна. Это — рысеедение. Мясо рыси, похожее на телятину, высоко ценилось и в Средневековой Европе, и на Руси. Оно было дорогим, редким, и поэтому потребляли его в основном высшие слои общества. Есть сведения, что блюда из рыси подавались к царскому столу ещё в XIX в.

Куда гуманней поступали поэты! Своё восхищение рысью они облакали в слова. Порой — весьма неожиданно. Так, именно с рысью тесно связано возникновение такого жанра экспериментальной поэзии, как брахиколон (односложный размер, в котором все слоги ударные):

Дол
Сед.
Шёл
Дед.
След
Вёл —
Брёл
Вслед.
Вдруг
Лук
Ввысь:
Трах!
Рысь
В прах.

Так писал поэт-конструктивист И. Сельвинский. Он же в поэме «Улялаевщина», начиная с 1924 г., находил в раскосости главного героя схожесть с рысью:

Ось! И замок отскакивал, залааяв,
Путал портьерный шнур.
По-рысьи раскосый батырь Улялаев
На грудь забирал жену.

Но у Сельвинского же читаем:

Так прекрасно. План испытан.
Выждать ночь, кавалерию вплавь;
Обоз, обмотав обода и копыта,
Прошепчет рысь меж боевых лав.
.....
А утром, когда барабан пропел
И голос пробил: «Командовать рысь»,
Лошадиных нагайку — и тень в репей
Прянула точно рысь.
...
Если вода остаётся в колодцах
(А численность взвода человек тридцать),
Значит — армия торопится колотиться
Кавалерийской рысицей.

Это, конечно, про кавалерийский особый ход, именуемый «рысь» (а как мило рифмуется: рысь—рысь!). Но и для нашего контекста это имеет значение. А что бы как копнуть в глубинные, мохнатые поэмы Сельвинского «Рысь» и «Пушторг»?

...И рыси говорю: «Ты ль Данту диктовала страницы Ада?» Ответает: «Я»!

Переводчик М. Лозинский не смог удержать-ся и не ввести рысь (конечно, к рифме «высь», а как иначе?) в самое начало ру(ры)сского текста «Божественной комедии» Данте:

И вот, внизу крутого косогора,
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пёстрого узора.

Не будем придиричивы к этой красотище, хотя в оригинале у великого флорентийца была всё-таки одна пятнистая леопарда: *una lonza leggièra* (уна лонца леджьера). Лозинский изумительно передал в переводе р-р-рык дикой горной кошки, внятно раскатывающийся и по строкам оригинала: крутого-косогора-проворная-рысь-в ярких-пёстрого-узора...

Очарование оригинала велико, и, чтобы приблизиться к красоте поэзии Данте, не только Ахматова и Мандельштам брались за изучение итальянского языка.

Вот и попытка безвестного сочинителя:

к нам примчалась пантера
una lonza leggièra

Б. Пастернак зачаток своего раннего романа в стихах «Спекторский», подобно лозинскому Данту, тоже связал с рысью.

Как разом выросшая рысь,
Всмотрись во всё, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней ещё всмотришься.

Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.
Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.

Он не отступится и потом, в романе «Доктор Живаго»: «Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь многовёрстные переходы».

Можно, и даже следует, копнуть ещё и поглубже в века. Вот троестиие «Глубокая терцина», неожиданным, но органичным образом сочетающее в себе средневековую европейскую традицию и отсыл к Древнему Египту:

Для Ры несёт из речки ры
Хозяин мира и норы.
Он для нее — Бог солнца Ры.

Проницательный читатель догадывается, что упомянутый во второй строке «хозяин мира и норы» — это и есть он, Большой Рысь (Ры), несущий для неё (тоже Ры, но женского пола) из речки «ры», то есть, по всей видимости, лакомую рыбку.

Мы задумались и об эротическом аспекте в жизни рысей. И вот что нам удалось нарыть.

Эрорысь. Лирика любовная

Приступим, как водится, к фольклорным началам и приведём скороговорку, берущую исток в любовных прелюдиях, в ритуально-эротических играх:

Рыся-рыся, рысицушка, рысицыща, рысица!
(исполняется с притопом)

Рысь-она чаще всего любовно поет о нём, о своём рысе. На это, например, указывает «Песнь рыси о рысе»:

твою пушистость повсеместную
и очень мягкую притом
лелею, холю или пестую
не оставляя на потом

о местность милая лесистая
на рысьем теле непустом
она как песня голосистая
предъявленная мне котом

Из последней строки читатель получает окончательную идентификацию рыся-его. Это всё-таки кот. В смысле — рысь-самец семейства кошачьих.

Но былинно-мифическую подсветку получает некая золотая рысь, с удивительным отглагольным именем Потруся («Рысь Потруся»):

Рысь, рыжестью яряся, у рыся ласк пытая:
потришь, потришь, потришь, Потруся
золотая...

Сюда же, к великой рысиноворсистой нежности, отнесём и это двустипье, с точно позиционированными эрогенными зонами:

И в речонке, и на суше
Целовал рысёнке уши.

Из фольклорных озорных загашников нам протягивает рысячью лапу и меткая, цепкая на словцо залихватская частуха, даже именуемая на Вологодчине рысюхой:

систола-диастола
я — рысёнка ласкова!
полюбила чистова
я рыся ворсистова

полюбила зябрами
искренно и истинно
с рыськой не озябну я
лапками и сиськами

Похоже, автор этой «рысюхи» закончила зооветеринарный техникум, о чём свидетельствует, с одной стороны, новаторская и дерзновенная первая строка сочинения, а с другой, вполне эротичная идентификация себя как рыси.

Автор второй половины XIX в., предположительно круга поэта Полонского и композитора Балакирева, Милий Рысь-Рысеевский свой опус «Про рысицыщу» отнёс к нечастому жанру, были. Его лирический герой — мужеского полу:

Рыскал по лесу, ища,
Где живет рысицыща.

Думал: век не разыщу
Рыжую рысицыщу.

Возле рощи, у хвоща —
Глядь: сидит рысицыща!

Хвостик мал, а так — моща!
Дикая ж рысицыща!

Замер-умер, трепеща:
Съест меня рысицыща!

Но боялся я вотще —
Дела нет рысицыще

До меня, как до леща:
Рыкнула рысицыща,

Скрывшись в чаще, где пищат
Шесть её рысицыщат.

Много в мире есть вещей,
Чаемых рысицыщей.

Только не про нас, мужчин,
Интерес рысицыщин.

Что ж, теперь ищи-свищи:
нет нигде рысицыщи!

Не пойду я по кущам
Ко другим рысицыщам.

Всюду рыщу да ищу
лишь свою рысицыщу.

Рыся, вьюся я плющом:
Быть хочу рысицыщом!

Сколько ж рыскать мне ещё?
О, моё рысицыщё!

Занятно? Очень! Нас, филологов-рысёлогов, особенно взволновала странноватая финальная форма какого-то среднего, срединного рода, с окончанием на Ё. Оказалось, существуют целые пласты, залежи этой формы в изустных речениях.

Я не забываю о привете,
День и ночь твержу про наше всё:
Самое рысёмое на свете —
Это ты, рысё моё, рысё...

Или, того пуще, уже в современном оформлении, то есть без знаков препинания, которые, видите ли, им не нужны. Спасибо хоть, нам снисходительно оставляют название, «Всямоя-рыся-моя»:

самое-пресамое
всё моё превсё моё
милое рысё моё
рыжее, рысёмое

Отметим появившееся в ударной позиции, то есть последним в катрене, почти существительное, образованное от прилагательного, — «рысё-мое».

Мы выше обращали внимание на констатацию некой котовой константы. Ниже она использована в обращении:

светлое не тёмное
котёмое котёмое
тайное в сердце катаемое
котёмое ты котаемое

А этот, не уступающий по силе Рыссипу Ангелштамму, лиро-риторический выдох, который, может быть, следовало бы взять эпиграфом ко всему сему нашему изысканию: «Рысь мой, весьмой! Кто сумеет заглянуть в твои зрачки?»

Меж тем мы с вами миновали XX век и вышли на береги XXI-го, где сути открыты, где эрос порой разверст. Читаем сочинение с активным, явно постмодернистским заголовком «Лизинг»:

Рысёк, будь спок,
Всё будет «ок»:
Ещё лизну тебя в пупок...
Ещё разок,
Ещё разок!!!

Не минуют рысиную тему и мотивы, связанные, так или иначе, с проблемами питания:

Мы пили красное вино
и ели карася.

Я поведу тебя в кино —
сказала мне рыся!

Ан, как известно, не всё рыси — масленица. Вот — отголоски постного городского фольклора:

Рысь, глумясь над рысёю,
выдавал за мясо — сою...

Но, как говорится, не соей единой... Некоторые исследователи полагают, что известное выражение «потом — суп с котом» как раз и произошло от народной традиции почитания рыси. То есть речь идет о ней, ожидающей своего рыся и размышляющей, а что же будет потом: а потом у неё, по замыслу, будет супоядение, вместе с едным котом.

Чё-т, моя рысёна,
сёня мне рысёно —

не то восклицает от всяческих рысиных дум, не то риторически вопрошает лирический герой, обращаясь к своей непреходящей милой, к рысёне. А с удивительной особенкой найденное наречие «рысёно»! Это как — с грустинкой? Тревозно? Или лирически, когда вспоминается всё рысинохорошее?

Затрагивает рысястая тема и иные насущные бытовые аспекты. В романтической поэме «Рысари» находим:

Носки простые цвета хаки
Ты подарила мне, рысю.
Ты мне их даришь паки, паки
И я, как рыцарь, их ною.

К сожалению, приходится констатировать, что высокие чувства даже у рысей должны подкрепляться сбалансированным питанием. А удаётся это, увы, не всегда. Отсюда, быть может, и конфликты, порой достигающие почти шекспировского накала.

— Здравствуй, здравствуй, кот рысиный!
Почему ты пахнешь псиной?
— Я охотничьей собаке
Оказал вниманья знаки.

Первый знак был очень мягок —
Ни один не скрипнул коготь:
Я куснул её за мякоть;
А ведь мог куснуть — за локоть!

Но до твёрдого до знака
Не дошло — иссякла драка.
Я ещё куснул — за мякоть,
И собака стала плакать.

Вот засада, вот досада!
Мне ведь этого не нада!
Просто в жизни невесёлой
Ласки хочется рысёвой...

Внимательный критик спросит: откуда у
рыси, блин, локоть? Ответим зоилу: это же поэзия очеловечивающая!

Мы плавно подобрались к детской тематике.
В качестве переходного отметим ласковое сочинение:

Рысекот и рысекошка
Рысекошкались немножко.
Рысекошке рысекот
Тронул мордочкой живот.
Попросила рысекошка:
Покусай ещё тут вот!

Детская комната

И вот мы в детской, где, с подзаголовком «Для
рысячьих детей», звучит «Рысье колыбельное»:

Рыся-рыся-рысячок,
Ляг тихонько на бочок.
Ляг тихонечко, усни,
Отдохни хоть от рысни.

Рысня — поясняет знаменитый «Словарь великого и живого русского языка» — это такая беготня, когда все рыскают, где попало, этакая рысья суета, проблемы рысьи там всякие...

Заманчиво звучат, привлекая внимание даже взрослых малышей, «Детские стишки про Ры»:

1.
Вот кошка рысь. Она странна.
Она — как целая страна.
Она — таинственная вся.
И любит своего рыся.

2.
Вот рыськин кот. Он тоже рысь.
И кто сказать посмеет «брысь»
сему пухнастому рысю,
тому откусят попу. Всю.

3.
Вот рысь и рысь. Когда вдвоём
они глядят на окоём,
им дали многие видны,
поскольку ры и ры — родны.

4.
Ласкаются — и там и сям,
как свойственно большим рысям;
и нету на планете всей
зверей счастливее рысей.

Про некую сапу

В качестве занимательного отступления
приведём пример четверостишья неизвестного
автора, донесённого до нас устами фольклористов-собираателей.

...Ты, рысь, держи себя в руках —
в моих руках, пухнастых лапах...
так саги пишутся в веках
о нас, рысях, о тихих сапах.

Лирическое, трепетно-проникновенное высказывание завершается неожиданным в этом контексте словом. Но кто же такая — «тихая сапа»?

Словари подсказывают, что в русском языке есть четыре значения этого слова. Во-первых, сапой именуется рыба из рода чебаков, возможно, от немецкого слова Zore, обозначающего вид карпа. Во-вторых, так называли мотыгу или кирку, от французского слова sape. В-третьих, как следствие из второго определения, сапой звались окоп или траншея. Наконец, четвёртое значение этого многоликого слова — змея, от санскритского «сарпа». Ещё есть слово «сап» — инфекционная болезнь сродни насморку, которой часто болели лошади. Вероятно, именно от него и произошёл изоморфный вариант нашего словосочетания «тихим сапом», единодушно отвергаемый всеми словарями. Надеемся, никто не будет против, если мы тоже не станем его рассматривать.

Итак, в наличии имеются четыре сапы, но какая из них самая тихая? Змея-сапа ползает очень тихо. Рыба-сапа, очевидно, плавает ещё тише. Тем не менее, ни та, ни другая не имеют отношения к исследуемому выражению. В войнах XVI—XIX вв. тихими сапами назывались траншеи, прокладываемые под землёй втайне от противника. Тише рыб и змей военные вели подкоп (сапу)

к вражеским укреплениям, а затем их взрывали. Военные инженеры, занимавшиеся этими работами, так и назывались — сапёры.

Позже выражение «тихой сапой» вошло и в гражданскую речь, где стало означать «крадучись, медленно, незаметно идти, проникать куда-либо». Из этого «проникновения», судя по всему, и рождаются столь интимные рысьи откровения:

Такая мехая рысиха
уснула на моем пузце!
Сопит и дышит тихо-тихо,
с улыбкой рысьей на лице.

Вообще-т меха она сбивает
и шёрсткою не дорожит...
но все-таки — порой, бывает,
в мехах к рысю своему бежит.

А рысь, он грезит о рысике —
то в прозе, изредка — в стихах;
и даже пребывая в психе,
об ейных помнит он мехах.

В цепких когтях авангарда

В современной литературе следует присмотреться и поискать РЫсиные истоки и в именах самих стихотворцев. В частности, можно вспомнить казнённого декабриста Кондратия РЫлеева, белоруса советского периода РЫгора Бородулина или авангардистку новых времён РЫ Никонову.

Но припомним и словотворческие искания футуриста Хлебникова, опиравшиеся на славянскую мифологию. Приведём и стихотворение автора с украинскими корнями Онноны Друсяк, в котором обыгрываются украинские природные термины: вересень — сентябрь, кисень — кислород. Несмотря на хлебниковскую игру, создание неологизмов (рысень, рысеющий) и рысенинскую интонацию, автор в первозданно-украинском виде дает здесь эпитет «ласкавый», в общем, не нуждающийся в переводе на русский. Стихотворение «Рысень»:

Мы в вересень, как будто в рысень —
туда, где вереск, где лесок...
И радости ласкавый кисень
сердец коснётся как кисёк.
Мы в березень, резвясь с грозой,
рванёмся в ореоле грёз...

О рысь, сроднимся с бирюзой
среди рысеющих берёз!..

Но что там говорить о вездесущем авангарде, когда и в староотеческих календарях можно встретить неожиданные названия времён года, месяцев и дат. Например: «в ночь с рысятого на рысиннадцатое апреля дверысячи рысьмого года... год трирысячи рывятый и рысятый от сотворения мира...»

По-следопытски точно подметил филолог, этнограф, рыселюб и рысевед Назар Рысько, обративший внимание на звукопись таёжного снега под лапами зверя: рсь-рсь-рсь... Он же напоминает о глаголе «скрышит», употреблённом ещё Лермонтовым в знаменитом стихотворении о парусе одиноком (молодой поэт, кажется, позаимствовал тогда это написание у Пушкина). Исследователь считает, что фонема «скры» прямо восходит к «рыск», то есть слова «рыскать», «рыськать», «рысь» — одного с ним поля ягоды. И ещё он приводит интересную, редко употребляемую форму глагола — «срызть» (то есть сгрызть). Срызть, срыз, срызла... Согласимся с чутким филологом, что это какое-то весьма «рысиное» слово. Вслушайтесь, как оно красно-речиво рычит: снр...снры...снрызть...

В знаменитом словаре «Великого живого рысьского языка» приведена такая поговорка: «Стар рысь, а рысяст». Как она заиграла разными смысловыми и звуковыми красками в катрене поэта-сибиряка П. Рысильева!

Стар рысь, а рысяст.
Стар-рысь — не статист.
Не клеил он ласт:
Рысист и сталист.

Вчерысь, ты помнишь?

Архаизмы умело использовал и рысьский классик Андр Юшкин в известном зимнем полотне:

Вчерысь, ты помнишь?... Вьюга злилась,
Стремглав на воле рысь носилась...

.....
А нынче... Погляди в окно:
Под голубыми небесами
Всемя волшебными усами
Блестя на солнце, рысь лежит...

Интересно, что это за «вчера» такая, которую позволил себе вспомнить мастер? Можно предположить, что это наречие «вчера» (устар.), то бишь «вчера». Однако, поставленное в начало не просто строки, но и всего произведения, слово заставляет воспринимать себя как существительное, обращение к лирической адресатке. Так и рисует воображение читателя образ некоей «вчера»! Кто она, эта таинственная незнакомка, память которой связана с прошлым лирического героя? «Вчера, ты помнишь?» — спрашивает А. Юшкин, и эхо этого лирического послания гулко-ностальгически катится по сводам рысьской литературы.

Заметим, что интонационно этот текст предвосхищает знаменитое лермонтовское вопрошание: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?...»

Исследователь Игорь Акимушкин в книге «Мир животных» задаётся немаловажным, на наш взгляд, вопросом: «Может быть, с лёгкой руки Александра Александровича Черкасова слово «рысь» утвердилось в русской литературе как слово женского рода? Это он писал: «...рысь довольно велика... голова её чрезвычайно сходна с кошачьей... уши у ней коротенькие... одарена крепкими и мускулистыми ногами с довольно большими ступнями... тонка в животе» и т. д. А между тем старые словари рекомендуют слово «рысь» в мужском роде, как «барс» или «волк». И в иностранных языках оно обычно мужского рода. В народе, впрочем, ещё задолго до Черкасова наделили слово «рысь» женским родом. «Рысь пестра снаружи, а человек внутри». И правильно делали! «Рысь пёстр» — не звучит как-то. Слово «рысь» близко слову «рысить», то есть бежать, «рыскать». Оно прямо связано с качествами зверя, потому что за ними видишь и быстрый бег, и лазанье, и прочее «рысканье» по лесам...»

Можно указать И. Акимушкину на всё-таки субъективность его звуковосприятия. «Рысь пёстр» — ему почему-то «не звучит». А вот безымянному автору стиховой речёвки-скороговорки очень даже звучит! Послушайте только:

Рысь быстр, рысь пёстр,
рысь хитр, рысь умн:
рысь сгрыз шесть сёстр,
рысь взрыл семь гумн!

Как чудесно сталкиваются эти односложные слова, какой «шерстяной», грызущий звук катится по тропкам четверостишья! (В Пермской губернии нам удалось услышать-таки и вариант «рысь сгрыз шерсть сёстр»).

Может, это даже такая детская «страшилка», составленная мастерами фольклорного звука века назад, задолго до Хичкока, до появления Голливуда с его фильмами ужасов. Какой-то таинной веет от неведомых — не то рысиных, не то чьих-то «сёстр». Не отголосок ли страшной истории английских сестёр Бронте слышен здесь? И не отсюда ли «растут ноги» известной русской поговорки «Пришел сон из семи сёл, пришла лень из семи деревень...», первая часть которой стала первой строкой известного сочинения нобелианта И. Бродского.

Ещё в период упоминавшегося нами Серебряного Меха в журнале «Новый рысь» был обнаружен катрен Арины Ветаевой — размашистый, и видимо, продолжающий фольклорную тему:

Рысь вскрыл сонм снов.
Рысь зорк, рысь нов.
Чья речь: «Рысь мёртв»?
Рысь вечн! Рысь вёртк!

Звуковое столкновение здесь доведено до крайней, критической степени виртуозности! Нелегко произнести «рысьвскрыл», однако именно этот приём, напоминающий откупоривание жестяной консервной банки охотничьим ножом, приглашает нас к преодолению. По суровости и преткновенности произнесения строка, пожалуй, превосходит строку Тредиаковского, написанную на 50-летие града Петрова: «Что ж бы тогда, как пройдет уж сто лет!»

Иноземные влияния

Образ рыси из англоязычных фольклорных традиций (рысь — lynx) предстаёт порой в рысифицированных стихотворениях для детей, созданных безымянными авторами и напоминающими (недетским трагизмом финала) знаменитые куплеты Nursery Rhymes, ведущие родословную чуть ли не из XII в.

Кисёнок, линксёнок, лисёнок
росли, где сосновый лесёнок.

И с ними дружил поросёнок —
весёлый такой полосёнок.

Когда же совсем повзрослели,
те трое четвёртого съели.

Но какие ж это, однако, прекрасные стихи!

Чем же, спросите вы? Да своим неизреченным экзистенциализмом... Как мил сей полосатенький «полосёнок»! Как жаль его, съеденного...

Но вот и обратный рефлекс — наличие в англоязычном сочинении русского заимствования слова «ryssing». Стихотворение «Ryssing Song of Love» (Рысья песнь любви):

mull`-mull`-mull`
plick-plick
liz`-liz`
njav-njav-njav...
ryssing song of love
forever in my heart
oh, lynx, lynx...

Попробуем дать — в меру сил — сколь возможно художественный перевод этого чрезвычайно эмоционального и в высшей мере тактильного опуса:

муль-муль-муль
плик-плик
лизь-лизь
няв-няв-няв
рысья песнь любви
всегда в моей груди
о, линкс, линкс!
о, рысь, рысь!

Обратим внимание на известную дерзость переводчика: не желая расстаться с «английским духом», он оставил слово «линкс» в его первоизданной фонетике, но, для расширения спектра, видимо, будучи не в силах сдержать своих чувств к рыси, прибавил дополнительную строку с русским уточнением — «о, рысь, рысь»! Великолепна виртуозность техническая: «линкс» своеобразно рифмуется с «лизь» (что наличествует и в оригинале), однако и «рысь» рифмуется с «лизь», а заодно и с «линкс». Тут мы имеем дело с межъязыковой рифмовкой!

Можно попытаться вникнуть в смысл этих загадочных «муль-муль» и «плик-плик» («лизь» и «няв» понятны более-менее и без переводческих усилий). Быть может, это утрированные «мур-мур» и «прыг-прыг», но стоит ли поверять алгеброй гармонию высокой поэзии рысачьего эроса?

Попадались нам в исследованиях также германизированные формы словоупотреблений. Например, в известном трактате «Хутро» (о мехах и их выделке) встречается такое основополагающее для этой отрасли суждение: «Кисицен, ли-

сицен, рысицен унд песецен — 4 источника и 4 составные части мехового производства».

Наблюдатели полагают, что, видимо, из киевской студенческой среды, связанной с профильными учебными заведениями, вышла частушечка-приговорка начала не то XX, но скорей XXI века:

кисицен унд рысицен
поехали в столицен
гуляли в Ботаницен
зашли перекусицен
на площади в толпицен
послушали музицен
и не было в столицен
счастливее зверицен

Классик рысёнской литературы Еминико Рысё (о которой на Очень Дальнем Востоке так и говорят, «Рысё — это наше всё»), оставила такую танка:

Рыську отвлѣк я
своими репликами
от работы.
Будет теперь, работница,
думать и об Рысе!

Эпиложество

Мы, проникшись «рысиным пафосом», тоже оказались не чужды темы. Но не поставим сие себе в вину, коль уж и герой гётевского «Фауста» устами Б. Пастернака признавался:

Зренье рыси мне досталось,
Рыси, хищницы лесной,
Но теперь перемешалось
Всё, как сон, передо мной.

В нижеследующих строках, как показалось, и нам удалось выйти на лирическое откровение пантеистического и даже экологического толка:

Я люблю природу очень,
И другого мне не хочется —
Лишь бы с белками и совами,
И котятми рысёвыми.

На рысёвых котятках миролюбиво и остановимся.

Надеемся, наши скромные, но настойчивые усилия привлекут читающую публику к рысиной теме и создадут позитивный фон для обращения к образам рысиных котов.

Продолжающееся издание
Литературный журнал «**Человек на Земле**»

www.man-on-earth.com

Издатель и редактор-составитель
Татьяна Сурганова coramail@yandex.ru

Художественный редактор
Александр Кулемин sasha_kulemin@mail.ru

Фоторедактор
Александр Блюмин shlublum@gmail.com

Корректоры **Т. С. Бычкова, С. В. Липовицкая**

Компьютерная вёрстка
Алексей Калугер alex-kaluger@yandex.ru

Оригинал-макет издательство «Отрок» www.otrok1.ru

Подписано в печать 06.05.2013
Формат 60x84/8 Печать офсетная
Усл. печ.л. + вкл. Тираж 500 экз. Зак.
Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера»
163004 г. Архангельск, Новгородский пр., 32
zakaz@ippps.ru

При перепечатке ссылка на журнал
«Человек на Земле» обязательна
Цена свободная